

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

О.В. БОЛЬШАКОВА

**ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ:
АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА
ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ**

МОНОГРАФИЯ

МОСКВА
2013

ББК 63
Б 79

Серия
«История России»

**Центр социальных научно-информационных
исследований**

Отдел истории

Рукопись утверждена
на заседании Ученого совета
ИНИОН РАН 13.10.2011

Ответственный редактор –
канд. ист. наук *З.Ю. Метлицкая*

Рецензенты –
д-р. полит. наук *И.И. Глебова*
д-р ист. наук *Л.Г. Захарова*

Большакова О.В.

Б 79

**Поверх барьеров: Американская русистика после
холодной войны:** Монография / РАН. ИНИОН. Центр
социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред.
Метлицкая З.Ю. – М., 2013. – 238 с. – (Сер.: История
России).
ISBN 978-5-248-00645-8

В монографии рассматриваются радикальные изменения, произошедшие в американской историографии России после политических потрясений рубежа 1980–1990-х годов и распада СССР. Анализируются институциональные структуры современной американской русистики, основные методологические подходы и новые направления в изучении истории России и СССР.

Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.

ББК 63

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Американская русистика после распада СССР:	
Идеи и институты.....	14
Глава 2. От истории культуры к культурной истории.....	43
Глава 3. Гендерная история России.....	81
Глава 4. Пространство империи.....	112
Глава 5. К транснациональной истории.....	147
Заключение	174
Приложение. Американская историография России	
(1992–2012): Указатель литературы.....	181

ВВЕДЕНИЕ

Название этой книги может ввести читателя в заблуждение из-за существующей терминологической путаницы, и потому стоит сразу же строго очертить ее предмет: это изучение истории России в США на современном этапе, точкой отсчета для которого стало окончание холодной войны. Понимая, что сосредоточение на какой-то одной национальной историографии в наш век всеобщей интеграции может вызвать нарекания, отметим плюсы такого подхода, на самом деле отнюдь не противоречащего современным тенденциям глобализации (которая как раз предполагает параллельное усиление локальных особенностей). Американская историография России, во-первых, имеет свои специфические черты и обладает определенной логикой развития, будучи вписана в собственный исторический контекст. Во-вторых, национальные рамки позволяют точнее определить точки интеграции в мировой русистике, в которой американская историография является пока что безусловным лидером. Наконец, обратившись к такой внушительной историографии, как американская русистика, можно не только увидеть преломление общемировых тенденций в одной отдельно взятой дисциплине, но и рассмотреть пути преодоления идеологического противостояния, под знаком которого весь мир существовал на протяжении нескольких десятилетий.

Американская русистика чаще всего ассоциируется у нас с советологией, находившейся на переднем крае идеологической борьбы двух сверхдержав. И если считать советологию детищем холодной войны, то совершенно логично ожидать, что после распада Советского Союза и крушения коммунистической идеологии ее должна была постигнуть та же незавидная участь. Действительно, кремлинология, исследования коммунизма и другие идеологически ориентированные дисциплины довольно быстро исчезли с научного небосклона, хотя в ряде случаев дело свелось лишь к перемене на-

званий соответствующих центров, программ и периодических изданий. Тем не менее спрос на наукообразную политическую литературу существует всегда, и многие специалисты по странам «бывшего социализма» переориентировались на изучение «актуальных проблем современности» в этом регионе, включавших в себя в разные годы транзитологию и конспирологию, глобализацию, изменения климата, проблемы энергоресурсов, нанотехнологии и др. Кто-то ушел в практическую политику, принеся в президентскую администрацию и другие структуры свое понимание России, выработанное во времена холодной войны. Часть сил после 11 сентября 2001 г. была брошена на изучение новой угрозы – исламского терроризма¹.

Однако мощная индустрия по изучению Советского Союза, сложившаяся в США в 1940–1970-е годы и известная как *Russian / Soviet and East European studies*, включала в себя не только советологию и исследования мирового коммунизма. Идеологически ангажированные дисциплины являлись лишь вершиной айсберга, а его основная – подводная – часть, которую составляли научные исследования в области истории, филологии, социологии, экономики, политологии и др. и которую почти не замечали отечественные наблюдатели, благополучно продолжала свое движение, хотя и изменила его траекторию под влиянием политических потрясений и глубоких трансформаций интеллектуальной сферы².

Ориентированные изначально на производство научного знания о Советском Союзе и странах Восточной Европы история, лингвистика, литературоведение, антропология, в меньшей степени – социология, политология и экономика, к моменту окончания холодной войны достигли впечатляющих результатов в изучении этого обширного региона (2009, 799). Безусловно, они так же, как и исследования советского коммунизма, оказались перед лицом серьезного кризиса, вызванного не только «исчезновением» объекта изучения – СССР, – но и изменением статуса русских / советских исследований, утративших первостепенное значение для

¹ Истории американской советологии посвящена исключительно интересная монография Д. Энгермана (см.: Приложение: 2009, 799).

² На ежегодном съезде Ассоциации американских славистов в 2011 г. тематика докладов распределилась следующим образом: история – 36%, литература и культура – 29, социальные науки – 15; остальные 20% поделили между собой гендерные исследования, иудаика, изучение религии и др. См.: NewsNet. – Pittsburgh, 2012. – Vol. 52, N 1. – P. 6.

практической политики. Тем не менее во многом благодаря своему прочному научному фундаменту эти дисциплины сумели преодолеть кризис и выйти на новый виток развития. Особенно это касается исследований истории и культуры России, которые в 1990-е годы пережили настоящий взлет и пока что продолжают набирать высоту. Двадцать лет развития исторической науки о России в США, с особым вниманием к последнему десятилетию (которое, возможно, когда-нибудь будут называть «золотым веком» американской русистики), – таков хронологический охват этой книги.

Пастернаковское «поверх барьеров», уже достаточно затертое журналистами, взято в качестве названия неслучайно. Оно должно подчеркнуть присущие сегодняшней американской русистике динамизм и яркость, ее устремленность вперед, к новым горизонтам, невзирая ни на какие преграды. Эти черты с особой силой проявились в начале 1990-х годов, в эпоху быстрых революционных изменений, глубоких разочарований и невероятных возможностей. Тогда казалось, что вслед за Берлинской все стены – и прежде всего идеологические и национальные – рушатся одна за другой. Ощущение внезапно распахнувшегося мира возникло и у нас в годы перестройки, но постепенно притупилось в ходе борьбы за повседневное выживание, в том числе и у историков. В США все было несколько иначе. Подхваченная ветром перемен, американская русистика решительно двинулась вперед: осваивать архивы, развивать сотрудничество с коллегами в изучаемых странах, овладевать новейшими методами исследований.

С тех пор прошло двадцать лет, и в 2012 г. на 44-м ежегодном собрании американской Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских исследований – ведущей организации, объединяющей специалистов по изучению региона, – была заявлена для обсуждения тема «Рубеж, барьер и пересечение границы» («Boundary, Barrier and Border Crossing»). Исследователей пригласили поразмышлять не только о границах своих дисциплин в условиях междисциплинарности, но и о значении разного рода барьеров, географических и культурных, унаследованных от прошлого и возникших совсем недавно. Действительно, «пересечение границ», их «размывание» и «стирание» – отличительная черта современной американской русистики как научной дисциплины. С удивительной легкостью перемещается она во времени и пространстве, соединяя методологии и приемы разных наук, порой объединяя в рамках одного исследования прежде казавшиеся несовместимыми

подходы, смешивая жанры и темы. Все это, однако же, не отменяет ни границ, ни барьеров, поверх которых американская русистика упорно движется вперед в своем стремлении понять окружающий мир во всем его многообразии.

С окончанием холодной войны исчез главный барьер, разделявший две сверхдержавы и две историографии, – идеологический. Однако для русистики одним из последствий исчезновения «железного занавеса» стало постоянно урезаемое финансирование. Это, конечно же, серьезное препятствие для развития науки, но до недавнего времени его объем сохранялся на уровне, который не угрожал жизнеспособности дисциплины, а скорее служил своего рода стимулом, заставляя мобилизоваться и работать еще лучше. Так что, несмотря на бесконечные жалобы на сокращение рабочих мест, уменьшение количества студентов и на общее снижение интереса к региону, в США с каждым годом выходило все больше первоклассных исследований, посвященных истории и культуре России и стран бывшего Союза. Как долго будет сохраняться такое положение дел, сказать трудно. Возможно, напряженность в российско-американских отношениях, как бывало и прежде, внесет свои коррективы, но начиная с 2011 г. перспективы русистики выглядят крайне неутешительно, и финансовый барьер может стать исключительно значимым¹.

Наиболее серьезными остаются коммуникативные барьеры, препятствующие взаимодействию между научными сообществами в России и США. Языковой барьер пока продолжает быть самым значимым для российской стороны. Американцы лучше подготовлены в этом отношении, к тому же в ходе своей работы они преодолевают его ежедневно. Пожалуй, сфера, в которой они наименее расположены к преодолению барьеров, относится к методологии научного исследования. За последние двадцать лет ранее довольно старомодная американская историография России продвинулась далеко вперед, и возник серьезный разрыв между трудами старшего поколения (которые вполне понятны, хотя зачастую просто неиз-

¹ После принятого решения сократить расходную часть бюджета на 4% администрация Б. Обамы, значительно повысив расходы на высшее образование, одновременно урезала финансирование программ по международному образованию в среднем наполовину. Особенно сильно пострадали региональные исследования Евразии, прежде всего России и постсоветских государств. См.: Adams L. The crisis of U.S. funding for area studies // NewsNet. – Pittsburgh, 2013. – Vol. 53, N 2. – P. 2–3.

вестны нашим специалистам) и работами более молодых историков, написанных в иной исследовательской парадигме и иным языком. Познакомить нашего читателя с новыми тенденциями в изучении истории России в США, разъяснить и постараться сделать понятными современные подходы – главная задача этой книги.

Для того чтобы провести полномасштабное исследование состояния научной дисциплины за двадцать лет, необходимо глубокое погружение в академическую среду, с использованием методов плотного описания и устной истории, которые уже прочно вошли в арсенал антропологии науки. Предлагаемый читателю портрет современной американской русистики конструируется исключительно на основе опубликованных источников и в силу этого не может претендовать на сколько-нибудь серьезную полноту. Это образ, который создается при помощи текстов – монографий, сборников и журнальных статей, материалов дискуссий и отчетов о конференциях. Он вмещает в себя и обзоры новых направлений в американской историографии России, и анализ методологии, и добросовестный пересказ некоторых работ, который позволяет составить представление о стиле аргументации и исследовательском подходе их авторов. Важную роль играет и историко-интеллектуальный контекст, реконструированный, опять же, на основе публикаций (и здесь трудно переоценить историографические статьи и эссе, которые все активнее пишут западные русисты).

Разумеется, этот портрет не лишен субъективности и не свободен от волюнтаризма, однако же чаще всего осознанного. В фокусе внимания находится то новое и интересное, чем сильна американская русистика сегодня, в то время как «повторение пройденного» безжалостно отсекается. Во многом такой подход обусловлен спецификой работы в ИНИОН, где в 1970-е годы была разработана уникальная, как это теперь понятно, методика реферирования. Перед референтами ставилась задача отражать в своих работах прежде всего то новое, что содержится в книге, отводя общеизвестным сведениям самое скромное место. В нашем случае такой подход оправдывается в какой-то степени и самим предметом рассмотрения: новизна является ключевым понятием для американцев, в том числе и в науке. Для американской русистики «новое» означает отнюдь не маргинальное – оно целенаправленно культивируется и быстро превращается в магистральное, в то, что называют мейнстримом. В то же время, наряду с сознательным исключением работ, в этот мейнстрим по разным причинам не входящих, несомненно, в книге упущены и какие-то историогра-

фически важные исследования. Заранее приношу свои извинения авторам, не оправдываясь ни исключительным богатством сегодняшней американской русистики, ни скудостью библиотечных фондов и ограниченностью бесплатного доступа к интернет-ресурсам в России.

Какие-то пробелы может восполнить библиография, помещенная в книгу в качестве приложения, хотя и она также не полна. Список литературы, содержащий более 1 тыс. названий, служит двоякой цели. С одной стороны, это справочный аппарат, позволяющий сократить подстрочные сноски, с другой – своего рода панорама, помогающая увидеть, как из года в год менялось предметное поле американской русистики. Вместе с тем в библиографии читатель не найдет трудов британских русистов (а также австралийцев и европейцев, публикующихся на английском языке), что в значительной степени обеднило общую картину. Некоторые из них упоминаются в тексте.

Несколько слов следует сказать о терминологии, используемой в книге. Известно, что в США для обозначения дисциплин, занимавшихся изучением России, использовалось немало названий, каждое из которых очерчивало определенный круг исследовательских интересов и дисциплинарных предпочтений: *Russian studies*, *Slavic studies*, *Soviet studies*, *Sovietology*, *Kremlinology*, *Soviet and Communist studies*. Все они составляли часть так называемых *area studies* (региональных исследований), которые начали бурно развиваться в послевоенные годы. До Второй мировой войны в американском научном сообществе при обозначении исследований, относящихся к России и славянским странам, превалировало название *Slavic* (брит. *Slavonic*) *studies*, *Slavistics*. Термин был заимствован из русского языка (славистика) и подразумевал в первую очередь славянскую филологию, и только во-вторых – историю, что отражало тогдашнее состояние науки. Вскоре после войны возникает еще одно наименование – *Russian / Soviet studies*, которое получило наибольшее распространение и указывало прежде всего на междисциплинарность, с предпочтением социальных наук. Термин «советология» (*Soviet studies / Sovietology*) вошел в научный обиход в 1960-е годы и приобрел в советском варианте исключительно идеологизированное звучание, с уничижительными определениями¹. Созданный на пике холодной войны образ «бур-

¹ См.: Малиа М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. – М., 1997. – № 5. – С. 93–109.

жуазной лже-науки», обслуживающей интересы мирового империализма, до сих пор присутствует в термине «советология», хотя и не в такой яркой форме. Неудивительно, что американские историки, занимающиеся изучением советского периода, всячески открепщаются от ярлыка «советолог», настаивая на том, что этот термин относится прежде всего к политологам и социологам¹.

Термин «советология» почти не встретится на страницах этой книги, поскольку в центре внимания находится американская историография России (и СССР), что по-английски звучит как «American historical writing on Russia». Сама же дисциплина Russian / Soviet studies, включающая в себя сегодня историю, антропологию, этнологию, литературоведение, а также ряд социальных наук, наиболее адекватно описывается словосочетанием «американская русистика», с периодически необходимым дополнением «историческая». Термин «россиеведение» может выступать как взаимозаменяемый по отношению к русистике, однако чаще всего он отсылает нас к отечественной науке².

Если же говорить о предмете настоящей книги, то в терминологическом отношении точнее всего было бы обозначить его как «североамериканская историческая русистика», во-первых, потому, что уровень интеграции дисциплины в Северной Америке чрезвычайно высок. Происходит постоянный взаимообмен специалистами и публикациями, канадцы часто получают образование в американских университетах, публикуют свои первые монографии в университетских издательствах США. Во-вторых, повторюсь, в центре внимания находится история, которая с самого начала занимала ведущее место среди остальных дисциплин Russian studies как по количеству подготовленных специалистов, защитивших магистерские и докторские диссертации, так и по своему научному уровню (2009, 799, с. 337).

За полвека в США было опубликовано огромное количество очень серьезных монографий, сборников и статей по истории России и СССР. А за последние двадцать лет благодаря совместным усилиям историков, антропологов, этнологов и литературоведов, в Северной Америке (при активном взаимодействии с учеными из

¹ См. об этом: Fitzpatrick Sh. Politics as practice. Thoughts on a new Soviet political history // Kritika. – Bloomington, 2004. – Vol. 5, N 1. – P. 27–54.

² Сами американцы явно предпочитают термин «русистика». См., в частности, антологию: Американская русистика. Вехи историографии последних лет. – Самара, 2000–2001. – Т. 1–3.

Великобритании и Австралии, из Западной Европы) сложилась новая историография России, предложившая иной взгляд на считавшуюся прежде «варварской» и «экзотической» одну шестую часть суши. Характерной чертой этой историографии является отход от конфронтационного мышления эпохи холодной войны, что сами американцы считают – наряду с политическими трансформациями и «архивной революцией» – основной предпосылкой того поистине революционного рывка, который американская историческая русистика совершила в последние двадцать лет¹.

Безусловно, для совершения прорыва сложились (и были созданы) соответствующие условия. Прежде всего, исторические исследования России и СССР не только развивались в США исключительно динамично, но и были ориентированы на динамизм. Политика в области науки, проводившаяся как правительством, так и частными фондами, да и сам интеллектуальный климат в научном сообществе нацеливали исследователей на поиски нового. Во многом благодаря этому для американской исторической русистики изначально была характерна достаточно резкая смена исследовательских парадигм и, соответственно, подходов и интерпретаций, которые активно соперничали между собой.

В 1940–1950-е годы превалировала традиционная политическая и интеллектуальная история, затем в историографии России утвердилась теория модернизации, и на первый план выдвинулась социальная история. А в 1990-е годы доминирующее положение заняла культурная история, тесно связанная с антропологией, этнологией и литературоведением. Она открыла дорогу новым направлениям в изучении истории России, поставила новые вопросы и вызвала интерес к новым темам². Признание главенствующей роли культуры, ее всепроникающего характера лежит в основе таких новых направлений в американской историографии России, как

¹ См., в частности: Kotkin St. The state – is it us? Memoirs, archives, and kremlinologists // Russian review. – Urbana, 2002. – Vol. 61, N 1. – P. 35–51; A remarkable decade [From the editors] // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 229–231.

² Дэвид-Фокс М. Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. – Самара, 2000. – С. 5–47; Engelstein L. New thinking about the old empire: Post-Soviet reflections // Russian review. – Urbana, 2001. – Vol. 60, N 3. – P. 487–496; eadem. Culture, culture everywhere: Interpretations of modern Russia, across 1991 divide // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 363–394 и др.

гендерные исследования, изучение религии и религиозности, массового потребления, досуга и спорта.

Однако же доминирующее положение культурной истории в современной американской историографии России вовсе не означает, что полностью исчезли другие направления. Продолжают выходить работы в русле «традиционной» политической истории, не уходит со сцены и «ревизионистская» социальная история 1970–1980-х годов, претерпевая неизбежные изменения под влиянием новых веяний. Но при всем разнообразии подходов и предметов изучения заметен серьезный сдвиг в общих представлениях об истории России, произошедший к настоящему времени в американской историографии.

В самом общем виде можно констатировать, что в американской русистике независимо от методологических предпочтений тех или иных исследователей утвердился более позитивный взгляд на историю России: на протяжении 1990-х годов шла активная ее «нормализация». Историки перестали искать те черты и свойства, которые отличали Россию от Европы и свидетельствовали о «безнадежной» отсталости или же о «варварской» самобытности. Вместо картины «упадка и разрушения» старого режима, неуклонно двигавшегося к революционному коллапсу, в современной историографии выстраивается образ страны с богатой и многозначной историей, полной удивительных событий и замечательных достижений. Историки занялись поиском причин стабильности и долгого процветания империи, сумевшей вобрать в себя разнообразие народов и культур, не закрывая глаза, однако же, и на трагические и мрачные стороны российского прошлого. Но, пожалуй, главное, что изменилось в общей трактовке истории нашей страны, – тот факт, что Россия стала восприниматься как равноправная участница общемирового исторического процесса, «член семьи» европейских народов¹. Такой подход лежит в основе большинства современных трудов американских историков, по-прежнему активно работающих в направлении пересмотра считавшихся прежде незыблемыми истин.

В сущности, можно говорить о возникновении нового исторического образа России в американской русистике, и именно он, наряду с образом самой дисциплины, является предметом рассмотрения в этой книге. Интеллектуальный и институциональный контексты тех революционных изменений, которые произошли

¹ См. сборник: *Russia in the European context, 1789–1914: a member of the family* / Ed. by McCaffray S., Melançon M. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.

в дисциплине после окончания холодной войны, описываются в первой главе. Затем все внимание уделяется новым интерпретациям в их связи с теми методами и подходами, которые утверждались в американской русистике на протяжении 1990–2000-х годов. Глава вторая посвящена методологическим новациям, связанным с «культурным» и «лингвистическим» поворотами. Еще одно важное методологическое нововведение – гендерный анализ – рассматривается в третьей главе. «Имперский» и «транснациональный» повороты в американской русистике, с особым вниманием к проблеме «Россия и Запад», анализируются в двух последних главах.

Поскольку книга адресована в первую очередь историкам, которые, как правило, неохотно обращаются к вопросам теории, в ней используется чисто практический подход к методологии исторического исследования. И потому, хотя в ней и проводится мысль о том, что в основе изменений в интерпретациях лежат изменения в мировоззрении, философская терминология сведена к минимуму; читатель не найдет здесь слов «эпистемология» и «онтология», в лучшем случае – «картина бытия».

* * *

Книга подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 08-01-00116 а), программы Кеннан-Фулбрайт, обеспечившей долгосрочное пребывание в Вашингтоне (2007), а также Центрально-Европейского университета в Будапеште (Special Projects Office, Special and Extension Programs of the Central European University Foundation (CEUBPF), 2012). Кроме того, хотелось бы отметить значение ресурса «Gigapedia», без которого это исследование не могло бы состояться.

Глава 1

АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА ПОСЛЕ РАСПАДА СССР: ИДЕИ И ИНСТИТУТЫ

Когда мы говорим о распаде СССР и реакции Запада на это событие, то чаще всего вспоминаем о том, насколько неожиданным потрясением оказалось оно для аналитиков, хотя предупреждений и предсказаний о скорой гибели «империи зла» было предостаточно. Если уж переносить этот вопрос в эмоциональную плоскость, пресловутую внезапность скорее можно уподобить смерти тяжелобольного, которая для его близких оказывается, тем не менее, абсолютно неожиданной и ошеломляющей. А если вернуться на научные позиции, то следует признать, что процесс распада коммунистической системы был достаточно длительным, и в ходе его происходили судьбоносные события, действительно поражавшие своей внезапностью. Для западных русистов два из них имели почти равное символическое значение: падение Берлинской стены в ноябре 1989 г. и подписание Беловежского соглашения в декабре 1991 г., которые ознаменовали конец холодной войны и, соответственно, исчезновение барьера между «коммунистическим Востоком» и «капиталистическим Западом». Проблеме быстрого и относительно бескровного крушения коммунистической системы посвящено исключительно много работ, предложены самые разнообразные интерпретации причин, периодизации и сущности событий конца 1980-х – начала 1990-х годов. Однако нас больше интересуют их последствия для американской русистики, которая в течение небольшого промежутка времени основательно изменила свою конфигурацию.

Сегодня историки-русисты спорят о том, в какой степени крах Советского Союза оказал влияние на те трансформации, которые испытала их дисциплина после окончания холодной войны.

Спектр оценок достаточно широк, особенно когда речь идет о методологических инновациях, и простирается от утверждений о прямой причинной зависимости (после – значит, вследствие) до признания «каталитического эффекта» этого события. А специалист по советской истории и международным отношениям Гленнис Янг посвятила обширную статью доказательству того, что независимо от «коллапса» американская историография и так бы влилась в общую струю мировой науки, поскольку серьезные изменения начали происходить в ней уже в середине 1980-х годов, а то и раньше¹. Признавая сложность проблемы, способы решения которой в конечном счете зависят от того, как понимается причинность, не будем выстраивать иерархию факторов и отдавать предпочтение политическим, социальным или же культурным. Обратимся к бесспорным последствиям распада СССР, которые относятся к такой прозаической материи, как инфраструктура науки.

Инфраструктура, созданная за первые полвека существования Russian studies, была настолько мощной, что научная жизнь в стенах центров по изучению СССР и Восточной Европы продолжалась, хотя и переживала достаточно драматические коллизии². Особенно остро проблема выживания после 1991 г. стояла перед советологией, и здесь мнения участников многочисленных дискуссий варьировали от констатации ее «своевременной кончины» до призывов «сомкнуть ряды» и «ответить на вызовы современности» (см., в частности: 1995, 137). Одно было ясно всем: с окончанием холодной войны русистика утратила свой привилегированный ста-

¹ Young G. Fetishizing the Soviet collapse: Historical rupture and historiography of (early) Soviet socialism // Russian review. – Lawrence, 2007. – Vol. 66, N 1. – P. 95–122; Engelstein L. Culture, culture everywhere: Interpretations of modern Russia, across 1991 divide // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 363–394; Engelstein L. New thinking about the old empire: Post-Soviet reflections // Russian review. – Stanford, 2001. – Vol. 60, N 3. – P. 487–496; Hagen M. von. Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 2. – P. 445–468; Kotkin St. 1991 and the Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks // J. of mod. history. – Chicago, 1998. – Vol. 70, N 3. – P. 384–425; A remarkable decade [From the editors] // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 229–231 и многие др.

² О современной структуре исследовательских и образовательных институтов в англоязычном мире, включая библиотечные ресурсы, см.: Меньковский В.И. Англо-американская русистика и советистика на рубеже XX–XXI вв. // Працы гістарычнага факультэта: навук. зб. / Рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2006. – Вып. 1. – С. 243–255. – Режим доступа: <http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/tif/1/Menkovsky.pdf>

тус. Для того чтобы выжить и сохранить уровень финансирования, следовало перестроиться, преодолеть изоляцию и интегрироваться в американское научное сообщество. Однако оставалось неясным, как именно это должно произойти, в чем выразится интеграция и как не просто сохранить, но двинуть вперед научные исследования.

Тем не менее процесс перестройки начался, хотя шел достаточно неравномерно, что отразилось, в частности, в названиях соответствующих структур и программ. Во многих случаях программы по подготовке специалистов пошли по самому простому пути, добавив приставку «пост». Советология в некоторых случаях превратилась в «постсоветологию», а в некоторых – в «транзитологию», поскольку считалось, что республики бывшего СССР находятся в процессе перехода к демократии (*transition to democracy*). То же самое произошло и с некоторыми журналами («Проблемы посткоммунизма»). Сложнее оказалось с теми названиями, которые содержали в себе указание на регион, что неминуемо ставило вопрос о том, как определить объект изучения в условиях новых геополитических реалий. Здесь также наблюдались разнообразные подходы. Например, журнал «*Soviet Studies*» был переименован в «*Europe-Asia Studies*», а Институт Кеннана в Вашингтоне сократил свое название, убрав из него последние слова, указывавшие на принадлежность к «русским исследованиям» (*The Kennan Institute for Advanced Russian Studies*)¹.

В конечном счете, речь шла об изучении так называемого «постсоветского пространства», что подчеркивало политический критерий в определении региона, но при этом в новых условиях требовало деидеологизации. В стремлении дистанцироваться от наследия холодной войны на первый план выходят такие относительно нейтральные географические термины, как «Центрально-Восточная Европа» и «Евразия». В соответствии с новой «воображаемой географией» изменили свои названия и многие американские центры по изучению СССР и Восточной Европы. К настоящему времени большинство программ по подготовке специалистов в области *Russian studies* добавили в свое название слово «евразийские». Вслед за Госдепартаментом США, который мгновенно переименовал свое Бюро по изучению бывших советских республик в «Европейское и евразийское» (переместив, однако же, Среднюю

¹ См., в частности: Kotkin S. *Mongol Commonwealth? Exchange and governance across the post-Mongol space* // *Kritika*. – Bloomington, 2007. – Vol. 8, N 3. – P. 487.

Азию в Бюро по Южной Азии), такие университеты, как Колумбийский, Стэнфорд и Гарвард, также включили термин «Евразия» в названия соответствующих центров.

В то же время далеко не везде этот процесс проходил гладко: в научном сообществе раздавались голоса, предостерегающие о том, что Россия может исчезнуть не только из названий институтов, но и из самих региональных исследований, которые будут отдавать предпочтение новым независимым государствам, возникшим на ее периферии (что, в общем-то, и произошло)¹. Многие университеты так и не воспользовались новой терминологией, да и сама Американская ассоциация содействия славянским исследованиям (AAASS) очень долго пребывала в колебаниях. Лишь в 2010 г. по результатам общего голосования было принято решение назвать ее Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – ASEES), хотя старая аббревиатура, удобная в произношении (triple A, double S), продолжает свое бытование.

Если смотреть на термин «Евразия» изнутри, из изучаемого региона, он выглядит, как совершенно справедливо заметил Стивен Коткин, достаточно проблематичным, поскольку в России, например, вызывает ассоциации с движением евразийства. Неслучайно международный по своему характеру журнал «Ab imperio», издаваемый в Казани, определяет область своих географических интересов как «постсоветское пространство». Но даже если полностью отделить термин «Евразия» от евразийства и связанных с ним политических ассоциаций, выясняется, что многие бывшие советские республики совершенно не склонны к его восприятию. Особенно резко отвергается он в странах Балтии и Украине, которые идентифицируют себя с Европой².

Совершенно иначе читается этот термин многими американскими исследователями. Несколько лет назад историк Марк фон Хаген выдвинул идею о концепте Евразии как «антипарадигме», которая могла бы заменить господствовавшие прежде сначала то-

¹ Kotkin S. Mongol Commonwealth? Exchange and governance across the post-Mongol space // *Kritika*. – Bloomington, 2007. – Vol. 8, N 3. – P. 487–488.

² Ibid. – P. 488. См. также сборник: East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej, 2009. Он посвящен истории и сегодняшнему состоянию исследований региона, в который входит территория бывшего СССР и стран Восточной Европы. «Восток» в данном случае включает в себя бывшие страны так называемого «реального социализма» в противоположность «западным демократиям».

талитарную, а затем модернизационную исследовательские парадигмы. По его мнению, категория Евразии не только привлекает внимание к империям, существовавшим на этой территории, но и открывает новые горизонты для исследователей, поскольку несет в себе существенный освободительный потенциал. Представления об изолированности стран, разделенных «железным занавесом», сменились после окончания холодной войны осознанием проницаемости границ, повышением интереса к культурному разнообразию контактных зон империй и диаспорам¹. Еще более решительно высказался недавно президент ASEES антрополог Брюс Грант. В своей речи «Все мы евразийцы» он говорил о том, что концепт «Евразия» сигнализирует о новых тенденциях в быстро изменяющейся дисциплине и ассоциируется с особым отношением к окружающему миру, подразумевая открытость, гибкость, отзывчивость и способность вживаться в иные культуры, интерес к разнообразному опыту и знанию. Это дает возможность отойти от узкого подхода классических региональных исследований, развивая междисциплинарность в самом широком смысле этого слова².

Для американских историков-русистов расширение горизонтов, о которых говорил Брюс Грант, началось в годы перестройки, с открытием советских архивов, в том числе и провинциальных, для исследователей-иностранцев. Были облегчены въезд в страну и возможности передвижения, так что американские специалисты наконец-то получили доступ к объекту своего исследования, смогли активизировать сотрудничество с советскими коллегами и обрели долгожданную возможность заняться устной историей. Все это способствовало оживлению дисциплины, а благодаря широкому общественному интересу, даже моде на все «советское» в США существенно вырос приток студентов, желавших изучать историю и культуру региона. И в самом СССР годы перестройки отмечены необычайным интересом к недавнему прошлому своей страны (санкционированным сверху, но сделавшимся затем неуправляемым). Движение по «возвращению истории», захватившее широкие слои советского общества, не могло не затронуть и историографию. И в российской исторической науке, и в американской русистике шел активный пересмотр старых клише, многократно усилился интерес к изучению «белых пятен» главным образом советской истории, с которой, наконец, был снят идеологический запрет.

¹ Hagen M. von. Empires, borderlands, and diasporas... P. 447–448.

² Grant B. We are all Eurasian // NewsNet. – Pittsburgh, 2012. – Vol. 52, N 1. – P. 6.

Считается, что «архивная революция» сыграла первостепенную роль в «возвращении» советской истории. Ее, однако же, нельзя сводить к индивидуальной деятельности исследователей, которые в результате получили совершенно иного качества эмпирическую базу. «Архивная революция» включала в себя и открытие так называемых «народных архивов» (сначала при поддержке фонда Сороса – в Москве, потом и в других городах), и публикаторскую деятельность. И потому совершенно права Линн Виола, которая говорит не столько об «архивной», сколько об «информационной» революции, происходившей в СССР и затем на постсоветском пространстве и захватившей зарубежную русистику¹. Помимо архивных документов, публиковались мемуары и дневники, интервью и устные истории. Довольно быстро в условиях экономического кризиса, а затем и финансового коллапса СССР к этой работе подключились зарубежные русисты. Были запущены совместные проекты по изданию таких важных материалов, как «Трагедия советской деревни» и «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД». Издательство Йельского университета начало публиковать серию «Анналы коммунизма», с середины 1990-х годов вышло более 20 книг, в которых ведущие ученые представляют и комментируют подборки документов о советской истории (см., например: 1994, 127).

Невозможно перечислить все совместные проекты, начавшиеся еще в годы перестройки и продолжившиеся в ельцинской России². Это было время наиболее активного сотрудничества, сопряженного, однако же, с большими трудностями. Американцы стремились заполучить как можно больше материалов, прежде всего архивных источников. Конечно же, это было не чисто научное предприятие, но и бизнес, в котором обе стороны старались соблюсти свою выгоду. И хотя с точки зрения морали можно заклеить американцев, пользовавшихся тяжелой финансовой ситуацией в России, не будем выносить оценок, поскольку вторая сторона также не была совсем уж невинна. Важнее конечный итог: огромное количество архивных материалов, опубликованных на

¹ Viola L. The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // Russian review. – Stanford, 2002. – Vol., N 1. – P. 30.

² Нельзя не сказать, однако, о деятельности П. Гримстед. См.: Archives of Russia: A directory and bibliographic guide to holdings in Moscow and St. Petersburg / Ed. by Grimsted P.K.; Compiled by Grimsted P.K., Repulo L.V., Tunkina I.V.; With an introduction by Kozlov V.P. – Armonk: M.E. Sharpe, 2000. – 2 vols. Русское издание: Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: справочник-обозрение и библиографический указатель. – М.: Археографический центр, 1997.

бумажных носителях и в Сети, а также микрофильмированных, стали в результате доступны гораздо большему количеству исследователей. Публикации документов, начатые в конце 1980-х годов и продолжающиеся до настоящего времени, позволили заполнить «белые пятна» и осветить «темные стороны» советской истории. Все это стало частью того «открытия горизонтов», о котором постоянно упоминают американские историки, и которое происходило не только в зарубежной русистике, но и в нашей стране.

«Информационная революция» в исторических исследованиях России вышла на новый уровень с развитием сети Интернет и цифровых технологий. Если говорить об архивах, то исключительно важными следует признать совместный проект П. Гримстед из Гарварда и Росархива «Archeobibliobase» (www.iisg.org) и базу данных «Путеводители по российским архивам», созданную совместными усилиями фирмы «East View Information Services, Inc» и Федерального архивного агентства, которая содержит описания более 150 тыс. архивных фондов (<http://guides.eastview.com>). Через Всемирную паутину сегодня можно даже заказать копии архивных документов. Интернет сделал доступными и иные виды источников, прежде всего аудиовизуальные, и большим подспорьем в этом отношении являются сайты соответствующего содержания, например, «Старое радио» и др. Не так давно Мосфильм в сотрудничестве с YouTube запустил исключительно важный проект, разместив в свободном доступе большое количество полнометражных фильмов – классики советского кино, причем для иностранных пользователей добавлена опция субтитров.

Интернет невероятно облегчил доступ и к библиотечным ресурсам и, по словам М. По, совершил «небольшую революцию» в исторических исследованиях, создав электронные поисковые системы¹. В 1990-е годы было сформировано довольно много специальных тематических каталогов по русистике и славистике, в том числе и в России, которая, конечно, пока отстает от Запада в этом отношении. Некоторые из созданных на заре интернет-эры в России ресурсов функционируют и сегодня, как, например, «Отечественная история» Олега Ланцова (www.lants.tellur.ru/history/index.htm), где можно найти тексты важнейших классических работ по дореволюционной истории. К настоящему времени оцифровкой занялись государственные учреждения, в частности, крупнейшие рос-

¹ Poe M. Russian history on the Web: A guide and review // *Kritika*. – Bloomington, 2000. – Vol. 1, N 3. – P. 342–345.

сийские библиотеки, сформировавшие и электронные каталоги своих фондов. Большой корпус древнерусской литературы и многое другое находится, например, в открытом доступе на сайте Пушкинского Дома. Вышло немало путеводителей по русскоязычным ресурсам в сети Интернет по истории¹.

В США работу по созданию каталогов уже давно ведут университеты, в частности, Питтсбургский и Техасский. Организованный при Центре научных библиотек проект *Slavic and East European Microform Project (SEEMP)* занимается оцифровкой редких изданий и малодоступной периодики. Существуют и другие ресурсы по отдельным темам. Например, уже упоминавшаяся фирма *EastView* формирует все новые базы данных, в которых содержатся не только материалы современной российской и восточноевропейской прессы, в том числе и научной, но и, например, оцифрованные подшивки газет «Правда» и «Известия» начиная с первого года издания.

Сегодня американские русисты имеют возможность пользоваться электронными каталогами библиотек, соединенными с другими библиографическими базами данных, получать электронные версии журналов, западных и российских, найти информацию о диссертациях, а в случае необходимости и загрузить их в свой компьютер. Отличный электронный каталог книг и статей содержится в библиографической базе данных «*The American Bibliography of Slavic and Eastern European Studies*» (*ABSEES*), которая базируется в библиотеке университета Индианы (Урбана). Конечно же, неоценимы такие известные базы данных, как *JSTOR*, *EBSCO* и *Project Muse*.

Необыкновенно расширились возможности в образовании, в том числе и для преподавателей, которые могут знакомиться с программами и лекционными курсами своих коллег, обмениваться опытом и идеями. Для студентов и всех интересующихся историей России создаются такие ресурсы, как «17 мгновений советской истории» и «Коммунальная жизнь в России: Виртуальный музей советской повседневности». Создан и виртуальный музей ГУЛАГа в сотрудничестве с музеем в Перми. Причем если еще несколько лет назад главными коммуникационными ресурсами были форумы и дискуссионные группы (как, например, *H-Russia*), то теперь это блоги и *Twitter* с *Facebook*. Исключительно интересны блоги *Teaching history*, *Russian History Blog*, где проходит активное обсуждение

¹ См. в частности: *Virtual Slavica: Digital archives, digital libraries* / Ed. by Neubert M. – Binghamton: Haworth Press, 2006.

недавно опубликованных книг по истории России. Сетевая активность американских русистов довольно велика, хотя их постоянно и призывают активизировать свои научные контакты в Сети¹.

Еще одним плюсом цифровой эры является то, что можно отказаться от бумажных журналов, поскольку в США специалисты имеют свободный доступ к полнотекстовым базам данных, на которые подписался их университет, и могут получить нужную статью в любое удобное время. А при помощи таких интернет-магазинов, как Amazon, покупка книг по русской истории, электронных и бумажных, превратилась в легкое, интересное и, что немаловажно, ресурсосберегающее занятие.

Все это значительно экономит силы и средства, а главное, время исследователей. Необыкновенно уплотнились сроки организации конференций: теперь уже нет нужды рассылать письма по стране и отправлять приглашения потенциальным участникам в далекую Россию, ожидая ответа «с оказией». Электронная почта позволяет решить это в несколько минут. Сократились и сроки прохождения публикаций в журналах. Строгая процедура рецензирования рукописей и их последующей переработки сводится к нескольким месяцам, а то и неделям.

Однако столь идиллическая картина, которой может только позавидовать отечественный исследователь, уравнивается наличием других трудностей, прежде всего обострившейся конкуренцией, вызванной как сокращением рабочих мест и числа студентов, так и постоянным снижением уровня финансирования. Конечно, в США система научной работы не столь потогонная, как в Великобритании, где требуется издавать монографии одну за другой, но тоже достаточно жесткая. Публикации в референтных изданиях фактически признаны главным критерием при решении вопроса о приеме на работу и необходимы для карьерного роста в своем университете. «Публикуйся или погибни!» – такой лозунг редакторы журнала «Критика» считают самым насущным для ученого в США².

Вернемся, однако же, на пару десятилетий назад, в годы «Горбачёвской революции», как ее называли на Западе. В этот период там были серьезно увлечены проблемой постепенного и по возможности безболезненного перехода СССР к демократии. Многие аналитики были уверены, что эту задачу можно будет более

¹ Sigler K. Let us tweet! #aseees2011 // NewsNet. – Pittsburgh, 2011. – Vol. 51, N 5. – P. 9.

² Marketing Russian history // Kritika. – Bloomington, 2008. – Vol. 9, N 3. – P. 502.

или менее успешно решить, учитывая проводившиеся Горбачёвым реформы. Среди западных специалистов, и историков в том числе, получила широкое распространение концепция гражданского общества, формирование которого признавалось тогда главным условием развития демократии. И в то время, когда в Советском Союзе шла активная «реабилитация» дореволюционной истории, социальные историки в США открывали богатую общественную жизнь в России конца XVIII – начала XX в. Дебаты шли в основном вокруг вопроса о *степени* развития гражданского общества, хотя общее мнение склонялось к тому, что к началу XX в. оно вполне отвечало западным стандартам. Сегодня, когда историки исследовали эту концепцию всесторонне и стало понятно, что гражданское общество не является ключом, отпирающим дверь в светлое будущее, стало понятно и то, что чрезмерное увлечение этой концепцией лишь замедлило методологическую перестройку американской исторической русистики.

Для того чтобы яснее увидеть то новое, что зарождалось в американской русистике на рубеже 1980–1990-х годов, обратимся к тем интерпретациям истории России, которые бытовали в западной историографии во времена холодной войны. Их было достаточно много, причем все они основывались на парадигме «Россия и Запад», в которой «Запад» выступал одновременно точкой отсчета и эталоном для сравнений. Сравнений России с Западом трудно, почти невозможно избежать и сегодня, поскольку на них строилась русская культура эпохи Нового времени¹. Но в период холодной войны Россия, как отметил М. фон Хаген, кроме всего прочего представляла собой удобный образ «Другого», отталкиваясь от которого США формировали собственную идентичность и понимание себя как «Запада»².

На одном конце довольно обширного спектра интерпретаций находились трактовки, подчеркивавшие российскую исключительность и выпячивавшие деспотические черты в прошлом и настоящем России. Фактически речь шла об «особом пути» исторического развития страны, лежащей между Востоком и Западом и обладающей массой «азиатских» черт. На противоположном по-

¹ См. об этом, в частности: Дэвид-Фокс М. Введение: Отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. – Самара, 2000. – С. 5–47.

² Hagen M. von. Empires, borderlands, and diasporas... P. 449.

люсе находилась трактовка, возникшая в 1950-е годы, которая вернула Россию в европейскую историю, но на правах «отстающего». В рамках теории модернизации, которая надолго утвердилась в западной исторической науке, Россия была признана страной «второго эшелона», вынужденной догонять своих более развитых соседей. Первая, более консервативная трактовка, всегда находившая отклик в общественном сознании, многими считалась устаревшей и постоянно оспаривалась с научных, а в сущности с либерально-демократических, позиций приверженцами теории модернизации. Однако несмотря на борьбу нового и старого, неизменно присутствовавшую в американской русистике, несмотря на все различия между историками, принадлежавшими к разным поколениям и придерживавшимися разных политических взглядов, в противоборствующих трактовках было много общего.

Во-первых, их объединял позитивистский подход, неотделимый от телеологии и исторического детерминизма. В основе интерпретаций лежало представление о некой конечной цели исторического развития, к которой стремится всякая страна, идущая по пути прогресса. Ни левые радикалы, при всем своем критическом отношении к американскому истеблишменту, ни тем более либералы и консерваторы не подвергали сомнению, что этот конечный пункт – парламентская демократия западного типа, которая достигает своего полного развития в национальном государстве. С этой точки зрения трактовались те или иные события и особенности государственного устройства других стран: помогают ли они достижению заветной цели или, напротив, уводят от нее? Именно поэтому американские историки-русисты были склонны выявлять в прошлом России «препятствия» и «дисбалансы», которые выступали либо как признак российской самобытности, либо как атрибуты отсталости, присущие всем модернизирующимся странам.

Во-вторых, наряду с наиболее общими представлениями о системных чертах, определявших историческое развитие России (обширная территория, суровый климат, деспотизм власти и пассивность населения), в американской историографии долгое время присутствовал целый набор характеристик российского государства и общества, которые не ставились под сомнение, но оценивались, однако же, по-разному. Единодушно признавалось, например, что в России всегда было очень сильное государство, но сторонники концепции самобытности подчеркивали его репрессивную роль и говорили о самодержавном деспотизме, а приверженцы теории модернизации видели в государстве главный двигатель прогресса,

инициатора реформ, которые должны были привести страну к конституционализму. Однако и те и другие проводили резкую разделительную черту между обществом и государством, противопоставляя их друг другу и подчеркивая конфронтационный характер их отношений.

Наконец, центральную роль в историографии времен холодной войны играла революция 1917 года, которую считали либо трагедией, завершившей чрезвычайно краткий период демократического развития и ввергнувшей страну в пропасть тоталитаризма, либо неизбежным результатом структурных дисбалансов, накопившихся к началу XX в. в бурно модернизирующейся отсталой стране. Однако в любом случае ее огромное значение и для истории страны, и для социалистического настоящего признавалось единодушно, и потому исследователи по обе стороны «железного занавеса» вели счет от 1917 г. назад – ретроспективно. Что касается самих исследований русской революции в США, то центральное место в них в годы холодной войны занимала полемика между «традиционалистской» либерально-консервативной точкой зрения (сторонниками «тоталитарной» школы, называвшими революцию «октябрьским переворотом») и «ревизионистской», все внимание уделявшей ее социальным корням и массовой поддержке. В этой борьбе не победил никто. Как писал М. Конфино, одним из побочных историографических эффектов распада СССР явилось то, что «был поставлен большой знак вопроса на событие, которое привело к его созданию»¹. С исчезновением Советского Союза исчез «результат» революции, что заставило историков по-новому посмотреть на ее сущность, значение и причины. В поисках новой парадигмы в американской русистике началось явное размывание самого понятия революции 1917 г.: революционный период все расширялся, его конец был отодвинут к 1991 г., а начало – к 1861-му. Иногда даже отрицался сам факт, что события Октября можно квалифицировать как революцию, и предлагалось заменить в учебных курсах «парадигму 1917 года» на «парадигму Смутного времени»².

¹ Confino M. Present events and the representation of the past: some current problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. – P., 1994. – Vol. 35, N 4. – P. 846.

² Confino M. Present events and the representation of the past: some current problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. – P., 1994. – Vol. 35, N 4. – P. 849.

Такие перекосы были характерны для бурного времени конца 1980-х – начала 1990-х годов. С одной стороны, они явились выражением определенной растерянности перед лицом быстрых перемен, с другой – отражали стремление пересмотреть старые интерпретации, тем более актуальное, что в мировой исторической науке также происходили серьезные изменения, которые у нас принято называть «вызовами постмодернизма». Получив основательную встряску, которую сравнивали с шоковой терапией в странах бывшего социализма¹, американская русистика, позитивистская и эмпирическая в своей основе, в ускоренном темпе начала усваивать новейшие тенденции. Как писала Лора Энгельстайн, события 1991 г. заставили исследователей осознать, насколько «исторически специфичными» были инструменты, с помощью которых они пытались «дешифровать прошлое России». И это осознание историчности, условности и преходящего характера «концептуальных основ», на которых строится наука, является отличительной чертой эпохи постмодерна².

Первые признаки методологических изменений в изучении истории императорской России проявились на практических семинарах, которые проводились Исследовательским советом по общественным наукам (SSRC) в 1991–1993 гг.³ Поставленные на этих собраниях вопросы и намеченные линии исследований должны были полностью изменить весь «нарратив русской истории», каким он был в годы холодной войны. Участники критиковали нормативный подход и телеологичность, присущие прежним исследованиям, их приверженность либеральной концепции интеграции общества с ее упором на формальные институты, а также некритичное заимствование построений русской государственной школы. Отвергая противопоставление государства и общества, на котором ранее строились все исследования истории России, большинство участников сходились во мнении, что следует изучать «неопозиционные, неформальные, создающие консенсус» структуры обще-

¹ Buckler J. What comes after «Post-Soviet» in Russian studies? // PMLA. – N.Y., 2009. – Vol. 124, N 1. – P. 251.

² Engelstein L. Paradigms, pathologies, and other clues to Russian spiritual culture: Some post-Soviet thoughts // Slavic rev. – Chicago, 1998. – Vol. 57, N 4. – P. 864–865.

³ См. отчет Джейн Бербанк о конференции в университете Айовы 1991 г.: Burbank J. Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic review. – Chicago, 1993. – Vol. 52, N 3. – P. 556. Подробнее об этом: Большакова О.В. Власть и политика в России XIX – начала XX в.: Американская историография. – М.: Наука, 2008. – С. 199–201.

ства и такие «внеюридические» сферы, как институты досуга, предпринимательство, образ жизни, народную религию – с особым вниманием к системам социальных ценностей разных групп. В конечном счете речь шла о «нормализации» в историографии русского общества, которое прежде было принято считать раздробленным на многочисленные группы, недостаточно развитым и слабым по сравнению с могущественным государством¹.

Был значительно проблематизирован и вопрос о сравнении России и Запада, хотя отмечалось, что чрезвычайно трудно избавиться историческую науку от этих сравнений, особенно когда речь идет о «догоняющем развитии». Одновременно высказывались мнения о том, что историю России следует рассматривать в контексте истории континентальной Европы и искать не только отличия, но и подобию. А по мнению Джейн Бербанк, историческая наука должна перешагнуть через подходы, основанные на европейском представлении о национальных государствах, и изучать Россию как особый род империи в широком сравнительном контексте. Проблемы формирования русской и других национальных идентичностей в имперском контексте были выдвинуты ею на первый план, что поддерживали и другие участники семинара.

В методологическом отношении, по общему мнению, следовало переключиться на антропологический подход, который уже завоевал признание среди американских историков-русистов, и изучать идеи, мифы и символы, системы значений, при этом шире применять гендерный анализ и не оставлять микроанализ на откуп этнографам. Культура ставится в центр исследований как общества, так и государства и его институтов. Р. Стайтс призвал к изучению разных областей культуры: «высокой» городской, имперской и / или этнической, культуры пограничных зон, революционной субкультуры и др. Их следует рассматривать как «культурную систему, единое здание идей, ценностей и образов, в котором жили русские люди всех классов и сословий». Кроме того, при рассмотрении государства было предложено отойти от презентистских оценок прогресса, основанных на идеях Просвещения о «хорошем правительстве» и конституционализме. Рассмотрение истории Российской империи под другим углом – в русле постколониальных исследований – позволило бы, как отмечал Д. Рэнсел, обратить внимание на «успехи правителей России в строительстве империи», которое производилось достаточно мирным путем, на основе

¹ Burbank J. Op. cit. – P. 559.

включения других народов с их культурным разнообразием в общее государство¹.

Непосредственным результатом работы этих семинаров стал исключительно содержательный сборник «Императорская Россия: Новые истории империи» (1998, 256), предложивший как новые темы и подходы (практики империи, имперское воображение), так и новые «единицы измерения». В центре внимания оказывается семья, причем рассматривается не только ее роль в крестьянской экономике, но и смыслообразующее значение в формировании политической культуры дворянства и символизма самодержавной идеологии, что отразило возрастающий интерес к культурно-историческому анализу. Общая концепция сборника, с подчеркнутым отказом от «революционной» и «оппозиционной» проблематики – на что указывает и его хронологический охват (1730–1880-е годы) – разительно отличается от традиционного нарратива «упадка империи». Читателю демонстрируется богатство и разнообразие культурных и управленческих практик Российской империи, которые исследуются с разных точек зрения: интеллектуальная история, микроистория, семиотика, дискурсивный анализ нашли свое место в сборнике наряду с более традиционным крестьяноведением. Из дня сегодняшнего хорошо виден переходный характер издания, так же как и свойственные лучшим публикациям 1990-х годов черты: открытость, устремленность в будущее, энтузиазм и позитивный настрой исследователей.

Одновременно возникает впечатление плавности и относительной безболезненности перехода дисциплины к новым интерпретациям, что имеет под собой серьезные основания. Ведь и в советское время зарубежные специалисты по дореволюционной истории могли получить доступ к источникам (если дело не касалось каких-то закрытых областей – например, военной истории) и не испытывали сильного идеологического давления, поскольку были довольно далеки от жгучих проблем современности. Во многом благодаря этим обстоятельствам американская историография дореволюционной России достигла высокого научного уровня, и столь основательный фундамент уберег ее от серьезных кризисных потрясений. Освобожденные от оков политизации времен холодной войны, специалисты по истории императорской России и Московской Руси фактически продолжили те линии исследования, которые наметились в их субдисциплинах еще в 1980-е годы: ин-

¹ Burbank J. Op. cit. – P. 561.

терес к политической культуре, отказ от изучения классов и сословий в пользу менталитета и идентичностей, внимание к языку, дискурсу и репрезентациям. Конечно, внешние события сыграли свою позитивную роль в этих процессах. Облегчение доступа в архивы, в особенности провинциальные, также способствовало развитию этих исследований, в особенности когда речь шла об истории повседневности и микроистории.

В 1990-е годы в США вышли серьезные работы по истории Московской Руси с особым вниманием к XVII в. (1992, 2, 12, 17; 1994, 114; 1995, 168; 1997, 209, 233). Следует выделить такие значимые монографии, как «Самодержавие в провинции» Валери Кивельсон (1996, 179); «Московия и монголы» Дэвида Островски (1998, 266); «Экономика и материальная культура России, 1600–1725» Ричарда Хелли (1999, 296); «Соединенные честью. Государство и общество в России раннего Нового времени» Нэнси Шилдс Коллманн (1999, 305). Американские русисты обратились и к XVIII в., который ранее выпадал из поля зрения, поскольку в нем трудно было отыскать признаки революционной традиции и корни революции 1917 г. (1992, 20; 1993, 63; 1995, 157; 1997, 207; 1999, 315). Однако основные плоды этой исследовательской деятельности увидели свет в новом тысячелетии.

В изучении России XIX – начала XX в. естественным образом продолжались линии исследования, занимавшие видное место в историографии 1970–1980-х годов: в частности, публиковались материалы международных конференций, посвященных реформаторской традиции в России, которые прошли в США и Канаде на рубеже 1980–1990-х годов (1994, 122; 1995, 163; 1997, 232). По-прежнему силен интерес к изучению внешней политики, экономики, государственных и общественных институтов и реформ (1992, 9, 19, 21; 1994, 99, 101, 120; 1995, 155; 1996, 173, 181, 183, 195; 1997, 223; 1998, 250, 253, 271; 1999, 294, 299), хотя наблюдаются и некоторые новации: например, усиливается внимание к отраслям экономики, не связанным с тяжелой индустрией, но имеющим прямые выходы на жизнь общества – фармацевтики, рынка печатной продукции (1994, 91; 1998, 255). В исследованиях крестьянства и социальной структуры российского общества в целом фокус исследовательского интереса смещается к социальным идентичностям, культурным практикам и репрезентациям (1992, 32, 33; 1993, 53, 68; 1994, 93, 96, 132; 1995, 170; 1997, 240; 1998, 246; 1999, 289, 307). То же самое можно сказать и о традиционной для историографии времен холодной войны революционной проблематике, в

изучении которой одновременно со спадом к ней интереса явно наметился сдвиг в направлении культурно-исторических интерпретаций (1992, 37; 1995, 172; 1999, 323).

Среди новых направлений в американской историографии дореволюционной России, возникших после окончания холодной войны, выделяются исследования многонациональной империи (1992, 14; 1993, 47; 1994, 107, 125; 1996, 198; 1997, 202, 235; 1998, 259; 1999, 282, 283). Правда, публикация значительного количества монографий в русле «имперской парадигмы» приходится на 2000-е годы. «Революционное десятилетие» 90-х отмечено взрывом гендерных исследований, которые начинают вытеснять социальную женскую историю (1993, 73; 1994, 121; 1996, 176, 189, 199; 1997, 241; 1998, 279). Новыми для американской русистики темами становятся религия и религиозная жизнь в Российской империи, причем в 90-е годы интерес исследователей сосредоточен преимущественно на православии и истории религиозной мысли (1993, 66; 1995, 164; 1996, 190; 1997, 228; 1999, 290, 310; 2000, 343). Культура начинает занимать все более значимое место в исследованиях дореволюционной России, к историкам присоединились литературоведы, обратившись к изучению таких тем, как, например, история дуэли (1999, 313). Все чаще в этих работах звучит тема «европейскости» Российской империи, все тише голоса обличителей царизма. Инкорпорация новой методологии и новых подходов в исследования дореволюционной России совершалась постепенно, и, как демонстрирует список трудов американских историков, помещенный в Приложении, поток новаторской литературы неуклонно нарастал.

Гораздо болезненнее происходила перестройка исследований по советской истории – дисциплины молодой, конституировавшейся где-то в конце 1970-х годов и сильно зависевшей от политической конъюнктуры. В 1980-е годы там разворачивалась острая борьба между группой молодых социальных историков-«ревизионистов», занимавшихся изучением сталинизма, и представителями старшего поколения – приверженцами тоталитарной парадигмы, писавшими политическую историю в самом традиционном ключе. В годы холодной войны дискуссии приняли форму «культурных войн». Такие авторитеты, как Р. Конквест, Л. Шапиро, Р. Пайпс, обвиняли ревизионистов в попытках обелить советский режим, что означало сознательное или неосознанное сотрудничество с ним¹.

¹ Подробную библиографию по этой проблеме см.: Pereira N.G.O. Revisiting revisionists and their critics // *Historian*. – Tampa, 2010. – Vol. 72, N 1. – P. 23–37.

Рассматривая советское общество «снизу вверх», социальные историки Ш. Фицпатрик, Л. Виола, А. Гетти и др. исходили из предположения, что оно не было простым объектом пропагандистских манипуляций и контроля со стороны «партии-государства», а представляло собой достаточно сложный и жизнеспособный организм. Убежденные в том, что террор сам по себе не мог обеспечить стабильность режима, они искали и находили широкую массовую поддержку советской власти.

В работах приверженцев теории тоталитаризма первостепенное значение придавалось идеологии, террор выступал в качестве системной составляющей коммунистического режима и ответственность за него возлагалась на Сталина и Политбюро¹. Ревизионисты скептически отнеслись к утверждению, что Сталин лично инициировал террор, так же как и к представлениям о монолитном характере партии и правительства². Они поставили под вопрос данные о численности жертв сталинского террора, которые считали завышенными, но главное – не имевшими под собой реальной документальной основы. Предложенные ими цифры оказались многократно меньше, что ничуть не умаляло в их глазах степень преступности сталинского режима. Но, по сути, в отсутствие доступа к засекреченным советским материалам данные ревизионистов также оставались чисто умозрительными. Предполагалось, что открытие советских архивов даст ответы на все эти вопросы и рассудит, кто прав.

Вполне предсказуемо, что все участники «культурных войн» нашли в архивах лишь подтверждение своей точке зрения, поскольку именно это они там и искали. Тем не менее архивные данные доказали правоту приверженцев тоталитарной школы в том, что Сталин лично инициировал Большой Террор 1937–1938 гг. В то же время не подтвердилась приводившаяся ими цифра в 20 млн. жертв политических репрессий (однако они продолжают на ней настаивать). Совместно с В.Н. Земсковым и основываясь на его данных ревизионисты Г. Риттершпорн и А. Гетти в 1990-е годы, как счита-

¹ Conquest R. The great terror: Stalin's purge of the thirties. – N.Y.: Macmillan, 1968; The Stalin revolution: Fulfillment or betrayal of communism? / Ed. by Daniels R.V. – Boston: D.C. Heath, 1965; Laqueur W. Fate of the revolution: Interpretation of Soviet history from 1917 to the present. – N.Y.: Scribner, 1987.

² Getty A.J. Origins of Great Purges: The Soviet Communist Party reconsidered 1933–1938. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1985; Stalinist terror: New perspectives / Ed. by Getty A.J., Manning R. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994.

ется, поставили точку в спорах о численности репрессированных в СССР при Сталине, но скорее здесь можно говорить о многоточии.

Для исследований по советской истории в целом доступ к новым источникам явился мощным импульсом для развития, хотя и высказывались опасения по поводу негативных сторон архивной «золотой лихорадки» начала 1990-х годов, которая зачастую нацеливала на поиски «жареных фактов». Кроме того, существовала опасность, что обилие нового материала может закрепить позитивистский характер американской исторической русистики¹. Однако опасения эти в итоге не оправдались, или же оправдались лишь частично. «Эмпирическая революция» в исследованиях советской истории привела к тому, что американские русисты получили доступ к богатейшему материалу, включавшему в себя наряду со сводками ГПУ-НКВД, жалобами и доносами документы личного характера – мемуары, дневники, переписку.

В результате историография обогатилась такими серьезными монографиями, как «Повседневный сталинизм» и «Маски долой!» Ш. Фицпатрик (1999, 288; 2005, 593); «Спасибо товарищу Сталину!» Джеффри Брукса (2000, 329); «Свобода и террор в Донбассе» Хироаки Куромиа (1998, 260), и многими другими. Исследования 1930-х годов находились на своем пике после распада СССР и вполне согласовались с общим «освободительным» настроем того времени². Внимательному архивному изучению подверглись не только сталинский террор, но и советская повседневность, и культура – с особым вниманием к формированию идентичности, и национальная политика, и семейные отношения наряду с гендерным порядком (1992, 34; 1993, 56, 74; 1994, 84, 103, 111; 1996, 192, 194; 1997, 227, 238, 242). И все же борьба с тоталитарной парадигмой оставалась центральной для исследований советского периода в русле социальной истории.

Опираясь на концепцию социолога Джеймса Скотта об «оружии слабых», социальные историки обратились к изучению повседневного сопротивления рабочих и в особенности крестьян

¹ Viola L. The Cold War in American Soviet historiography...; von Hagen M. The archival Gold Rush and historical agendas in the post-Soviet era // Slavic review. – Chicago, 1993. – Vol. 52, N 1. – P. 96–100.

² Rittersporn G.T. New horizons: Conceptualizing the Soviet 1930s // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 307–318; Khlevniuk O. Stalinism and the Stalin period after the «Archival revolution» // Ibid. – P. 319–327. Многие из упоминавшихся в них работ и более поздние были опубликованы в серии «История сталинизма» издательства РОССПЭН (в основном в неудовлетворительном переводе).

яинства. Эта линия исследований получила большое развитие в 1990-е годы и продолжается до настоящего времени, хотя и с существенными коррективами (1994, 98; 1996, 197; 2002, 419; 2005, 626). Тесно связана с ней была в 1990-е годы женская история, одной из ведущих тем которой являлось изучение крестьянок, их повседневной жизни, правового положения в семье и обществе, культуры и мировоззрения, стратегий повседневного выживания и сопротивления как в дореволюционной России, так и в годы коллективизации (1992, 32; 1994, 96 и др.). Как вспоминает Ш. Фицпатрик, помимо «интеллектуальной привлекательности» концепции повседневного сопротивления, ее использование вело к тому, что исследования ревизионистов теперь нельзя было считать «просоветскими»¹.

Тем не менее жестокие сражения между ревизионистами и традиционалистами продолжались и в начале 2000-х годов. Как отметил Д. Роули, эти противоречия не могли быть разрешены простым привлечением эмпирического материала, поскольку конфликтующие точки зрения проистекали из разных метаисторических подходов². Принято считать, что лежавшие в их основе две противоборствующие исследовательские парадигмы – тоталитарная и модернизационная – определяли ландшафт американской исторической русистики в годы холодной войны. Конечно, это не совсем так – для изучения дореволюционной России тоталитарная парадигма имела опосредованное значение, да и в дебатах о советской истории участвовало не так много людей. Однако эти дискуссии дают представление об интеллектуальном климате того времени и позволяют в полной мере оценить деидеологизацию дисциплины, произошедшую после крушения коммунизма³.

«Драматическое исчезновение» СССР в 1991 г. было воспринято многими как подтверждение точки зрения тоталитарной школы, которая всегда считала гибель коммунизма неизбежной, поскольку построенное на основании коммунистической доктрины

¹ Fitzpatrick Sh. Revisionism in Soviet history // History and theory. – Middletown, 2007. – Vol. 46, N 4. – P. 86.

² Rowley D. Interpretations of the end of the Soviet Union: Three paradigms // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 397.

³ Как выясняется из воспоминаний главных фигур этих политических «боев за историю» Ш. Фицпатрик и Р. Пайпса, обе стороны воспринимали их крайне болезненно и заплатили за них высокую цену в психологическом отношении: Fitzpatrick Sh. Revisionism in retrospect: A personal view // Slavic review. – Urbana, 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 682–704; Pipes R. Vixi: A memoir of a non-belonger. – New Haven: Yale univ. press, 2003.

государство является утопией и нежизнеспособно. Утверждалось, что «великий крах» 1989–1991 гг. доказал невозможность реформирования коммунизма и опроверг представления сторонников парадигмы модернизации, полагавших, что Советский Союз медленно, но устойчиво прогрессировал по направлению к свободе и процветанию. Кроме того, в конце 1980-х годов и особенно после распада СССР ситуация в общественном мнении оказалась крайне неблагоприятной для ревизионистов. Приверженцы традиционной консервативной точки зрения на СССР как оплот тоталитаризма получили широкое признание, причем в первую очередь в России, где наблюдался неприятный для большинства серьезных американских историков-русистов, хотя и вполне объяснимый ажиотаж вокруг работ Пайпса, Лакёра, Улама, Бжезинского, Малиа и других сторонников тоталитарной теории (1994, 106, 112; 1995, 158; 1997, 230). Они пестрили словами «трагедия», «преступления», «иллюзия», описывая советский эксперимент как «исторический провал», более или менее предсказуемый, вызванный в первую очередь российской экономической, социальной и политической отсталостью. Так что коллапс СССР, казалось, вдохнул новую жизнь в либерально-консервативные интерпретации советского тоталитаризма¹.

Особую роль в дискуссиях начала 1990-х годов сыграла публикация крайне консервативных трудов Р. Пайпса о русской революции, которые были мгновенно переведены на русский язык². В них он фактически игнорировал все достижения американской историографии предыдущих тридцати лет. Эти работы вызвали резкое неприятие среди профессионалов, поскольку это был явный возврат к прошлому, «артефакт холодной войны». Однако же упрощенные трактовки Пайпса нашли живой отклик в общественном сознании и в России, и на Западе, а выпущенный в ответ сборник статей крупнейших западных социальных историков о русской революции, предназначенный для широкого чтения, остался незамеченным за пределами академического мира (1997, 208). В условиях поворота «вправо» и на Западе, и в России, где наблюдался «скачок от социалистических ценностей к ценностям неприкрашенного капитализма», нет ничего удивительного в том, что

¹ Shearer D. From divided consensus to creative disorder. Soviet history in Britain and North America // *Cahiers du monde russe*. – P., 1998. – Vol. 39, N 4. – P. 571.

² Pipes R. The Russian revolution. – N.Y.: Knopf, 1990; Idem. Russia under the Bolshevik regime. – N.Y.: Knopf, 1993.

Пайпса с почтением встречали в бывшем архиве ЦК КПСС, а в 1993 г. Нобелевский институт пригласил его для чтения лекций, затем опубликованных всемирно известным университетским издательством¹.

В то же время в научных кругах дискуссии вокруг консервативной трактовки русской революции и советской истории в целом привели к положительному результату, поскольку дали возможность пересмотреть не столько интерпретации, сколько сам подход к изучению исторического прошлого России. «Политика» с ее крайне упрощенными трактовками и претензиями на морализаторство вытеснялась на обочину дисциплины, хотя борьба с «холодной войной» в американской историографии Советского Союза» шла еще довольно долго².

В середине 1990-х годов ситуация в исследованиях советской истории в США значительно изменилась. К этому времени уже можно говорить о том, что в американской исторической русистике все прочнее утверждается «новая культурная история», опирающаяся на таких теоретиков, как Фуко, Хабермас, Деррида, Бурдье; завоевывают себе место постколониальные исследования. Сыграли свою роль и демографические факторы: в науку пришло новое поколение, свободное от предубеждений эпохи холодной войны с ее черно-белым мышлением и явно не стремящееся вовлекаться в сражения своих предшественников, действовавших под лозунгом «кто не с нами, тот против нас». После крушения коммунизма критики стали говорить о «заслуженной отставке» концепции тоталитаризма. С их точки зрения, тоталитарная модель «с ее вопиюще карикатурными представлениями о том, как функционирует власть», являлась «разрушительным оружием холодной войны», теперь же нужда в ней просто отпала³.

На смену классической социальной истории приходят постревизионистские исследования, получившие импульс для своего

¹ Shearer D. Op. cit.; Acton E. The revolution and its historians // Critical companion to the Russian revolution. – L., 1997. – P. 11–12.

² Лишь недавно шаги к примирению нашли свое отражение в сборнике «За пределами тоталитаризма», в котором реализовано стремление выйти за пределы устаревших моделей тоталитаризма и тех концепций идеологии и личности, которые были сформированы во времена холодной войны и вместе с XX в. должны отойти в прошлое (2009, 788).

³ Kotkin St. 1991 and the Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks // Journal of mod. history. – Chicago, 1998. – Vol. 70, N 3. – P. 425.

развития благодаря книге Стивена Коткина «Магнитка: Сталинизм как цивилизация» (1995, 148). В ней нашли практическое применение концепции М. Фуко о власти, которая локализуется не в центральном аппарате, а пронизывает всю систему социальных и межличностных отношений и дискурсивных практик. Новое понимание власти как «системы отношений» (а не «собственности» того или иного класса или института) позволило С. Коткину на примере образцового сталинского города Магнитогорска исследовать на микроуровне процесс создания социалистической цивилизации. Важными ее аспектами были не только формирование советского языка, идентичности советского человека, нового отношения к труду, но и специфическая, созданная «с нуля» городская среда, и повседневная жизнь города, и административные практики. Коткин «вернул» идеологию в историю сталинизма, определив ее как важный элемент в формировании советской субъективности. В своем анализе процесса создания «нового советского человека» он показал влияние языка и закреплявшихся в нем определенных нормативов человеческого поведения, в условиях социализма имевших яркую политическую окраску даже в повседневной жизни («говорить по-большевистски»). При этом он продемонстрировал, что люди прекрасно понимали расхождение между социалистической идеологией и повседневной реальностью.

Книга Коткина проложила дорогу исследованиям советской субъективности – наиболее новаторскому направлению в американской историографии (см.: 2003, 483; 2006, 652). В то же время в ней впервые со всей определенностью было привлечено внимание к эпохе модерности и ее идеологии, в основе которой лежит система ценностей Просвещения¹. Впоследствии Коткин подробно разработал концепцию «советской модерности»². Суть ее заключается в том, что, начиная с 1890-х годов, в России происходили про-

¹ Термин «модерность» в самом широком смысле описывает интеллектуальные, политические, социальные и экономические изменения, которые отличали мир Нового времени (современности) от времен Античности и Средневековья. Строго говоря, русский эквивалент термина «modernity» – «Новое и Новейшее время», однако, как справедливо заметили редакторы журнала «Ab imperio», конструкция эта весьма громоздкая, да и, кроме того, нагружена иными значениями, отсылая нас к хронологии всеобщей истории. Термин «модерность», введенный ими в научный оборот, представляется наиболее удобным (см.: Ab imperio. – Казань, 2002. – № 2. – С. 19).

² Kotkin St. Modern times: The Soviet Union and the interwar conjuncture // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 1. – P. 111–164.

цессы, имевшие общемировое значение: как и в других странах, в ней получали все более широкое распространение массовое производство, массовая культура, массовое потребление, возникала массовая политика. Эти общие тенденции чрезвычайно усилились в годы Первой мировой войны, а затем в России самодержавие и империя уступили место «диктатуре и квазифедеральному Союзу». В течение последующих двадцати лет модернность в СССР приобрела институциональные формы, которые имели сходства и различия как с либеральными проектами в США, Великобритании и Франции, так и с антилиберальными моделями в Германии, Италии и Японии. Характерной чертой межвоенного периода, наряду со всеобщей милитаризацией, являлось также развитие государственного социального обеспечения, и СССР 1930-х годов предстает в концепции Коткина как вариант социального государства (welfare state).

На первый взгляд, в обращении Коткина к категории модерности не было ничего из ряда вон выходящего. Западная историография широко пользовалась ею, да и в русистике уже получили известность работы Лоры Энгельстайн, обратившей внимание историков на теории Фуко и их применение к изучению русской модерности конца XIX – начала XX в.¹ А после того как американская русистика начала активно интегрироваться в научное сообщество и вливаться в общий поток мировой исторической науки, такое «заимствование» выглядело только естественным. Новым здесь было то, что концепция модерности, претендовавшая на статус исследовательской парадигмы, позволяла на равных включить Россию в семью европейских наций. Для историков дореволюционного периода это означало лишнее подкрепление уже существующей тенденции рассматривать Российскую империю в русле европейской истории, но в советологии выглядело вызывающе. В этой области исследований прочно укоренилось убеждение в уникальности и исключительности советского опыта, хотя в рамках теории модернизации сталинскую политику и были склонны трактовать как один из отклоняющихся вариантов «прогрессивного развития» (в упрощенной до абсурда версии такого подхода сталинская модернизация фактически выступает исторической необходимостью).

¹ Помимо ее книги «Ключи к счастью» (1992, 7) см.: Engelstein L. Combined underdevelopment: Discipline and the law in imperial and Soviet Russia // American historical review. – Wash., 1993. – Vol. 98, N 2. – P. 338–353.

Неудивительно, что концепция Коткина, которая быстро нашла своих последователей, вызвала неприятие, вылившееся даже на какое-то время в противостояние двух направлений в исследовании сталинского СССР¹. Одно из них, ставившее во главу угла концепцию модерности и опиравшееся на постмодернистские теории, разрабатывалось молодыми историками, так или иначе связанными с Колумбийским университетом². Другие – ученики Ш. Фицпатрик – группировались в Чикагском университете и практиковали социальную историю, в ее тесном переплетении с политикой, экономикой и повседневностью. В своих исследованиях они подчеркивали архаические черты советского общества, исходя из уникального характера «советского эксперимента»³. Тем не менее степень противостояния двух этих групп не стоит преувеличивать хотя бы потому, что далеко не все ученики Ш. Фицпатрик разделяют концепцию «неотрадиционализма» в применении к советской истории, точно так же, как не все сторонники концепции модерности отрицают уникальность СССР. Да и дебаты вокруг этой проблемы были несопоставимы по накалу страстей с культурными войнами между «традиционалистами» и «ревизионистами» и к тому же довольно скоро закончились. «Советская модерность» не стала парадигмой, но явилась отправной точкой для развития новых линий исследований, в которых произошел явный разрыв с интерпретациями советской истории времен холодной войны.

Выдвигая свою концепцию, Коткин подчеркивал, что он говорит не о модернизации, а именно о модерности, проводя таким образом четкую разделительную черту между своим подходом и теорией, господствовавшей в русистике 1970–1980-х годов. Слово «модернизация» тянуло за собой шлейф давно критикуемых и не-

¹ David-Fox M. Multiple modernities vs. neo-traditionalism: On recent debates in Russian and Soviet history // *Jr. für Geschichte Osteuropas*. – Wiesbaden, 2006. – Bd 54, H. 4. – S. 535–536.

² Наряду со статьей, переведенной на русский язык (Холквист П. «Осведомление – это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период*. – Самара, 2001. – С. 45–93), см. следующие работы в Приложении: 1999, 307; 2000, 352; 2002, 431; 2003, 485, 515.

³ В своем крайнем выражении эти подходы были сформулированы в виде концепции советского «неотрадиционализма», которая активно продвигалась главным образом двумя историками, Т. Мартином и М. Леноу (см.: 2001, 389; 2004, 555).

удовлетворительных с точки зрения исторических исследований вещей. В середине 1990-х годов для многих историков идея о том, что все государства движутся по пути прогресса к парламентской демократии, гражданскому обществу и рыночному капитализму, уже не выдерживала критики. На волне подъема постколониальных исследований особенно неприемлемыми выглядели присущие теории модернизации европоцентризм и нормативный подход, подразумевавший наличие некоего «золотого стандарта», к которому стремятся в своем историческом развитии все страны. Выдвижение на первый план категории модерности не только позволяло вытеснить теорию модернизации, но и сигнализировало о наступлении новой культурно-исторической эпохи постмодерна.

После распада коммунистической системы, с началом нового этапа глобализации можно было уже говорить о том, что эпоха модерности, традиционно связываемая с ценностями Просвещения – верой в разум, прогресс и освобождение человечества, – закончилась. «Подъем консюмеризма и технологий, объединив Земной шар, одновременно сделал его разнообразие более видимым и привлек наше внимание к многообразию вместо единства, к образу, а не сущности», – писала Л. Энгельстайн в 1998 г., отмечая, что Карл Маркс нашел бы здесь лишнее подтверждение первичности материальных факторов. В то же время, продолжает она, дать удовлетворительное объяснение одновременному коллапсу государственных систем и основ мышления невозможно¹. Тем не менее факт остается фактом: в 1990-е годы интеллектуальный климат в мире изменился коренным образом, и «открытие горизонтов» наряду с деидеологизацией были его важными составляющими.

Изменившиеся условия диктовали пересмотр не только научных парадигм, но и научной политики. В интеллектуальном контексте 1990-х годов региональные исследования, основанные, как считалось, на американской исключительности, выглядели анахронизмом. Совет по социальным наукам (The Social Science Research Council) и Американский совет ученых обществ (American Council of Learned Societies) – организации, участвовавшие в свое время в создании региональных исследований, возглавили движение за их ликвидацию (2009, 799, с. 334). Началась серьезная реорганизация научных программ и системы грантовой поддержки, главную роль в которой играл переход от региона как центральной категории, вокруг которой строилось финансирование науки и об-

¹ Engelstein L. Paradigms, pathologies, and other clues... P. 487–488.

разования, к тематическому принципу. На первый план выдвигаются крупные темы: например, демократия и развитие, или же, если говорить о постсоветском пространстве, – этничность и национализм. Такая ориентация способствовала развитию в 1990-е годы исторических и антропологических исследований, посвященных России как многонациональной империи и советской национальной политике. Особенно охотно стали финансировать изучение окраин империи, в первую очередь Средней Азии.

Во второй половине 1990-х годов изменяется ситуация для зарубежных исследователей и в постсоветской России, где жизнь постепенно начинает входить в колею, хотя серьезные финансовые трудности по-прежнему остаются. Заканчивается архивная «золотая лихорадка», появляются первые признаки ограничений доступа к архивам (некоторые из них так и остались закрытыми). Сотрудничество с российскими историками продолжает развиваться, но желанная интеграция двух историографий выглядит делом далекого будущего, если смотреть на это оптимистически. В самом же российском обществе движение за «возвращение прошлого» постепенно трансформируется в ностальгию: сначала интеллектуальная элита начинает тосковать об утраченной дореволюционной России, а затем в широких слоях населения возникает тоска по недавнему советскому прошлому. В каком-то смысле начинается воображаемое возвращение в прошлое, а потом и к прошлому.

Перед российской исторической наукой 1990-х годов стояли задачи не только отказаться от догматического марксизма-ленинизма, но и исследовать считавшиеся прежде «запретными» или недостаточно «идеологически выдержанными» темы и, кроме того, дать новую трактовку старых проблем, сказать «правду», которая столько лет замалчивалась и искажалась. В поисках «полезного прошлого» наблюдалось вполне понятное стремление вернуть в науку такие авторитеты, как В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, и других историков, не говоря уже о наследии мыслителей русской религиозной философии. Учитывая особенности исторического исследования, которое требует времени и добросовестного погружения в предмет, нет ничего удивительного в том, что методологически историография отечественной истории сама вернулась в дореволюционное прошлое, озаботившись поисками объективной истины в то время, когда мировая наука, переживавшая культурный и лингвистический поворот, обратилась к разным формам релятивизма.

Расширение пропасти между западной и российской историографией в начале 2000-х годов с горечью констатировал Дэвид Рэнзел. Если в годы холодной войны, несмотря на идеологические разногласия, две историографии имели много точек соприкосновения, то через десять лет после падения «железного занавеса» стало понятно, что их пути разошлись¹. Лишь небольшая часть более молодых и мобильных российских историков стремится усвоить современные подходы зарубежной исторической науки (насколько это удастся – вопрос другой). Этот новый барьер, возникший после окончания идеологического противостояния двух держав, пока не кажется преодолимым.

* * *

1990-е годы воспринимались американскими русистами как целостная революционная эпоха, которая длилась с конца 1980-х годов и закончилась уже в новом тысячелетии. «Замечательным десятилетием» вслед за П.В. Анненковым и сэром Исайей Берлином (говорившими, впрочем, о 1840-х годах) назвали ее редакторы организованного в 2000 г. журнала «Критика», который поставил своей задачей объединить историков, занимающихся исследованием обширного региона Евразии². Проведенный в журнале анализ состояния дисциплины за десять лет после распада СССР отразил ее переходный характер: в ней присутствуют и экономическая история, которая к тому времени утрачивала свое значение в русистике, и совершенно новые исследования православия. Ведущее место в подборке материалов заняли 1930-е годы, что позволило даже говорить о формировании отдельной дисциплины «1930's studies» (немного преждевременно, поскольку вскоре интерес историков сместился к послевоенной эпохе). Уделив внимание новым тенденциям в военной истории, получившей импульс для своего развития благодаря открытию архивов, а также демографии и социальной истории науки, редакторы упустили из виду бурно развивавшиеся гендерные исследования. Статью же Л. Энгельстайн «Повсюду культура» («Culture, culture everywhere») выделили в отдельную рубрику. Возможно, этим они давали по-

¹ Ransel D. A single research community? Not yet // *Slavic review*. – Urbana, 2001. – Vol. 60, N 3. – P. 551–552.

² A remarkable decade: Ten years after the fall: A state of the field // *Kritika*. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 3. – P. 229–362.

нять, что роль культуры в изучении истории России является важнейшей¹. Как развивались исследования в этой области, какой путь они прошли и чего достигли к сегодняшнему дню, какие темы и «белые пятна» истории России они осветили, мы увидим в следующей главе.

¹ Справедливости ради стоит отметить, что самый большой «урожай» в виде монографий, готовившихся в период «замечательного десятилетия», принесли 2001–2003 годы (см. Приложение). Возможно, чуть позднее редакторы отказались бы от обзора некоторых тем в пользу других.

Глава 2

ОТ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ К КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ

Интерес к русской культуре в США, как и в других странах, всегда был стабильно высоким. Собственно, именно культура зачастую давала первоначальный толчок тем, кто решался избрать Россию предметом своей специализации и профессионального интереса. Да и сами создатели *Russian studies* полагали, что без глубокого знания русской культуры невозможно понять ни Россию, ни современный им Советский Союз. И хотя изучение истории культуры дореволюционной и советской России в США долгое время находилось в тени политической и социальной истории, оно всегда имело свою нишу и считалось достаточно важной отраслью русистики, которой занимались как историки, так и филологи (слависты). Признаваемое всеми богатство русской культуры подчеркивало уникальность страны и в какой-то степени способствовало ее «экзотизации». Причем культура понималась в послевоенной американской русистике в соответствии с традициями XIX в., когда не просто проводилась разграничительная черта между культурами элиты и крестьянства, но и подчеркивалась разделявшая их глубокая пропасть.

Поскольку считалось, что в России не было среднего класса, отрицалось и существование в ней массовой коммерческой культуры. Более того, поскольку к «культуре» относили только высокохудожественные произведения классиков, такие жанры, как массовая литература, оперетта и водевиль, а затем и кинематограф (если речь не шла о шедеврах) чаще всего просто сбрасывались со счетов. Этим видам культурной продукции попросту не было места между двумя противоположностями – культурами европеизированной элиты и традиционного крестьянства. Такое «биполярное»

понимание русской культуры вполне вписывалось в общую концепцию американской историографии времен холодной войны, занимавшейся объяснением причин, почему Россия не стала «западной» страной. Именно с этих позиций была написана знаменитая книга Дж. Биллингтона «Икона и топор», посвященная, несмотря на свое название, главным образом культуре дворянства и интеллигенции¹.

Изменения, происходившие в гуманитарных и социальных науках в конце 1980-х годов, которые обычно называют «культурным поворотом», оказали глубокое влияние на изучение русской культуры в американской русистике и на дисциплину в целом. Постепенно в ней начинает утверждаться «культурная парадигма», что для исторических исследований означало отход от социального и обращение к культуре не только как к предмету изучения, но и аналитической категории.

О том, что такое культурный поворот, написано уже много работ, в том числе и главы в учебниках. Потому ограничимся лишь краткой характеристикой этого явления в мировой науке, которое ассоциируется с возникновением новых направлений – прежде всего гендерных и постколониальных исследований – и реконfigurацией старых.

Видное место на интеллектуальном небосклоне начинают занимать междисциплинарные культурные исследования (*cultural studies*, которые у нас также называют культуральными и культурологическими – последнее явно неверно, так как культурология совсем другая наука). Устанавливается диалог истории и других дисциплин с антропологией. В методологическом отношении происходят серьезные изменения: в рамках так называемого «лингвистического поворота» и под влиянием М. Фуко на первый план выдвинулся дискурсивный анализ. Язык как основа, «конструирующая и формирующая» реальность, все дальше оттесняет на задний план опыт, и в исторических исследованиях «объяснение» уступает место «пониманию».

Важным следствием «лингвистического поворота» стало то, что история довольно быстро усвоила уроки постмодернистской критики, утверждавшей, что письменные источники вовсе не «говорят сами за себя», а утаивают больше, чем открывают иссле-

¹ Billington J. The icon and the axe: An interpretive history of Russian culture. – N.Y.: Knopf, 1966.

дователю¹. «Доверчивая цитация» прошлых времен постепенно отступает (хотя и не исчезает окончательно из исторических исследований – уж слишком сильна инерция), а на смену ревизионизму социальной истории приходит деконструкция понятий и идей. В целом же главным содержанием «эпистемологической революции» того времени было «дистанцирование от основополагающего материализма», как писал Дж. Эли, и – уточним – марксизма².

Американская русистика в какой-то степени откликнулась на новые веяния в мировой историографии. В социальной истории еще в начале 1980-х годов началось постепенное смещение фокуса исследований в направлении культурно-исторических тем и интерпретаций. Усилившееся внимание к языку и дискурсу, в частности представление о взаимовлиянии языка и сознания, нашло свое выражение в монографии Питера Кенеза о большевистской пропагандистской машине. В ней показывалось, как люди путем многократного повторения лозунгов постепенно приучались вести себя в соответствии с требованиями власти³. Важнейшее значение для последующих исследований русской культуры имела вышедшая в 1985 г. книга Джеффри Брукса «Когда Россия училась читать: Грамотность и народная литература» (2-е изд.: 2003, 470), в которой впервые привлекается внимание к возникновению в России массовой коммерческой культуры. Невозможно переоценить вклад Ричарда Стайтса, признанного специалиста по истории русской и советской культуры, открывшего новые темы и новые источники⁴.

Одной из наиболее динамично развивавшихся областей американской историографии России в 1980-е годы были крестьянские исследования. В них присутствовало уже не традиционное, а антропологическое понимание культуры как целостной системы, выражающей специфику жизненного уклада и поведения, способ мировосприятия, систему религиозных верований и ценностные

¹ Исключительно полезная книга о методах анализа источников, в том числе и по русской истории: *Reading primary sources: The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history* / Ed. by Dobson M., Ziemann B. – L.; N.Y.: Routledge, 2009.

² Eley G. *A crooked line: from cultural history to the history of society*. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 2005. – P. 124.

³ Kenez P. *Birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilization, 1917–1922*. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1989.

⁴ Stites R. *Revolutionary dreams: Utopian vision and experimental life in the Russian Revolution*. – N.Y.: Oxford univ. press, 1989; его работы, изданные после 1991 г., см. в Приложении (1992, 38; 1995, 140, 150; 2005, 627).

ориентации. Изучение российского крестьянства как особого мира с развитой системой ценностей, мифологии и ритуалов¹ вскоре было дополнено исследованиями рабочего класса, причем не только с точки зрения путей и способов обретения новой рабочей идентичности бывшими деревенскими жителями².

Большую роль в повороте социальной истории к теоретическим новациям «культурной парадигмы» сыграло утверждение в исторических исследованиях категории идентичности – социальной, этнической, политической, гендерной, что постепенно вытеснило интерес к категории класса и социальному конфликту. Произошли и другие важные изменения. «Классическая» социальная история оперировала в рамках реального экономического и социального мира, социально-культурная история конца 1980-х – начала 1990-х годов обратилась к образам и репрезентациям.

В начале 1990-х годов выходит несколько книг, свидетельствующих о том, что «культурный поворот» начался в русистике довольно давно – ведь для написания и издания исторических трудов требуется не один год. Среди них «Моральные сообщества: Культура классовых отношений в полиграфической индустрии России, 1867–1907» Марка Стайнберга, где много внимания уделяется культурному измерению классового конфликта, который рассматривается с точки зрения ценностей и норм, воплощенных в ритуалах и практиках повседневной жизни (1992, 37); «Ключи счастья» Лоры Энгельстайн, в которой проблема формирования модерности в России начала XX в. рассматривается на примере дебатов о вопросах пола с точки зрения медицины и юриспруденции (1992, 7); «Хулиганство: Преступность, культура и власть в Петербурге, 1900–1914» Джоан Нойбергер, обратившейся к изучению культуры городских низов в годы острого кризиса, охватившего в начале XX в. все европейские страны (1993, 68); «Крестьянские иконы» Кэти Фрайерсон, предложившей строго выверенный компендиум образов крестьянства, которые создавались образован-

¹ Hoch S. Serfdom and social control in Russia: Petrovskoe, a village in Tambov. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1986; The world of the Russian peasant: Post-emancipation culture and society / Ed. by B. Eklof, Frank S. – Boston: Unwin Hyman, 1990 и др.

² См., в частности, исследование автобиографии: Zelnik R. A radical worker in Tsarist Russia: The autobiography of Semën Ivanovich Kanatchikov / Transl. and ed. by Zelnik R.E. – Stanford: Stanford univ. press, 1986. См.: Приложение (1995, 172; 1999, 323).

ным обществом в 1860–1880-е годы и задавали те рамки, в которых осмыслялся аграрный вопрос (1993, 53).

По материалам докладов, сделанных на ежегодных собраниях Американской ассоциации содействия славянским исследованиям в 1990–1991 гг., был выпущен сборник «Непрерывно изменяющиеся культуры: Ценности, практики и сопротивление низших классов в России второй половины XIX – начала XX в.» (1994, 93). По отбору тем и исследовательским подходам он достаточно симптоматичен для своего времени. Половина из десяти статей посвящена крестьянству и влиянию на него городской культуры, остальные – городу. Две статьи российских авторов, каждая в своем роде, резко отличаются от окружающих их американских текстов. Статья немецкого историка Х. Яна, напротив, вполне вписывается в общий контекст и войдет затем в его монографию о патриотической культуре в России в годы Первой мировой войны, опубликованную вскоре американским университетским издательством¹.

Классическая социальная история еще довлеет над многими авторами, и потому речь идет о культуре «низших классов» в ее взаимоотношениях с материальными условиями, социумом и властью, понимаемой как господство «элиты» над «подчиненными». Немалое место занимает в сборнике социальный протест: непосредственно этой теме посвящена статья Барбары Энгель о гендерном «языке крестьянского сопротивления» в период 1870–1907 гг., но и другие авторы склонны рассматривать культурные явления и практики как «арены конфликта».

В статье Стивена Франка на материалах дебатов конца XIX – начала XX в. о «кризисе и дегенерации отсталой деревни» рассмотрено противостояние культуры образованной части общества и крестьянства. Казалось бы, перед нами новое слово в методологии, поскольку противостояние это анализируется в рамках представлений постколониальных, а точнее, субалтерновых, исследований о «колониальном отношении» высших классов к низшим, которые являются объектом просвещенческой деятельности элиты.

В качестве отправной точки в этой концепции берется риторическая конструкция – «цивилизаторская функция», и ставится знак равенства между колониализмом внешним и внутренним, между колониальными практиками империй по отношению к «дикарям» – и политикой российской элиты по отношению к крестья-

¹ Jahn H. Patriotic culture in Russia during World War I. – Ithaca: Cornell univ. press, 1995.

яньству. Предполагается, что новейшие подходы откроют широкие горизонты перед исследователями истории России. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что перед нами лишь новое теоретическое оформление старых представлений о «культурной пропасти» между крестьянством и модернизировавшейся элитой (причем абстрактная элита, включающая в себя и писателей-народников, и общественных и государственных деятелей, и духовенство, и просто публицистов средней руки, в сильной степени демонизирована). Генетическую связь с предшествующей историографией, в которой господствующее место занимала история реформ, обнаруживает и сам обобщающий термин «реформаторы», который автор использует для обозначения всех, писавших о моральном упадке и дремучести тогдашней деревни. Через какое-то время в историографии, написанной в русле того же жесткого варианта постколониальных исследований, их заменят столь же безличные «эксперты» (см.: 2005, 599). Мысль о колониальном отношении российского образованного общества к крестьянству получит развитие в других работах зарубежных историков, а идею о «внутренней колонизации» совсем недавно подхватили и их отечественные коллеги.

Сборник, задуманный как некая целостность, явно устремлен в будущее, что совершенно ясно по прошествии двадцати лет после его публикации. Помимо того что большинство статей явились основой для будущих монографий, высказанные в них идеи нашли воплощение в трудах и других историков-русистов. В центре внимания Марка Стайнберга – тема уважения к личности, которая занимает важное место в общественном сознании начала XX в. Его исследование текстов рабочих-поэтов и писателей-самоучек сконцентрировано на анализе фигурирующей в них универалистской концепции личности. Пока что автора интересует сложная взаимосвязь между осознанием рабочим себя как индивида и возникновением классовой идентичности. Позднее и сам Стайнберг, и другие американские русисты подвергнут глубокому анализу концепцию личности и ее манифестации в разнообразных текстах (2002, 436, 459; 2006, 638, 652). Изучение таких проблем, как формирование «нового советского человека», советская субъективность, наконец, особенности частной жизни при социализме, станет в итоге важной частью проекта «новой культурной истории».

Статья Кристин Воробек о ритуалах русских и украинских крестьян, связанных со смертью, направлена на ревизию известного постулата русской дореволюционной, а затем и американской ис-

ториографии о крестьянском «двоеверии», что считалось исключительно российским явлением. По мнению Воробек, следует говорить скорее о дополняющем характере ритуалов, считающихся «языческими», по отношению к христианским¹. Пока что прямо не заявляется о необходимости отказаться от бинарных оппозиций (в данном случае это «христианство / язычество»), но уже заметно стремление к стиранию границ между понятиями, которые обычно воспринимались как противоположности.

Идея о «стирании границ», как подчеркивается составителями, присутствует во многих материалах сборника. В статье Дж. Нойбергер о хулиганах и футуристах, где поведение представителей городских низов и столичной богемы трактуется как схожие практики, направленные против буржуазной морали, ставится под вопрос традиционное определение «высокой культуры». С возникновением массовой культуры в пореформенной России (которое фиксируется в сборнике, так же как и наличие среднего класса) стираются границы между деревенской и городской культурами, между высокими и низкими жанрами, наконец, как показано в статье Д. Броуэра о бульварной прессе, между создателями и потребителями культуры. Все это, как отмечают редакторы-составители сборника, заставляет поставить под вопрос основополагающую для американской историографии России дихотомию, закрепившую противоположность между неподвижной «традицией» и динамичными «изменениями» (1994, 93, с. 7). Заставляет это и переосмыслить определение народной / популярной / массовой культуры (popular culture), которая, собственно, и явилась основной темой рассматриваемого сборника.

Не так просто перевести этот термин на язык нашей науки, где долгое время царило учение Ленина о двух культурах – прогрессивной демократической (а затем и пролетарской) и реакционной буржуазной. Кроме того, заведомую путаницу вносит семантическая двойственность слова popular, которое можно перевести на русский язык как «народный» и как «популярный» (относительно недавно добавился еще один вариант – «поп-культура»). Народная культура обычно ассоциируется в историографии с традиционным крестьянским обществом, а возникающую в ходе урбанизации городскую культуру принято квалифицировать как мас-

¹Впоследствии концепт «двоеверия» был исчерпывающе исследован британской исследовательницей Стеллой Рок: Rock S. Popular religion in Russia: 'Double belief' and the making of an academic myth. – L.; N.Y.: Routledge, 2007.

совую, в сильной степени коммерциализованную. Она и стала главным предметом изучения культурных исследований, конституировавшихся на Западе в 1960-е годы, и выделившихся из них вскоре *popular culture studies*.

В сущности, речь в этих исследованиях шла прежде всего о культуре низов, в противоположность «высокой» культуре ученых элит, причем вопросы эстетики заняли подчиненное положение по отношению к социальным категориям. Однако постепенно резкое противопоставление теряет свое значение, поскольку все больше внимания начинают уделять «средним людям», «простым обывателям», которые, собственно, и делают погоду в обществе. Коммерциализация культуры, ее производство и потребление выступают в западных исследованиях на первый план¹. Понимая относительность эстетических ценностей, зависящих от эпохи, общественного класса, наконец, моды, исследователи массовой культуры начали с ниспровержения того, что в истории литературы и искусства считалось «каноном», и признали право на существование за так называемыми «низкими жанрами». Банальность, пошлость, вульгарность, столь презируемые прежде, обретают свое место в культурных исследованиях.

Для американской русистики, где в годы холодной войны преобладало понимание культуры как продукта элитарного, изучение массовой культуры стало началом прорыва в новую область исследований. В историографии, посвященной дореволюционному периоду, большое значение приобретает изучение досуга и развлечений. Наличие сферы досуга послужило доказательством существования в России среднего класса (что долгое время не желали признавать историки, занимавшиеся «высокой» политикой). В своей книге о развлечениях, бытовавших в России начала XX в. (2003, 494), Луиза Макрейнольдс представила читателю интереснейший материал о театрах, в том числе народных, о немом кинематографе, спортивной жизни, о таких местах проведения «культурного досуга», как рестораны и кабаре, о процессе коммерциализации культуры, которому так сопротивлялась интеллигенция, наконец, о том, как происходила трансформация идентичности горожан и утверждались ценности среднего класса. По мнению автора, формы и способы развлечений, которые существенно изменились в индустри-

¹ См.: McReynolds L. *Russia's popular culture in history and theory // A companion to Russian history* / Ed. by Gleason A. – Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. – P. 295–297.

альную эпоху, гораздо больше говорят о среднем классе, нежели анализ политики и экономических структур. Коммерциализация культуры, как показано в книге, оказывала значительное влияние на социальные отношения, так что фактически перед нами история культуры, нацеленная на изучение социума.

Первостепенное значение имеет категория общества и для Ричарда Стайтса, представившего в своей монографии «Крепостничество, общество и искусство в императорской России: Удовольствие и власть» (2005, 627) живую, полную интересных подробностей картину культурной жизни дореформенной эпохи. В центре его внимания – изобразительное искусство, музыка и театр – сферы, которые обычно находятся на периферии интересов историков, тем более социальных. Рассматриваются они в социальном контексте, под которым понимается не просто описание жизни и деятельности художников, музыкантов, актеров и их окружения, но и история соответствующих институтов, властные отношения, юридические и этические нормы и запреты, система покровительства. Это позволяет затронуть важные для социальной истории проблемы: возникновение профессионализма в искусстве, взаимодействие частной и публичной сфер и проникновение национальной идеи в искусство. Стайтс выдвигает в своей книге идею о том, что между частной (*private*) и публичной (*public*) сферами находилась третья, непосредственно связанная с общением (*social*). В ней и сосредоточивалась культурная жизнь в дореформенное время (домашние театры, музыкальные салоны, балы, вечера и прочие события, в которых принимали участие исключительно по приглашению). Однако самое большое значение Стайтс придает в своей книге категориям класса и социального статуса, и в первую очередь крепостничеству, что нашло свое отражение в заглавии.

Характерно, что Стайтс предпочитает говорить о культурной жизни, а не культуре, и потому в широкое понятие социального контекста у него входят и такие сюжеты, как, например, возникновение торговли музыкальными инструментами и нотами, коллекционирование русского искусства или же «закулисная политика» в буквальном смысле этого слова. Неслучайно автор благодарит нескольких человек за предоставленную ему возможность побывать за кулисами Малого и Александринского театров – он хотел увидеть своими глазами то, о чем пишет. В своем исследовании он во многом опирается на наследие Ю.М. Лотмана и сам упоминает о том, что разделяет интерес Московско-Тартуской школы к материальным предметам, одежде, танцевальным па и

даже к еде, что дает возможность реконструировать «семиосферу» эпохи (2005, 627, с. 9).

Еще в своей обзорной работе о культуре России XX в., написанной в начале 1990-х годов (1992, 38), Стайтс продемонстрировал, насколько плодотворно для историков использование источников, которыми обычно пользуются искусствоведы и литературоведы, и показал пути и способы их «прочитывания». Первостепенное внимание он уделил социальным практикам «производства и потребления» культуры, не умаляя, однако же, значения стереотипов, образов, репрезентаций и саморепрезентаций. В изображении Стайтса народная культура советского общества предстает как современный (modern) городской феномен и, соответственно, значительно отличается от традиционной деревенской. В то же время это не просто коммерческая массовая культура, а скорее городской фольклор, и его потребители участвуют в его создании не в меньшей степени, чем манипуляторы СМИ (1992, 38, с. 1).

Представляя народную / массовую культуру советской эпохи как продукт взаимодействия государства и общества и одновременно как живой организм (а вовсе не бледное подобие западной культуры), Стайтс не оставляет места для тоталитарной концепции, согласно которой государство использовало массовую культуру для манипуляций пассивным населением. В то же время народная городская культура в СССР не являлась в чистом виде массовой коммерческой, которую, как считается, вырабатывают различные институты «индустрии развлечений».

В Советском Союзе индустрия развлечений была полностью зависима от государства и имела своей целью не извлечение прибыли, а воспитание граждан в соответствующем духе. Конечно, советское общество никак нельзя было назвать свободным, однако Стайтс показывает, что в рамках заданных социальных и идеологических структур шел, как говорят антропологи, «процесс переговоров» между создателями и потребителями культурного продукта. Далеко не всегда люди видели в произведениях литературы и кино те «идеологически верные» значения, которые вкладывались в них их создателями; далеко не всегда продукция массовой культуры – фильмы, пьесы, книги – принимались публикой. Причем описываемые Стайтсом процессы приятия и отторжения отнюдь не вели к политическому протесту, но свидетельствовали об определенной автономии и индивида, и общества в целом. Характерно, что, будучи социальным историком, Стайтс не слишком привержен концептам «господства» и «подчинения», которыми

увлекались культурные исследования на Западе в 1990-е годы. Его интерес заключается в том, чтобы представить читателю неизвестные стороны жизни Советского Союза, и после выхода его книги стало абсолютно ясно, что историю СССР невозможно понять без истории культуры¹.

Линию исследований, начатую Стайтсом, продолжили другие историки. Предложенный им угол зрения на городскую народную культуру как область взаимодействия государства и общества мы встретим в двух интересных монографиях Роберта Эдельмана. Первая из них, «Серьезная забава: История зрелищного спорта в СССР» (1993, 50), не так давно переведена на русский язык. В центре внимания – футбол, хоккей и мужской баскетбол. Автор много внимания уделил в ней вопросам философии спорта и методам его изучения и сосредоточился прежде всего на болельщиках как «потребителях» этого вида народной / массовой культуры. Вторая посвящена истории футбольной команды «Спартак», хотя также затрагивает и проблемы восприятия. Исследуя «этот маленький кусочек истории», Р. Эдельман стремится понять, «что означало жить в СССР и быть советским человеком» (2009, 797, с. 306).

Тот факт, что социально-культурная история сохраняет свой потенциал до сегодняшнего дня, подтверждается многими публикациями (2010, 906; 2011, 941, 945, 977; 2012, 1010 и др.). Совсем недавно вышла интереснейшая книга Л. Сигельбаума «Машины для товарищей: Жизнь советского автомобиля», исследовавшая как историю советского автомобилестроения, так и культурно-символическое значение и бытование этого символа технического прогресса XX в. в СССР (2008, 778).

Разумеется, изучением советской культуры занимались в США не только социальные историки, но и специалисты в области культурных исследований, и литературоведы. После крушения коммунизма они существенно пересмотрели свой угол зрения: с изучения культуры интеллигенции и диссидентов или же, наоборот, фольклора, многие переключились на изучение литературы «идеологически выдержанной». Конечно, к тому времени уже существовали такие важные исследования, как книги Веры Данэм об утверждении в сталинском СССР ценностей среднего класса и

¹ См. рецензию на эту книгу: Edelman R. The icon and the sax: Stites in bright lights // *Slavic review*. – Chicago, 1993. – Vol. 52, N 3. – P. 568–578. Аллюзии на книгу Дж. Биллингтона очевидны (см. сноску на с. 44).

Катерины Кларк о социалистическом реализме¹. Но только теперь, когда соцреализм превратился из унылого настоящего в увлекательное прошлое, эта тема становится по-настоящему притягательной (1997, 222; 2010, 900). Русская литература утратила в глазах ее зарубежных исследователей оппозиционную функцию, так же как и функцию «властительницы душ», что позволило, с одной стороны, подойти к ее анализу более профессионально, с другой – развивать понимание ее связи с социальностью в русле «нового историзма» – течения в литературоведении, возникшего в 1980-е годы (см.: 1994, 131; 1995, 135, 156, 175; 1997, 203, 215, 229, 231; 1998, 265, 272; 1999, 313, 381 и др.)².

В русистике укрепляется идея о том, что идеология и литература, не будучи прямым отражением реалий материального мира, воздействуют, однако же, на их восприятие, что, в свою очередь, оказывает влияние на происходящее (1997, 227, с. 19). В русле этих представлений на протяжении 1990-х годов происходит «конвергенция» литературоведения и истории, и уже в начале 2000-х годов библиографам становится трудно различить, к какой области исследований формально отнести ту или иную монографию. Две дисциплины сливаются в широком потоке работ под одним брендом «культурной истории». Вливается в этот поток и антропология.

«Культурную историю» сахалинских нивхов написал антрополог Брюс Грант, соединивший этнографическое исследование с глубоким изучением архивов и историографии (1995, 145). Проведя полгода на Сахалине в 1990 г., он собрал большой полевой материал и поставил себе задачей понять, как происходило конструирование новой советской идентичности нивхов под влиянием политики государства. Б. Грант исходил из того, что для советского мировоззрения было характерно представление о культуре как о чем-то, что «производится, изобретается, строится и перестраивается» и в то же время имеет первостепенное значение для создания нового, советского образа жизни (1995, 145, с. XI). Прослеживая волны «советизации» нивхов при Сталине, Хрущёве, Брежневе и Горбачёве, он исследовал парадоксы становления культурной иден-

¹ Dunham V.S. In Stalin's time: middleclass values in Soviet fiction. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1976; Clark K. The Soviet novel: history as ritual. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1981.

² См. монографию о «новом историзме»: Анисимова А.Э. «Новый историзм»: Наукоевческий анализ. – М.: ИНИОН РАН, 2010.

тичности, которая «создается и воссоздается, реконструируется и ликвидируется».

Политика советского государства еще имеет первостепенное значение для американских историков-русистов в 1990-е годы: большим авторитетом пользуются исследования Ш. Фицпатрик о культурной революции (1992, 8), исследуется воздействие государства на искусство, кино, театр и, конечно, на архитектуру (1992, 45; 1993, 46, 72; 1994, 100, 105; 1998, 277; 2000, 345). Серьезными основаниями для такого подхода являлись установки самих большевиков, считавших создание новой революционной культуры и нового советского человека частью своей исторической миссии. В то же время появляются работы по истории культуры совсем иного плана, в частности, очень влиятельная книга Катерины Кларк о Петербурге, который она назвала «горнилом культурной революции» (1995, 139). В противовес историографии времен холодной войны, основывавшейся на противопоставлении репрессивного государства и оппозиционной интеллигенции, Кларк выдвигает идею о существовании «революционной экосистемы» — единого воображаемого пространства, в котором соединенными усилиями авангардистов и большевиков в 1920-е годы строилась новая культура. Это одна из первых крупных работ, продемонстрировавших, что в американской русистике происходит постепенное расширение определения как культуры, так и политики (точнее, «политического»).

Под влиянием идей Фуко, которые становятся очень популярными в американских университетах в 1990-е годы, утверждается понимание, что взаимоотношения власти и культуры не сводятся к действиям государственных институтов и осуществляются также на самом низовом уровне повседневной жизни. В исследованиях советской истории усиливается внимание к языку, и прежде всего к концепции дискурса. Большую роль здесь сыграла уже упоминавшаяся в первой главе книга С. Коткина «Магнитка» (1995, 148) о возникновении специфической цивилизации сталинизма. Становление нового «советского» языка, выступающего не только как средство коммуникации, но и инструмент для утверждения статуса, становится темой отдельных исследований (1998, 274; 2003, 481). Интерес к репрезентациям и визуальным средствам артикуляции власти реализовался в таких интересных работах, как «Большевистские праздники» Джеймса фон Гелдерна (1993, 80) и «Иконография власти: Советский политический плакат при Ленине и Сталине» Виктории Боннелл (1997, 205). Карен Петроне вводит в свое

исследование сталинских парадов и юбилейных торжеств гендерное измерение (2000, 347). Общая склонность режима большевиков к театрализации становится важной темой, причем в центре внимания американских русистов оказываются не только массовые праздники или история театра, но и, например, агитационные суды, получившие распространение в Советской России в годы Гражданской войны (2005, 635).

К началу 2000-х годов «новая культурная история» наряду с социально-культурной утверждается в американской историографии, посвященной советскому периоду, соседствуя с более традиционным направлением истории культуры.

Чтобы в полной мере понять, что же она собой представляет, стоит подробно рассмотреть монографию Фредерика Корни, посвященную когда-то самой главной и дискуссионной теме советской истории, которая к концу 1990-х годов отошла на задний план, – Октябрьской революции (2004, 533). В сущности, книгу можно рассматривать как своего рода источник по истории науки 1990-х – начала 2000-х годов, когда она писалась. Ее характерной особенностью является опора на труды американских специалистов по истории Западной Европы, прежде всего Французской революции. Наряду с классической работой Линн Хант первостепенное значение для автора имела книга К. Бейкера «Изобретение Французской революции»¹. И, конечно же, нельзя не учитывать влияние известного исследователя Французской революции Франсуа Фюре, который в свое время объявил о том, что революция закончилась и следует успокоиться и прекратить изучать ее «изнутри»². Имелось в виду, что историки находились в «ловушке» революционного дискурса, принимая его за чистую монету и исследуя революцию в рамках понятийных структур, выработанных ее современниками, что неизбежно вовлекало их в тогдашнюю политическую борьбу. Взяв определенную дистанцию и признав, что оценки современников не являются объективной реальностью, историк получает возможность поставить иные вопросы. В нашем случае признание мифологической природы Октября позволяет

¹ Hunt L. Politics, culture, and class in the French Revolution. – Berkeley: Univ. of California press, 1984; Baker K.M. Inventing the French Revolution: Essays on French political culture in the eighteenth century. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1990.

² Furet F. Interpreting the French revolution. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1981.

Ф. Корни выйти за пределы многолетних дебатов о легитимности как самой революции, так и Советского государства, и полностью переосмыслить предмет своего исследования.

В основе его работы лежит тезис о том, что Октябрьская революция является событием, сконструированным постфактум. Анализируя архивные источники, публикации, фильмы и празднества первых лет революции, а также исторические труды того времени и мемуары, он исследует то, что названо в книге «групповой динамикой артикуляции памяти» (2004, 533, с. 216). Под этим подразумевается сложный процесс создания в 1917–1927 гг. официального нарратива Октябрьской революции, в который было вовлечено практически все население страны. Главным инструментом в создании логичного и цельного мифа об Октябре был многолетний процесс «рассказывания» о событиях 1917 г., в ходе которого постепенно вырисовывались и выявлялись основные узловые моменты и контуры этого сюжета. Таким образом, в понимании автора, «создать Октябрь» означало его «рассказать».

Краткое содержание книги сводится к следующему. В первой части рассматривается репрезентация Октябрьской революции в 1917–1920 гг., когда революционеры всех мастей, и не только большевики, использовали официальные церемонии и празднества для того, чтобы донести до населения эстетику и драматическую сущность Октября. Во второй части отражается произошедшее после окончания Гражданской войны смещение акцента с театрализации Октября к его институционализации в исторической памяти, когда режим большевиков взял в свои руки сбор материалов и написание истории революции. В заключении рассматривается личный опыт современников Октября, от школьников до видных революционеров и деятелей искусств, в том числе описываются коллективные вечера воспоминаний, которые характеризуются как важнейший инструмент создания новой советской идентичности. Автор постоянно фиксирует те изменения, которые происходили в представлениях людей о революционных событиях и своей роли в них под влиянием коллективного «вспоминания» Октября. В эпилоге пунктирно прослеживается присутствие романтического мифа об Октябрьской революции в сознании советских людей вплоть до крушения коммунизма.

Ключевыми для исследования являются такие значимые категории «новой культурной истории», как память, нарратив, миф. Понимание того, что же такое человеческая память, значительно углубилось со времен «бума памяти», который наблюдался не

только в СССР в годы перестройки, но и на Западе. 1980-е годы стали временем воспоминаний, многочисленных юбилейных торжеств, самым ярким из которых, как считается, стало празднование 200-летия Великой Французской революции. Бурно развивается устная история, причем постоянно идет теоретическое осмысление как методик интервьюирования, так и проблем интерпретации полученного материала. Значительно изменилось восприятие прошлого под влиянием культурных исследований, рассматривающих память как сложный конструкт, формируемый посредством публичных репрезентаций¹. В том же ключе подходит к исследованию памяти о Красном Октябре Ф. Корни.

Для начала он предлагает читателю пример деконструкции собственного воспоминания об историческом событии, случившемся в годы его английского детства. Со временем, пишет Корни, воспоминание о трагедии в валлийской деревне Аберфан, где погибли 116 школьников и их учителя, становилось все более опосредованным. Сообщения прессы, воспоминания выживших, выступления представителей местных властей придавали событию все новые смыслы. Его собственный опыт и переживания, черно-белые кадры телевизионных передач, которые он смотрел в кругу семьи, разговоры со сверстниками, – все это также формировало его воспоминание об Аберфане. Немалую роль играло и то, что это событие стало частью коллективной памяти Великобритании, в то время как в США об этом быстро забыли. Вспоминая Аберфан уже будучи взрослым, Корни отдает себе отчет в том, что его нынешнее воспоминание проходит целый ряд фильтров, созданных жизненным опытом и мировоззрением. Сходные механизмы, считает он, вполне приложимы и к изучению сложных процессов конструирования Октябрьской революции как события, которое имело не только политическое и культурное значение, но и долгое время оказывало глубокое воздействие на судьбы людей (2004, 533, с. XIII–XIV). И потому он предпочитает говорить не о коллективной Памяти, а о воспоминании как о процессе, личностном по своей сути.

Другой важный в методологическом отношении термин – «нарратив» – обозначает не просто «историческое повествование», «изложение фактов», а в соответствии с представлениями новой культурной истории подчеркивает коммуникативный характер связного сюжетно-тематического рассказа, в создании которого участвуют и рассказчик, и слушатели, воспринимающие и интер-

¹ Eley G. Op. cit. – P. 152.

претирующие его тем или иным образом. (Именно в этом заключается отличие нарратива от мифа, замечает Ф. Корни.) При этом «рассказывание» о том или ином событии может происходить не только посредством устной или письменной речи. Как пишет автор, об Октябре рассказывали газеты и листовки, исторические труды и школьные учебники, детские буквари и книжки. О нем можно было услышать в митинговых речах, на агитпоездах, увидеть его в музеях и архивах, на фотографиях и в кинофильмах. Более того, об Октябре «рассказывали», пусть и опосредованно, «красные» похороны, демонстрации и торжества в честь революции. Постепенно обрастая множеством различных свидетельств, фактов и документов, Октябрь в конце концов оформился как событие, «давшее начало» государству Советский Союз, пишет автор, опираясь на идеи Бенедикта Андерсона о сконструированности наций как «воображаемых сообществ». Все революционные режимы, продолжает он, стремятся к легитимации путем создания нарративов о своем происхождении и основании государства (foundation narratives), которые неустанно перерабатываются и становятся составными частями общественного организма, стирая из памяти и оттесняя на задний план альтернативные исторические нарративы. Процесс этот занимает довольно много времени, в ходе него постепенно происходит выделение ключевых символов и сюжетов, и историческое повествование о рождении государства поднимается на уровень мифа. Власть подобных легендарных рассказов над индивидом несомненно велика: национальная идентичность человека, его жизненный опыт и память неразрывно связаны с представлениями об истории своей страны, отмечает Ф. Корни (2004, 533, с. 1).

Свою повествовательную силу нарратив об Октябре получил от современной (modern) идеи революции, ведущей происхождение от французских просветителей. Со времен Французской революции формировался комплекс идей и понятий, тот словарь, те символы, которые позволяли определить произошедшие события как настоящую, истинную «революцию». И хотя большевики, и особенно Ленин, добавляли в освященный годами «революционный сценарий» (revolutionary script) много элементов, которые диссонировали с традицией, пишет автор, сами они считали себя преемниками парижских коммунаров, которым все же удалось успешно реализовать пролетарскую революцию, предсказанную Марксом и Энгельсом (2004, 533, с. 8).

Октябрьская революция рассматривается в книге не столько как событие, сколько как смыслообразующий процесс, т.е. процесс

придания определенной формы хаосу текущих событий, объясняющий их тем или иным образом и в итоге создающий достаточно стройную картину. В соответствии с современными представлениями о сконструированности нарративов, традиционное понимание фактов как отражения реальности утратило свое значение, и на передний план выходит репрезентация, «проигрывание» событий прошлого. Однако автор не ставит под сомнение, что в октябре 1917 г. происходило множество сумбурных и беспорядочных событий. Но именно хаос происходившего, утверждает он, и явился основой для создания двух столь разных по своему характеру историй – победителей-большевиков о нарастании революционной активности масс, вылившейся в «драматическое освобождение от старого строя», и рассказ «проигравших» о «героическом противостоянии русских патриотов атакам кучки выскочек на основы русской государственности». Ф. Корни прослеживает процесс борьбы двух видений и репрезентаций Октября (революция или заговор), который начался сразу же после смены политической власти и включал в себя многие средства из арсенала идеологии.

Главную роль в формировании общественного мнения, и более того – понимания населением происходящих событий, – играли пресса и другие средства агитации и пропаганды. С их помощью создавались структурные рамки для «понимания» гражданами происходящего, т.е. шел процесс «приписывания значения» тому или иному событию. Даже непосредственные участники революции, отмечает автор, узнавали о «значении» того или иного эпизода постфактум, из речей на митингах, прокламаций и листовок, которые наводняли Петроград и Москву в первые революционные дни (2004, 533, с. 15).

Успешность нарратива зависит от того, насколько население вовлекается в процесс его сотворения, – в конечном счете, в процесс конструирования прошлого, пишет Ф. Корни (там же, с. 3). Большевикам удалось создать такой революционный нарратив, который переживался на уровне личной и групповой памяти. Он обеспечил людей языком для выражения своих воспоминаний. Позиция их противников, которые оказались в положении проигравших, была явно более слабой. Доказывая, что в октябре 1917 г. имела место не революция, а заговор, они были вынуждены лишь реагировать на репрезентации большевиков. Их нарратив не обладал всеми достоинствами революционной риторики о героической борьбе и страданиях трудового народа, которую так удачно использовали большевики. Их вариант рассказа не был нагружен

символами и образами и, соответственно, не воздействовал на эмоции и воображение. Особенно бледно выглядел нарратив о заговоре в той его части, которая касалась взятия Зимнего дворца. Рассказ о трагическом разграблении сокровищницы культуры по силе своего воздействия не выдерживал никакого сравнения с яркой картиной «штурма Зимнего».

В книге прослеживаются этапы создания «легенды о революции»: сотворение революционной традиции (история большевизма и предшествовавших ему течений), выделение отдельных географических пунктов, в которых «делалась революция» (Смольный), и узловых событий, которые явились ключевыми для победы большевиков. Большевики нуждались в символе, посредством которого они смогли бы представить публике в эмоциональном ключе революционную сущность Октября. Им нужна была своя «Бастилия», пишет Ф. Корни, подчеркивая тем самым преемственную связь с Французской революцией, которая ощущалась тогда абсолютно всеми (2004, 533, с. 32). Как было показано исследователями Французской революции, «в основе своей банальное, не имевшее военного значения событие 14 июля 1789 г. в Париже стало символическим “взятием Бастилии” и доминирующим образом в представлениях народа о Французской революции». И стало оно таковым потому, что философы и писатели долго готовили к этому общественное сознание. Разрушение тюрьмы было «долгожданным», «предсказанным» событием, которому затем посвятили огромное количество изобразительных и письменных текстов. Так что символ в данном случае не только оправдывал, но и провоцировал символический акт (там же, с. 80).

Символическое значение Зимнего дворца, в отличие от «демонизированной» Бастилии, было изначально очень скромным: в лучшем случае он символизировал политическое бессилие – сначала самодержавия, а затем разместившегося там Временного правительства. В книге рассматриваются эволюции, происходившие с сюжетом о взятии Зимнего дворца, прежде чем он вошел в революционный нарратив на правах главного события, олицетворявшего порыв масс. Важной вехой на пути превращения взятия Зимнего в революционный символ стало театрализованное представление, организованное Н. Евреиновым и рядом других режиссеров, художников и музыкантов на Дворцовой площади 8 ноября 1920 г. В нем участвовало около 8 тыс. человек при огромном стечении зрителей. Действо начиналось июльскими днями 1917 г. и заканчивалось штурмом дворца восставшим народом, причем, как

и в большинстве других массовых спектаклей первых революционных лет, большевики в сюжете почти не присутствовали, а главным действующим лицом были рабочие (там же, с. 76–77). Автор фиксирует постепенное нарастание драматизма в воспоминаниях участников и руководителей взятия Зимнего дворца (в частности, Подвойского), которое после 1920 г. уже окончательно превращается в этих текстах в «штурм» и приобретает символическое значение (там же, с. 90). Последнюю точку в закреплении этого символического образа поставили фильмы, снятые к 10-летию революции, в том числе «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина и знаменитый «Октябрь» Сергея Эйзенштейна.

Вторая часть книги, посвященная «прозе институционализации», написана достаточно традиционно. Основное внимание в ней уделено «институтам памяти» как материальной базе идеологии – прежде всего, Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) под председательством Ольминского (Истпарт), ее губернским отделениям и принципам их работы. В итоге автор приходит к заключению, что за первые десять лет исторический нарратив о создании государства так и не был завершен. И хотя постепенно он все же был сформирован, партия не заняла того мистического положения в советском сознании, как это произошло с Октябрьской революцией. Для тех, кто «строил его храмы», Октябрь был крайне субъективным переживанием, поднятым на уровень мифа, и этот романтический миф занял свое место в исторической памяти России и всего мира (2004, 533, с. 220–221).

Помимо книги Ф. Корни в США вышел еще ряд интересных работ по истории революции и Гражданской войны, использующих культурно-исторический подход (2000, 337, 338, 342; 2002, 431, 436). В них заметны некоторые общие методологические тенденции: особое внимание к политическим практикам и элементам, формирующим идентичности; понимание «сконструированности» большинства политических и социальных категорий; интерес к идеям и дискурсивным формам коммуникации, под влиянием которых действовали люди, и наконец, стремление к историзации понятий, применяемых при анализе. Кроме того, они расширяют временные параметры революции как минимум от начала Первой мировой войны до середины 20-х годов.

Культурно-исторический подход к изучению русской революции серьезно отличается от взгляда «снизу», который практиковали социальные историки-ревизионисты. Казалось бы, социальная история также не придавала захвату власти большевиками ключевого

значения, но объясняется это первостепенным интересом к «фундаментальным структурам повседневной жизни», которые, в отличие от смены политического режима, изменяются медленно. Когда же в фокусе внимания оказываются идеи и культурные практики, временной и географический охват значительно расширяются. Более того, новый взгляд на историю, ассоциирующийся обычно с «культурной парадигмой», склонен замечать преемственность, а не разрывы, сходства, а не различия. И потому в работах «нового поколения» не просто фиксируются параллели с европейскими практиками или констатируется, что Россия «шла в ногу с Европой»: революция 1917 г. рассматривается как интегральная часть общемирового кризиса начала XX в., который принес с собой глубокие трансформации идентичностей – национальной, социальной, гендерной. Исследования этих трансформаций приводят к выявлению новых причин революции: рост индивидуализма, мечты о лучшей жизни в связи с возникновением культуры потребления (консюмеризма), изменение в гендерных нормах внесли весомый вклад в дестабилизацию патриархальной власти старого режима (см., например: 2003, 515).

От широкомасштабных параллелей и аналогий, практикуемых в социальных науках, культурно-исторический подход отличается то, что человек не теряется из виду и остается «единицей измерения». Одной из важных тем современной американской русистики является проблема формирования современной политической идентичности. В сравнительно-историческом ключе она рассматривалась, в частности, в сборнике «Язык и революция» (2002, 436), посвященном изучению сознания индивида в кризисную эпоху 1890–1930-х годов.

При всех достижениях в изучении революционной проблематики симптоматично, что в последние годы в США не появилось ни одного по-настоящему новаторского исследования, которое было бы написано молодым автором и посвящено русской революции. Судя по всему, опубликованные в начале 2000-х годов исследования начинались на волне интереса к пересмотру «старых парадигм», который постепенно угас. Аспирантов волнуют другие темы, они предпочитают открывать новое, а не пересматривать старое.

В историографии дореволюционной России наблюдаются сходные тенденции. Одним из важных последствий «культурного поворота» явилось осознание мифологического характера не только событий (таких, как Октябрьская революция), но и исторических концепций, которые сложились в России в конце XIX в. и с небольшими модификациями продолжали существовать до конца

XX в. В сегодняшнем понимании, наследие русской государственной школы, которое транслировалось американским студентам русскими историками-эмигрантами (и до сих пор оказывает влияние на молодые умы благодаря бесконечно переиздающемуся учебнику Н. Рязановского)¹, серьезно сковывало исследователей.

Историкам Московского царства отказ от старых интерпретаций, судя по интересной статье Ив Левин, дается без особых усилий. Важной чертой современной историографии допетровской Руси, пишет она, является почти полное отсутствие интереса к так называемым «дискуссионным» проблемам, унаследованным от позапрошлого века и несущим в себе все признаки либеральной мифологии. Вместо того чтобы погружаться в дебри дискуссий о «норманнской теории», достигших к сегодняшнему дню предела политизации, зарубежные русисты исследуют Повесть временных лет как литературный памятник, помещая его в контекст европейской книжности и мифологии².

Пожалуй, наиболее успешному и плодотворному пересмотру подверглись исследования православия Московской Руси. Эта область начала бурно развиваться в 1990-е годы и претерпела переход от преимущественно институциональной истории к культурной³. Здесь наблюдается отказ как от системы понятий, унаследованных от русских дореволюционных историков, которые переносили свое отношение к церкви начала XX в. (реакционный институт) на далекое прошлое, так и от влиятельной концепции Э. Кинана о существовании в Московии двух культур, разделенных непреодолимым барьером, — ученой клерикальной и мирской. Эта теория во многом основывалась на работах Лотмана и Успенского, и именно фиксация на бинарных оппозициях русской культуры подверглась теперь критическому пересмотру. Один из разделов сборника «Православная Россия» так и называется — «Дестабилизировать дихотомию» (2003, 501). Не устроила многих историков и концеп-

¹ Levin E. Muscovy and its mythologies: Pre-Petrine history in the past decade // Kritika. — Bloomington, 2011. — Vol. 12, N 4. — P. 774.

² См., в частности: Butler Fr. Ol'ga's conversion and the construction of Chronicle narrative // Russian review. — Lawrence, 2008. — Vol. 67, N 2. — P. 230–242; Rafensperger Chr. Shared (hi)stories: Vladimir of Rus' and Harald Fairhair of Norway // Ibid. — 2009. — Vol. 68, N 4. — P. 569–582. См. также в Приложении: (2012, 1014).

³ Подробнее см.: Большакова О.В. Православие Московской Руси: Современные тенденции в американской историографии // Церковь и религиозное сознание средневековой Европы: Сб. обзоров и реф. — М.: ИНИОН РАН, 2008. — С. 90–107. Литературу за последующие годы см. в Приложении.

ция «народной религии», также строящаяся на дихотомии, на этот раз «народный / элитарный». Рассматривая православие в качестве основы (кирпичиков) культуры Московии (и распространяя его влияние на несколько веков вперед), американские русисты показали в своих работах, что оно обеспечивало системой понятий и символов все население страны, включая и неправославных.

Привлечение новых видов источников, прежде всего визуальных – иконописи, настенных росписей, картографических материалов, а также ритуалов и церемоний, в сочетании с критическим отношением к привычным методам и концепциям, позволило исследователям реконструировать целостную культуру Московии (полную, однако же, региональных и местных вариаций, что особенно заметно в архитектуре). Среди первых работ, посвященных изучению политической культуры, необходимо упомянуть статьи Д. Роуланда, показавшего, что религия формировала политическую мысль Московского царства, которая, несомненно, отличалась от западной¹. Отличия заключались в отсутствии формальных институтов, но прежде всего – в том, что система московской политической идеологии строилась вокруг идеи Бога и Царства Божьего. В соответствии с традицией русской историографии XIX – начала XX в. считалось, что целью правления является служение народу. Роулэнд пришел к выводу (с которым многие согласились), что и государь, и его советники видели свою цель иначе. Служение интересам Бога, соблюдение заповедей, благочестие и милость правителя находились в центре как символической, так и реальной политики Московии. Эта идеология накладывала существенные ограничения на prerogatives царя, который должен был в своих действиях отвечать перед Богом и людьми (2009, 833, с. 4–5). В таком контексте знаменитая теория «Москва – Третий Рим» теряет свои «современные» политические коннотации, отсылающие нас к вековым претензиям на гегемонию, и интерпретируется всего лишь как инструмент, который высшее духовенство использовало для критики светской власти².

¹ Rowland D. Did Muscovite literary ideology place limits on the power of the tsar? (1540s–1660s) // *Russian review*. – Columbus, 1990. – Vol. 49, N 2. – P. 125–155; Idem. Moscow – the Third Rome or the New Israel? // *Ibid.* – 1996. – Vol. 55, N 4. – P. 591–614; Idem. Muscovy // *European political thought, 1450–1700: Religion, law and philosophy* / Ed. by Lloyd H., Burgess G., Hodson S. – L., 2008. – P. 267–299 и др. См. также его статьи в сборниках (1994, 114; 2003, 467, 501).

² Levin E. *Op. cit.* – P. 781–782.

В отсутствие развитых формальных институтов и в условиях, когда православная теология и мораль занимали центральное место в культуре, само понятие политики расширяется и становится благодатным полем для применения культурной парадигмы. Новая культурная история Московского царства подверглась серьезному пересмотру «святая святых» русской истории – государство, в том числе и под влиянием таких теоретиков, как Антонио Грамши, Юрген Хабермас, а затем М. Фуко, К. Гиртц, З. Бауман и др. Прежняя упрощенная концепция государства как «инструмента насилия», подчеркивавшая его автономию от общества, уступила место более широкой трактовке, которая включает в себя не только узко понимаемое государство, но и страну в целом, и учитывает роль подданных в осуществлении политики. Государство стало выступать еще и как «инструмент интеграции», так что вопрос об участии населения в легитимации власти занял важное место в американских исследованиях России раннего Нового времени.

Эта проблема рассматривалась в работах Н.Ш. Коллманн, сформулировавшей концепцию «политики консенсуса» (*consensual politics*), в противоположность прежней дуалистической модели, описывающей репрессии и противоборство между государем и элитой. В частности, на примере массива судебных дел о защите чести и др. она показала, что закон успешно работал как инструмент интеграции населения в единый социальный организм (1999, 305; 2012, 1005). Стратегии интеграции, т.е. те механизмы, при помощи которых государство добивалось лояльности и одобрения своих подданных, изучались и другими американскими русистами-медиевистами, в том числе В. Кивельсон¹. В своей первой монографии «Самодержавие в провинциях» (1996, 179) она анализировала Соборное Уложение 1649 г. и дворянские челобитные второй половины XVII в. и зафиксировала возникновение серьезных изменений в традиционной политической культуре. Государство стремительно двигалось в направлении регуляризации и институционализации, и дворянство быстро уловило эти тенденции, «творчески и продуктивно» приспособляясь к новым обстоятельствам. Несколько позднее в статье о политике родства В. Кивельсон проде-

¹ Однако же не все разделяют такой подход. Среди тех, кто продолжает подчеркивать деспотизм российского государства и рабскую пассивность населения, преобладают британцы, активно отстаивают эту точку зрения и такие историки, как Р. Хелли и М. По. См. дискуссии в журнале «Критика» о московском деспотизме (2002).

монстрировала, что между самодержавным абсолютизмом XVII и XVIII вв. не было резкого разрыва, подчеркивая тот факт, что понятия о меритократическом правлении утвердились в дворянской среде еще при Алексее Михайловиче, а сильные элементы клановой и семейной политики сохранялись и в XVIII в. (что было в то время характерно и для Англии) (1998, 256, с. 5–31).

По справедливому замечанию Дж. Бербанк, культурные интерпретации политики работают против концепта резких разрывов в практике управления (там же, с. 335). Неудивительно, что исследователи России эпохи раннего Нового времени стали замечать черты преемственности в историческом процессе допетровской и послепетровской эпох. Таким образом, они поставили под вопрос еще один постулат русской дореволюционной историографии, согласно которому реформы Петра I явились важнейшим водоразделом в истории России. Исследования последних лет, многие из которых были опубликованы в сборнике «Модернизируя Московию» (2004, 560), продемонстрировали, что радикальные реформы Петра имели достаточно ограниченное воздействие на общество¹.

Применение культурной парадигмы дало возможность совершенно по-новому интерпретировать многие проблемы истории Московского царства, подключить нетрадиционные виды источников и иначе подойти к анализу старых. Благодаря деконструкции риторических фигур в письменных источниках удалось, например, изменить представление о статичной, неподвижной Московии. Но думается, что дело не только в культурной парадигме, а в общем расширении горизонтов, в активном использовании американскими русистами моделей, применяемых в исследованиях западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени. Если в 2001 г. Н. Коллманн осторожно констатировала, что новейшие исследования «зачастую способны» ниспровергнуть существующую тенденцию «рассматривать Россию как уникум», то десять лет спустя Ив Левин лишь упоминает о том, что сравнения с Западной Европой стали общим местом в историографии². Все больше сторонников находит идея о приведении периодиза-

¹ См. также: Waugh D.C. We have never been modern: Approaches to the study of Russia in the Age of Peter the Great // *Jahrbucher für Geschichte Osteuropas*. – Wiesbaden, 2001. – Bd 49, H. 3. – S. 323–325.

² Kollmann N. Sh. Convergence, expansion, and experimentation: Current trends in Muscovite history-writing // *Kritika*. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 239–240; Levin E. Op. cit. – P. 776.

ции русской истории в соответствие с западноевропейской, т.е. о выделении крупного периода раннего Нового времени, который предлагается датировать 1500–1800-ми годами. Аргументы, приведенные в статьях Р. Мартина и Д. Островски, выглядят более чем удовлетворительными¹.

Небольшое, но судя по всему очень сплоченное сообщество американских специалистов по истории допетровской Руси активно сотрудничает с историками из других стран и, конечно же, из России. Не менее активно усваивают они и новые концепции, культивируя междисциплинарность. В исключительно содержательных сборниках, обычно представляющих собой материалы конференций, принимают участие историки и литературоведы, специалисты по культурным исследованиям, лингвисты, археологи, историки искусства и музыки (1994, 114; 1997, 209, 233; 2003, 501; 2006, 675; 2009, 833, 843; 2010, 868, 922; 2011, 949, 964; 2012, 994).

Для специалистов по императорскому периоду, который не только сильнее нагружен политизированными клише, но и гораздо в большей степени находится на виду, чем допетровская Русь, ситуация выглядит иначе. Собственно говоря, американская историческая русистика в том виде, как она сложилась в послевоенные годы, и занималась в основном этим периодом. Тогда, как считалось, серьезные историки редко переступали границу 1917 года. Именно в этой области историографии в годы холодной войны царила теория модернизации с ее представлением об историческом прогрессе как движении к демократии. «Культура» сыграла и здесь свою роль в переосмыслении старых историографических схем. В 1990-е годы развитие шло по двум линиям: первая продолжала исследования, начатые ранее, придерживалась традиционных тем, но использовала также те или иные новые подходы и методы. Вторая (чаще всего это первые монографии, изданные на основе диссертаций) уходила в сторону от проблематики, актуальной прежде, и от так называемых «дискуссионных» вопросов, предлагая новые темы исследований.

Центральное место в американской историографии императорской России на протяжении долгих лет занимала бинарная оппозиция «власть / общественность», где «власть» обладала всеми свойствами доминанты и обе стороны находились, в соответствии

¹ Martin R.E. The Petrine divide and the periodization of Early Modern Russian history // *Slavic rev.* – Urbana, 2010. – Vol. 69, N 2. – P. 410–425; Ostrowski D. The end of Muscovy: The case for circa 1800 // *Ibid.* – P. 426–438.

с понятиями классической философии, в состоянии непрестанной борьбы. Постепенное размывание этой дихотомии началось еще в 1980-е годы, и первым его признаком можно считать более позитивный взгляд на самодержавие, в котором перестали видеть исключительно репрессивный механизм деспотической власти. Исследования проблем, связанных с формированием гражданского общества, также со своей стороны добавили силы второй части дихотомии – общественности, показав богатую и разнообразную социальную жизнь. В какой-то трудно определимый момент, скорее всего где-то в середине 1990-х, обнаружилось, что власть и общество в императорской России находились в состоянии взаимодействия и взаимовлияния, а не борьбы. Или же – как показала в своей монографии о российской монархии XVIII в. Синтия Уиттакер – в состоянии «политического диалога» (2003, 521)¹. Подключение дискурсивного анализа к исследованиям политической культуры века Просвещения принесло хорошие плоды.

Признавая более тесную связь литературы и жизни, чем это считалось ранее, историки обратились к новому для них виду источников – литературным произведениям. Так, Э. Виртшафтер проанализировала тексты 260 пьес XVIII в., написанных для Петербургского императорского театра (2003, 522). Среди них нет шедевров, но, взятые в массе, они представляют собой компендиум идей и представлений о власти и социуме, об общественном благе, о частном и публичном. Их авторы далеки от оппозиции к существующему порядку, его пороки, считают они, следует устранять путем перевоспитания. В книге подчеркивается центральная роль личности в идеологии русского дворянства эпохи Просвещения и выдвигается на первый план идея сотрудничества между дворянством и абсолютизмом, а не их противостояние. Так что, как заметила Мартина Винклер, взаимодействие, взаимозависимость, сотрудничество и конфронтация на равных выступают теперь в исторических исследованиях, когда речь идет о давно знакомой диаде «власть и общественность»².

Американские русисты занимаются сегодня изучением «дворянских гнезд» (1995, 165; 2001, 391; 2007, 691), общественной дея-

¹ Подробнее об исследованиях самодержавия и проблемах изучения гражданского общества в американской историографии России см.: Большакова О.В. Власть и политика... С. 226–230, 239–243.

² См.: Winkler M. Rulers and ruled, 1700–1917 // *Kritika*. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 789–806.

тельности и общественных организаций, в том числе Вольного экономического общества (1996, 181; 1999, 316; 2009, 790; 2011, 955), и, конечно же, литературы и искусства с особым вниманием к проблеме формирования русской национальной идентичности (1997, 224; 1998, 268; 2001, 382; 2002, 411; 2004, 561, 571; 2005, 600; 2006, 668; 2007, 721; 2010, 870, 878, 894, 923 и др.). Вопросы культуры, история идей занимают все больше места в исследованиях и российского общества, и самодержавной монархии (1997, 225; 2006, 669; 2011, 965).

Говоря об истории российской монархии, нельзя обойти молчанием фундаментальный труд Р. Уортмана, публикация которого явилась событием как для англоязычной, так и для отечественной историографии (1995, 171; 2000, 363)¹. И все же нельзя умолчать и том, что привлечение огромного материала, прежде всего изобразительного, применение семиотических и антропологических методов его анализа послужили в этом фундаментальном исследовании лишь подтверждению старых постулатов. Перед нами история института, и мы обнаружим здесь столь характерную для американской историографии прежних лет мысль о противоположности «рациональной» европейской институционализации и «исконной» русской практики. Интерпретации Уортмана строятся на бинарных оппозициях: формальные институты противопоставляются неформальным личным связям, европеизированная элита – народу, который, впрочем, в данном случае не принимается в расчет. Применение культурно-семиотического подхода (Уортман отсылает нас к работе Лотмана и Успенского, которую так активно критикуют сегодня американские специалисты по допетровскому периоду) не способствует пересмотру прежних трактовок.

Симптоматично, что интересные работы по традиционной для американской историографии России «самодержавной» проблематике посвящены XVIII в. Хотелось бы отметить монографию Г. Маркера о механизмах легитимации женщин-императриц, где активно используется гендерный анализ и основное внимание уде-

¹Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. – М.: ОГИ, 2002–2004. – Т. 1–2. Почти анекдотический пример критики – отзыв В. Костырко в «Русском журнале». См.: http://old.russ.ru/krug/kniga/20020805_vaskost-pr.html. Серьезные историки активно обсуждали и рецензировали книгу. Состоялся «круглый стол» в редакции журнала «НЛО», были опубликованы рецензии в таких журналах, как «Вопросы истории» и «Отечественная история», а в «Отечественных записках» перевод книги Уортмана был назван «событием политическим».

лено религиозному измерению (2007, 708). Исследования политики самодержавия XIX в. «ушли» в русло «новой истории империи» — это направление будет рассмотрено в четвертой главе. В то же время в новом тысячелетии наблюдается почти полный отказ от социально-экономических тем, которые находились в центре внимания американских русистов в 1970–1980-е годы. Основополагающее место в тогдашних исследованиях России занимала политика индустриализации, которую царское правительство проводило в конце XIX в. с целью преодолеть отсталость и догнать страны Запада, что, как считали американские историки, должно было привести к модернизации политической. Сегодня, когда вопрос о развитии капитализма в дореволюционной России уже не стоит на повестке дня, появились первые попытки откорректировать «парадигму индустриализации» в свете новейших достижений историографии Западной Европы.

Монография Кристин Руэн об истории модной индустрии в Российской империи опирается на новые трактовки промышленной революции, в которых делается акцент на роли мелкого ремесленного производства и первенстве потребления (спроса), а не крупного машинного производства (2009, 842). Культурологический подход позволяет автору пересмотреть традиционные представления о доминировании государства в российской экономике. Этот тезис обычно основывался на изучении сферы производства и тяжелой промышленности. Перенос акцент на легкую промышленность, где преобладало частное предпринимательство, и выдвигая на передний план сферу потребления, которая имела важнейшее значение для складывания капиталистического рынка, К. Руэн получает совершенно иную картину, не имеющую ничего общего с проводившейся «сверху» индустриализацией в «отсталой» России.

К. Руэн приходит к выводу, что в империи копировалась западноевропейская модель: государство, дав первый толчок, затем поддерживало модную индустрию в основном посредством повышения и снижения пошлин, а ведущую роль в ее развитии играли рыночные отношения. Капитализм рассматривается в монографии в русле современных представлений — как культурная, а не только экономическая система, и при таком видении он включает в себя и потребление, и розничную торговлю, и рекламу и не сводится к производительным силам и производственным отношениям. Современная «парадигма индустриализации» ставит во главу угла людей — производителей и потребителей, и, соответственно, их

идеи и представления (наряду с образами и репрезентациями) становятся предметом изучения «новой культурной истории».

Совершенно новое явление в американской историографии императорской России – бурное развитие исследований по религиозной проблематике, которое идет по нескольким направлениям: «живой религиозный опыт», т.е. религиозные практики русского православия и его ответвлений; гендерный аспект духовности и благочестия; религиозная политика в имперском измерении; роль и место религии в эпоху модерности. Развивается и изучение других религий, в первую очередь иудаизма (в контексте формирования русской еврейской идентичности в XIX–XX вв.), а также ислама, в особенности в связи с имперской политикой в Средней Азии и на Кавказе¹. Традиционная социальная история и в этой области уступает место культурным исследованиям, однако изменяется и сама, усваивая методы и подходы таких дисциплин, как культурная и социальная антропология.

Одной из самых интересных и богатых по содержанию книг о русском православии, вышедших в последние годы, является монография американки русского происхождения Веры Шевцов (2004, 572). Используя методы антропологии религии, она исследовала церковную общину в России накануне падения старого режима, когда кризисные явления в церкви достигли своего апогея. В монографии рассматриваются наиболее важные аспекты религиозной жизни: храм и его приход, церковные праздники, строительство часовен, почитание икон, культ Богородицы в православии. Систематическое исследование культа Богородицы не только включает в себя описания особо почитаемых икон и рассказы о производившихся ими чудесах, а также анализ их воздействия на верующих, но и демонстрирует их объединяющий потенциал на уровне одного прихода и через их тесную связь с историческим прошлым страны – на уровне нации. В конечном итоге автор стремится воссоздать основные черты православной идентичности, а также выявить те механизмы, ту систему образов, при помощи которых люди обретали ощущение причастности к коллективному целому (2004, 572, с. 6).

¹ Подробнее см.: Большакова О.В. Стирая границы: Религия и религиозность императорской России в современной англоязычной историографии // Церковь и религиозное сознание в Новое время: Сб. обзоров и реф. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – С. 23–61.

Изучение места религии и веры в жизни простых людей стало одной из центральных тем современных исследований по религиозной проблематике. Чаще всего оно осуществляется в контексте относительно новой концепции «живой религии», которая объединяет в себе социально-культурную и религиозную историю. Тесная связь с исследованиями по истории Западной Европы, в том числе по истории религии и церкви, выражается не только в теоретических заимствованиях, но и в постоянном сопоставлении российских практик с общеевропейскими, что выводит изучение православия из интеллектуальной изоляции, в которой оно находилось в советское время. Однако говорить о слепом заимствовании все же неправомерно, поскольку русисты, демонстрируя высокую степень информированности о том, что происходит в смежных дисциплинах, стараются проложить свою дорогу в дебрях историографических дебатов.

Главной мишенью критики и здесь является «дихотомическое» мышление, которое в контексте изучения религиозных тем приводит к выстраиванию исследования в рамках бинарных оппозиций «религиозный / светский», «элитарный / народный», «неофициальный / официальный» и др. Подтверждение того, что невозможно разграничить высокое и низкое, старое и новое, традиционное и модерное, поскольку все это существовало бок о бок в православной практике эпохи Нового времени, можно найти в монографии Л. Энгельстайн о секте скопцов (1999, 290), переведенной на русский язык.

В работах, посвященных религиозной проблематике, подвергаются деконструкции многие историографические постулаты, на которых основывались историки при изучении последних десятилетий существования царского режима. В монографии специалиста по пореформенному крестьянству Кристины Воробек «Одержимые» (2001, 410) исследуется восприятие кликушества разными акторами: государством, церковью, самими крестьянами, и анализируется сложившийся в течение XIX в. дискурс, в формирование которого внесли свой вклад и ученые-этнографы, и писатели, в частности Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, и психиатры. Последние относились к одержимым особенно враждебно, видя здесь исключительно пример девиантного поведения суеверных и фанатичных женщин.

Книга Воробек, подчеркивающая социально-культурную обусловленность болезни «одержимости», написана в русле той традиции зарубежного крестьяноведения, которая значительно «де-

монизировала» образованную элиту, находившуюся «в плену» западноевропейских представлений о прогрессе. Кликуши в данном случае оказываются благодатной темой для изучения, выступая квинтэссенцией того, что в субалтерновых исследованиях называют «объектом». На их примере можно с успехом продемонстрировать «колониальное отношение» высших классов к крестьянству, женщинам и религиозным суевериям. Воробек широко использует антропологические методы исследования, изображая традиционное крестьянство как особый мир, противоположный «модерному» миру города, что вполне соответствовало взглядам, господствовавшим в зарубежной антропологии вплоть до начала нового тысячелетия. Российские реалии, в прочтении западных крестьяноведа, лишь добавляли остроты этой дихотомии. Так что деконструируя, с одной стороны, универалистский дискурс начала XX в. с его понятиями прогресса и отсталости, Воробек в то же время предоставляет дополнительные аргументы в подкрепление постулата о существовании непреодолимой пропасти между народом и образованным обществом (который составлял на самом деле важную часть этого дискурса).

Тотальная деконструкция так называемого «либерально-универсалистского дискурса», складывавшегося на рубеже XIX–XX вв. и носившего общемировой характер, имеет большое значение для американцев. Именно он определял ход американской истории и политики на протяжении всего XX в.¹ Под его влиянием и в его рамках сформировался определенный комплекс стереотипов и мифов о России, определявших лицо русистики вплоть до недавнего времени. Для американской историографии, которая уже достаточно давно и осознанно борется как с общепринятыми стереотипами о России, так и с наследием «русской государственной школы», начало XX в. является своего рода «критической точкой». Слишком многие идеи, высказывавшиеся тогда русскими мыслителями и публицистами, стали аксиомами и со временем были перенесены в сферу реальности (эссенциализировались).

Большую роль в формировании представлений американских русистов о культуре России сыграли идеи русских религиозных философов, в частности, постулат о «логоцентричности» русской культуры. По убеждению литературоведа Маркуса Левитта, эта характеристика, рожденная в годы расцвета модернистской

¹ Журавлева В.И. Понимание России в США: Образы и мифы: 1881–1914. – М.: РГГУ, 2012.

литературы Серебряного века, имеет какую-то ценность лишь для достаточно позднего времени, начиная с пушкинской эпохи. До этого, пишет он в своей книге «Визуальная доминанта», посвященной XVIII веку, культурная конфигурация определялась не словом, а зрительным восприятием (2011, 957). Визуальное, по его мнению, будучи тесно связано с традицией православной теологии, дает ключ к пониманию иерархии ценностей в культуре русского века Просвещения и, добавим от себя, других исторических эпох.

По всей вероятности, раскритикованная М. Левиттом точка зрения сыграла свою роль в том, что «визуальный поворот» в американской русистике несколько задержался. Несмотря на то, что историки-русисты, обратившие свои взгляды на культуру, все активнее привлекали изображения и анализировали их в своих исследованиях, несмотря на то, что визуальное играет все бóльшую роль в современной жизни, немислимой без ТВ и Интернета, серьезное, осознанное внимание к визуальной составляющей возникло в русистике совсем недавно.

В богато иллюстрированном сборнике «Изображая Россию» (2008, 767) была предпринята попытка осмысления важных теоретических вопросов, позволяющих понять, как использовать изображения не только для иллюстрации, но и для углубленного исторического и культурного анализа. Одновременно это была попытка представить историю России через визуальную культуру. В масштабном проекте приняли участие специалисты из США, Великобритании, Канады и России. В каждой из 50 небольших, занимающих всего несколько страниц, статей (более половины из них посвящены дореволюционному периоду) дается анализ какого-либо изображения как визуального исторического источника. Причем это могут быть не только живописные полотна, гравюры, иконы, но и материальные объекты совершенно разного плана: архитектурные памятники (собор Василия Блаженного, башня Татлина), произведения искусства (табакерка графа Захара Чернышева, крестьянская прялка), или же, например, географическая карта, денежная банкнота, семейное или художественное фото, киноафиша, да и сам фильм. В таком ключе рассматривается визуальная культура России со времен Киевской Руси до сегодняшнего дня, начиная от древнерусского жилища и Остромирова Евангелия и кончая зданием Дворца пионеров на Ленгорах и фильмом «Солярис».

В книге представлен широкий диапазон методологических подходов к изучению визуальной культуры. В большинстве статей визуальное используется авторами для получения информации,

которая отсутствует в письменных источниках. В первую очередь, речь идет о повседневной жизни, что особенно актуально для истории Средневековья, хотя, как отмечается во введении, и в современную эпоху многие аспекты частной сферы не фиксируются в традиционных документальных источниках. При анализе визуальных источников большое значение имеет расшифровка символических и ассоциативных смыслов – тех значений, которые намеренно и ненамеренно вкладывались в них их создателями, а также того, как они понимались и воспринимались современниками. Этот подход основывается на предпосылке, что процесс видения и понимания увиденного, якобы естественный, не настолько очевиден, как это кажется на первый взгляд. Он социально и культурно обусловлен, в частности, опосредован культурными кодами эпохи.

Если говорить об эпистемологических установках более широкого плана, то здесь следует учитывать то обстоятельство, что изображенное и увиденное издавна считалось непререкаемым доказательством «истинности» его существования, будь то икона для верующего или свидетельство очевидца преступления. Вместе с тем во все времена присутствовали и сомнения в том, насколько увиденное «своими глазами» соответствует реальности. Сегодня, в эпоху пост(пост)модерна, отмеченную развитием цифровой фотографии, созданием спецэффектов и прочих виртуальных заменителей изображений, отношения между увиденным и реальным окончательно релятивизировались. «Современное недоверие к “реальности” фотографий вывело скептицизм на новый уровень, и вполне возможно, что мы находимся перед лицом серьезнейшего культурного сдвига, который изменит не только то культурное значение, которое придается визуальному свидетельству, но и саму систему координат, в которой оценивается визуальное знание», – пишут редакторы-составители В. Кивельсон и Дж. Нойбергер (2008, 767, с. 3).

Представленный в сборнике широкий спектр образов подчеркивает богатство визуального в аналитическом отношении. В частности, оно оказывается «исключительно ценным ингредиентом в построении идентичностей, властных структур и форм социальной коммуникации», – продолжают они (там же, с. 5). И далее авторы введения (и вдохновители и организаторы всего проекта) говорят очень важную вещь. Они отмечают, что в центре внимания исследователей визуального находится и сам процесс видения как способ понимания действительности, а также визуальный опыт и его влияние на поступки и взгляды людей. Таким образом, точкой отсчета в историческом исследовании выступает человек, а не

властные институты или производительные силы. Иными словами, перед нами не только и не столько «визуальный поворот», сколько то, что называют «переходом от социально-структурной парадигмы к гуманитарной», который ассоциируется прежде всего с утверждением «новой культурной истории».

Совсем недавно – по общему признанию, сравнительно поздно, – в русистику пришел и так называемый «эмоциональный поворот», уже укоренившийся в социальных и гуманитарных науках на Западе в 1990-е годы.

Изучение человеческих чувств долгое время считалось епархией литературоведов, и только в условиях «культурного поворота» возникло понимание, что эмоции являются не только частным делом и заслуживают внимания со стороны общественных наук. Как писал немецкий историк Ян Плампер, в изучении эмоций существуют во взаимном притяжении и отталкивании два подхода – универсалистский и конструктивистский. Сторонники первого выдвигают на передний план человеческую природу (биологию) и считают, что эмоции всегда и везде были одинаковыми по своей сути, не изменяясь во времени. Такой подход наиболее распространен, как это понятно, в психологии и других медико-биологических науках, а также в социологии и литературоведческих исследованиях, опирающихся на психоанализ. Вторая позиция более релятивистская, ее сторонники подчеркивают культурную составляющую человеческих эмоций и их историческую изменчивость. Подход к изучению эмоций как социальных конструктов впервые начал активно применяться в культурной антропологии, а в русистике нашел свое место как в исторических, так и в литературоведческих исследованиях¹.

Характерной особенностью этого очередного «поворота» в русистике является не только вполне предсказуемая междисциплинарность (ее уровень в этой области, конечно, исключительно высок). Пожалуй, в исследованиях феномена человеческих эмоций впервые в полной мере реализуется давно чаемая интернационализация дисциплины, поскольку этой проблемой серьезно занимаются и германская, и французская русистика, а также ряд отечественных специалистов. В 2008 г., например, прошли две конференции: одна из них – «Интерпретация эмоций в Восточной Европе, России

¹ См. подборку материалов «Эмоциональный поворот? Чувства в русской истории и культуре»: Plamper J. Introduction // *Slavic review*. – Urbana, 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 229–237.

и Евразии» – в университете Иллинойса, вторая – «Эмоции в русской истории и культуре» – в Москве, организованная Франко-русским центром гуманитарных и общественных наук и Германским историческим институтом. Сборник «Российская империя чувств», в котором приняли участие специалисты из России, Германии и США, вышел недавно в издательстве НЛО¹. Чуть позднее появился американский сборник, также совместный и, что особенно важно, посвященный не только России, но и Восточной Европе (2011, 950). В нем нашла очередное воплощение идея о стирании границ – как дисциплинарных, так и межнациональных. Кроме того, расширяется географический охват дисциплины, которая не замыкается в рамках России. И, наконец, снимается противопоставление между конструктивистским и универсалистским подходами в пользу неоконструктивистских интерпретаций, учитывающих не только культурно-историческую, но и биологическую составляющую – человеческое тело.

Эмоции трактуются в сборнике как феномен, в котором связываются воедино человеческое тело, личность, социум, культура и власть, частное и публичное. Тесно связаны эмоции и с рассудком, они играют важнейшую роль в восприятии и понимании людьми окружающего мира, определяют их поведение и поступки, которые в конечном счете оказывают влияние на этот мир. Подход к изучению эмоций в данном случае комплексный, учитывающий время и место, особенности языка и культуры, социальные структуры, политику и экономику, наконец, могущество предписанных норм и дискурсивных конструкций. Только в таком ключе возможно понять сложный, изменчивый и многогранный мир человеческих эмоций, и это совершенно новое для исторической науки знание способно серьезно откорректировать многие интерпретации русской истории (2011, 950).

Контраст с социально-историческим подходом к человеку разительный: среди социальных историков до сих пор бытует убеждение, что «люди все те же», что везде и всегда ими движет материальный интерес и эмоции выступают лишь прикрытием этого «основного и неизменного инстинкта» (см. 2011, 985, с. 26–27). Велико искушение противопоставить «субъективный идеализм» постмодернистского культурно-исторического подхода «материа-

¹ Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. – М.: НЛО, 2010. В сборник вошли статьи, ранее опубликованные в упомянутой выше подборке «Славик ревью» и в других журналах.

лизму» социальных и политических историков. Однако в данном случае эта основополагающая дихотомия диамата не работает, поскольку «культурная парадигма» предполагает иную систему координат, в которой реальность человеческого бытия не сводится к предметному миру, а включает в себя образы и идеи, предписанные нормы социального общежития, наконец, пространство самой человеческой личности. Все эти реальности тесно переплетены между собой, бесконечны, множественны и изменчивы и отнюдь не поддаются разведению по разным полюсам в виде бинарных оппозиций – «единства противоположностей», находящихся в состоянии борьбы. Так что судить новую историографию нужно бы по другим законам – а лучше не судить, а попытаться понять, и это совсем не простая задача.

В современной американской русистике значительно усложнилось понимание и социума, и политики, и индивида, добавилось множество новых понятий, возникли не только новые темы и области исследований, но и новый язык (почти не переводимый на язык отечественной науки). Естественно, изменилась и методология, и здесь можно было бы ограничиться констатацией, что культурная теория и лингвистический поворот в мировой историографии оказали огромное воздействие на американскую русистику, в частности на то, как историки концептуализируют прошлое, какие темы выбирают и методы применяют.

Однако историки, как известно, не слишком любят теории и позиционируют себя прежде всего как практиков. При этом у каждого профессионала имеется некий внутренний стандарт, невербализованное представление о том, как нужно писать историю, и потому отношение к теоретизированию чаще всего прагматическое и достаточно скептическое. Сегодня скептицизм лишь усилился в связи с осознанием историчности любой теории, создаваемой в определенное время для объяснения конкретных обстоятельств (причем марксизм или же, например, психоанализ не являются здесь исключениями). В то же время нельзя не отдавать себе отчета в том, что, при всех декларациях, историки глубоко втянуты в отношения с теорией, и отношения эти не простые. Их можно представить как в разной степени опосредованные и релятивизированные, что заставляет соблюдать осторожность и воздерживаться от прямолинейных выводов о «влиянии культурного поворота» на методологию исторического исследования. Во всяком случае, рассмотренные в этой главе тексты и многие другие, опубликованные американскими русистами в последние двадцать лет, свидетельст-

вуют о том, что изменилось нечто более существенное, чем методология: взгляд на вещи.

Учитывая сказанное, в дальнейшем мы будем ставить во главу угла не столько методологию того или иного исследования, сколько новизну тем и интерпретаций, которые получили прописку в американской русистике после окончания холодной войны. Нас главным образом будет интересовать вопрос, что нового добавляют эти работы к нашему пониманию истории России (хотя методологию мы также не будем упускать из виду). В этом отношении пальму первенства держит гендерный анализ, к изучению истории России в гендерном измерении мы и обратимся в первую очередь.

Глава 3

ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

Современная западная историография России немыслима без гендерных исследований, которые аккумулируют в себе практически все методологические инновации, представленные в сегодняшней исторической науке. В формулировке Н.Л. Пушкарёвой, это направление современного социального знания, заимствующее подходы и исследовательские приемы из самых разных дисциплин, изучает «бескрайнее поле» влияния фактора пола на социальные процессы¹.

Первыми на «фактор пола» обратили внимание феминисты, и благодаря движению за гражданские права женщин, развернувшемуся в 1960-е годы на Западе, возникла «женская история». В ее задачи входило «сделать женщин видимыми» («making women visible»), т.е. показать вклад женщин – незаслуженно отодвигаемой на задний план «половины человечества» – в мировую историю. Критикуя патриархальную систему ценностей, в основе которой лежало понятие о неукоснительном подчинении женщины мужчине (поскольку по самой своей природе она является существом слабым и физически и морально), феминистская историография особое внимание уделяла механизмам дискриминации и угнетения.

Термин «гендер», введенный в научный оборот медиками и психологами в 1950-е годы, вошел в социальные науки гораздо позднее, причем историки приняли его далеко не сразу, и довольно долго большинство из них использовало термин «гендерная история» в качестве синонима «женской». Поворотным пунктом в движении на первый план гендерной истории в ее современном

¹ Пушкарёва Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. – СПб.: Алетейя, 2007. – С. 6.

виде специалисты считают публикацию в 1986 г. статьи американского социолога Джоан Скотт «Гендер – полезная категория исторического анализа»¹. В сжатой форме в ней представлена программа «лингвистического» и «культурного» поворотов не только для женской социальной истории, но и для исторической науки в целом.

Вполне сознавая проблемы, стоявшие к этому времени перед женской историей, которая не сумела выполнить смелые заявки 60-х годов, страдала описательностью и явно застряла на обочине социальных исследований, Джоан Скотт предложила новые подходы, которые позволили бы действительно переосмыслить и переписать заново историю. Для этого следовало заняться анализом гендерного языка, посмотреть, как и когда возникли восприятие и языковое оформление половых различий (и соответствующие модели предписанного поведения), и сделать предметом изучения не столько женщин или мужчин, сколько гендерную структуру общества – основу социальной иерархии. Для Дж. Скотт гендер являлся «конститутивным элементом социальных отношений, основанных на воспринимаемых различиях между полами», а также «первичным способом обозначения властных отношений», которые он структурировал и легитимировал. Все это вполне укладывалось в постструктуралистские представления философов, психоаналитиков и литературоведов о том, что языковые термины, фиксирующие те или иные различия, в том числе гендерные, способствуют укреплению социально-политического строя. Поставленная Дж. Скотт задача изучения гендерных норм, стереотипов и идентичности обозначила переход от социальной истории к культурной, начавшийся в зарубежной исторической науке в 1980-е годы².

Уже в начале 1990-х годов в США выходит ряд работ, в которых было показано, как категория гендера и гендерный язык подкрепляют ту иерархию, которая строилась на традиционных категориях расы, класса, нации или империи. Гендерные исследования начинают бурно развиваться, в них устанавливается определенная понятийно-аналитическая структура, в рамках которой действуют исследователи. Исходя из того, что половой диморфизм является той физической реальностью, на которой основываются гендерные нормы, представляющие собой «социальные конструкты»,

¹ Scott J.W. Gender: A useful category of historical analysis // American historical review. – Wash., 1986. – Vol. 91, N 5. – P. 1053–1075.

² См.: Meyerowitz J.A history of «gender» // American historical review. – Wash., 2008. – Vol. 113, N 5. – P. 1346–1356.

исследователи выделили три группы характеристик: поло-ролевые стереотипы, поло-ролевые нормы и гендерную идентичность. Соответственно используются и три уровня анализа: индивидуальный, выделяющий гендерную идентичность индивида; структурный, учитывающий статус мужчин и женщин в системе социальных отношений; и культурно-символический, включающий в себя образы «настоящих мужчин» и «настоящих женщин»¹.

Поскольку гендерные нормы усваиваются с раннего детства, они кажутся чем-то изначально данным и неизменным. В этом, собственно, и заключаются причины так называемой «эссенциализации» половых различий, которым приписывается неизменность и, главное, биологическая предопределенность. Под таким углом зрения совокупность женских и мужских качеств трактуется как нечто, данное «от природы». Однако социологические исследования показали, что гендерные представления создаются в ходе социального взаимодействия и являются крайне лабильными, реагируя на малейшие изменения в социуме. Доказано, что нормы маскулинности и фемининности никогда не были монолитными и соединяли в себе ряд противоречащих и взаимодополняющих мотиваций и импульсов. Подчеркивая комплексный характер гендерных представлений, ученые отмечают их воздействие буквально на все сферы человеческой деятельности (2002, 455, с. 2). При этом историки отказываются от «естественных», трансисторических понятий и сосредоточивают свое внимание на том, как изменялись гендерные идеологии во времени и пространстве. Изменения в представлениях о маскулинности и фемининности они связывают с более широкими явлениями общей динамики в социуме, экономике и культуре, такими как возникновение новых социальных групп, рождение наций, новых политических идеологий и взаимоотношений между государством и обществом (2005, 594, с. 2–3).

Нормы и представления о фемининности были достаточно глубоко разработаны уже в женской истории, а по мере утверждения гендерного анализа в исторических исследованиях неизбежно возник интерес и к изучению маскулинности. Он был вызван ясным пониманием того, что каждая сторона в этой бинарной оппозиции определяет другую как свою противоположность. Обе стороны действуют, дополняя и усиливая те или иные качества друг друга, и потому изучение женщин невозможно без столь же глубокого изучения мужчин. Считается, что принцип дифференциации

¹ Пушкарёва Н.Л. Указ. соч. – С. 176.

и отмежевания лежит в основе определения любой идентичности – социальной, культурной, национальной, и гендерной. И на индивидуальном, и на коллективном уровне «свое» не мыслится без «чужого», идентичность не строится без оглядки на «другого». Причем «чужое», наделяемое как отрицательными, так и притягательными чертами, служит для стабилизации «своего».

Начиная с 1980-х годов западная феминистская историография заняла ведущие позиции в повороте к «культурной парадигме». Довольно быстро она начала отходить от марксизма и обратилась к теориям идеологии и субъективности. Теория языка, психоанализ, литературная критика, наряду с идеями таких мыслителей, как Фуко, Лакан, Деррида, стали все шире применяться в гендерных исследованиях, обозначив глубокий интерес к культуре и соответствующим темам. Помимо автобиографии и изучения субъективности феминистская историография большое внимание начала уделять массовой культуре, досугу, потреблению.

Присущий феминизму критический заряд был направлен в первую очередь на классовый анализ, который по определению не мог вместить в себя все многообразие социальной жизни. Кроме того, утверждение, что половые различия являются условными, социально сконструированными и предписанными, ставило под вопрос материалистическое мировоззрение и исподволь разрушало его. «Феминистский вызов» материализму социальной истории Дж. Эли называет «самым результативным» в 1980-е годы. Феминистская критика, пишет он, обычно ставила под сомнение, «дестабилизировала» казавшиеся очевидными категории (например, пол или класс). Такой метод оказывался в чем-то более разрушительным, чем привычное «ниспровержение основ»¹. Постепенно идеи о том, что половые различия касаются всех сфер социальной, культурной и политической жизни, привели к внедрению гендерного анализа в исторические исследования, вытеснению категории класса и фиксации на идентичности индивида.

* * *

Изучение гендерной проблематики в американской историографии России прошло в своем развитии те же стадии, что и гендерные исследования в целом, однако с небольшим отставанием и

¹ Eley G. Op. cit. – P. 173.

некоторыми модификациями¹. Прежде всего, американских русистов миновали «культурные войны», которые разворачивались в мировой феминистской историографии на рубеже 1980–1990-х годов по поводу применения «социального» или же «культурного» подхода. Специфика изучаемого региона, нагруженность дореволюционной и советской истории политическими категориями отодвигали сугубо теоретические вопросы на второй план.

В свое время, в пору расцвета социальной истории, русисты также начали интересоваться проблемами изучения женщин. В центре внимания леворадикальной и феминистской историографии находились тогда такие вопросы, как угнетение женщины, сущность и истоки патриархальной власти, особенности женского мировоззрения и становления личности, борьба женщин за свои права. Как и их коллеги по историческому цеху, американские русисты стремились писать «her-story» («ее историю») в противоположность старой «his (s)tory» («его истории»).

В 1970–1980-е годы вышло много работ, посвященных русским женщинам, главным образом представительницам интеллигенции и революционеркам, а также истории феминизма. Началось активное изучение истории семьи². К концу 1980-х годов круг проблем значительно расширился, американские историки-русисты обратились к изучению женщин низших классов. По выражению Барбары Энгель, они предприняли «хождение в народ», сопряженное со многими трудностями – в первую очередь, с отсутствием адекватных личных источников, не говоря уже о тех социальных, культурных и психологических барьерах, которые сильно затрудняли проникновение в мир традиционной культуры и понимание мировоззрения крестьянок и работниц³.

¹ См.: Большакова О.В. История России в гендерном измерении: Современная зарубежная историография: Аналитический обзор. – М.: ИНИОН РАН, 2010.

² Bergman J. Vera Zasulich. – Stanford: Stanford univ. press, 1983; Clements B. Bolshevik feminist: The life of Alexandra Kollontai. – Bloomington: Indiana univ. press, 1979; Engel B.A. Mothers and daughters: Women of the intelligentsia in nineteenth century Russia. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1983; Stites R. The women's liberation movement in Russia: Feminism, nihilism and bolshevism, 1860–1930. – Princeton: Princeton univ. press, 1978; The family in imperial Russia: New lines of historical research / Ed. by Ransel D. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1978. Подробнее см.: Пушкарёва Н.Л. Русская женщина: История и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800–2000: Материалы к библиографии. – М.: Ладомир, 2002.

³ Engel B. Engendering Russia // Slavic review. – Chicago, 1992. – Vol. 51, N 2. – P. 5.

Этапными событиями стали международная конференция и выпущенный по ее итогам сборник, в котором особое внимание уделялось исследованию крестьянок пореформенного времени, их повседневной жизни, правового положения в семье и обществе, культуры и мировоззрения¹. По-прежнему главной темой оставалось угнетение женщин, их дискриминация по половому признаку, однако общая тягостная картина обогатилась новыми, более позитивными штрихами. Оказалось, что «забытые крестьянки» зачастую выказывали немалую предприимчивость и отнюдь не всегда были пассивными жертвами патриархальной системы, они умели приспосабливаться к ней и использовать ее в своих интересах (см.: 1992, 32, 33; 1994, 96).

Что касается советской эпохи, то эта область исследований складывалась в противостоянии с официальной советской историографией, подчеркивавшей успехи и достижения «освобождения женщины при социализме». Не отрицая, что революция дала советским женщинам беспрецедентные права, американские историки обращали внимание на реалии, которые были далеки от того, что продекларировала власть: на женскую безработицу, проституцию, бедность, тяготы советского быта, наконец, на признаки угнетения женщины как в политике, так и в семье и на рабочем месте. Особо подчеркивалась двойная, и даже тройная, нагрузка советской женщины, которая после получения всей полноты гражданских прав была вынуждена совмещать домашний труд и выполнение материнской функции с работой на производстве². Считая, что освобождение женщины при социализме так и не состоялось, американские русисты были склонны говорить о расширении сферы ее эксплуатации.

Так или иначе, за первые 20 лет своего существования социальная история женщин заложила прочный фундамент для последующих исследований гендерной проблематики. Немалую часть этого фундамента составили также исследования по истории русской литературы и культуры в целом, которые активно развива-

¹ Russia's women: Accommodation, resistance, transformation / Ed. by Clements B.E., Engel B.A., Worobec Ch.D. – Berkeley: Univ. of California press, 1991.

² Bridger S. Women in the Soviet countryside: Women's roles in rural development in the Soviet Union. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1987; Lapidus G.W. Women in Soviet society: equality, development, and social change. – Berkeley: Univ. of California press, 1978; Women, work, and family in the Soviet Union / Ed. by Lapidus G.W. – Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1982 и др.

лись на Западе в 1970–1980-е годы¹. К началу 1990-х годов многие американские историки-русисты осознали значение категории пола для более глубокого понимания важнейших проблем российской истории. Как отмечал тогда американский историк У. Розенберг, «вопросы о значении понятий “мужской” и “женский” в социально-культурном плане, о качествах, присущих полам и отраженным в представлениях о мужественности и женственности, о том, как эти понятия влияли на семейные отношения, трудовые процессы, на формирование классов, моделей специализации, политики и государственных структур ... были совсем недавно сформулированы и не очень глубоко исследованы»².

В 1990–2000-е годы гендерный подход все активнее применялся американскими русистами в условиях, когда культурная история выдвигалась на господствующие позиции. В значительной мере переориентировалась и социальная история, поставившая во главу угла изучение идентичностей. Поскольку в центре внимания оказалась триада «гендер, этничность, класс», стало уже не так легко «отодвинуть» историю женщин в сторону от якобы магистральных путей развития науки.

До окончания холодной войны женская история, как и другие направления в изучении истории России, страдала из-за закрытости СССР для иностранцев, ограниченного доступа к архивам, невозможности проводить устные опросы. В конце 80-х положение дел в этом отношении кардинально изменилось: увеличилось количество работ по социальной истории женщин, были предприняты шаги по переводу и публикации мемуаров и архивных документов, значительно расширилась проблематика исследований. Наряду с по-прежнему популярными в 1990-е годы сюжетами о революционной деятельности женщин (1993, 55; 1994, 90; 1997, 206; 2000, 335) появились исследования, посвященные более «мирным» вопросам: женской благотворительности и профессиональной деятельности – учительству, журналистике (1994, 121; 1996, 181; 2001, 384). В социальной истории советских женщин помимо традиционных проблем женского угнетения и сопротивления большое

¹ См., в частности: Heldt B. Terrible perfection: Women and Russian literature. – Bloomington: Indiana univ. press, 1987; Hubbs J. Mother Russia. The feminine myth in Russian culture. – Bloomington: Indiana univ. press, 1988, etc.

² Розенберг У. История России конца XIX – начала XX в. в зеркале американской историографии // Россия XIX–XX вв. Взгляд зарубежных историков. – М.: Наука, 1996. – С. 21.

внимание стали уделять правительственной политике в области семьи (1993, 56), причем наблюдается явный сдвиг в сторону идеологии и репрезентаций. Публикуются интересные и содержательные сборники в сотрудничестве с российскими и украинскими коллегами (1992, 33, 43; 1996, 199). Обретает свое место и устная история (2000, 350).

В 1990-е годы активнее всего гендерный анализ внедряется в исследования литературы и культуры. Наряду с изучением таких традиционных для литературоведения тем, как женщины-писательницы или «женский вопрос» в произведениях того или иного классика (1994, 129, 134; 2001, 378), ставятся проблемы нового порядка, с отражением их в названиях соответствующих сборников: гендер и русская литература, сексуальность и тело в русской литературе и культуре, самовосприятие женщин в русской культуре (1993, 73; 1996, 176, 189; 1998, 279; 2001, 375, 376). Отвоевывает себе место гендер и в социальной истории женщин: целый ряд исследователей использует эту категорию, рассматривая, например, место «женского вопроса» в идеологии большевиков или же политику сталинского государства в области промышленности (1997, 241; 2002, 417, 428).

На протяжении последних двадцати лет социальная история женщин и гендерные исследования в американской русистике развивались во взаимном притяжении, обогащаясь методологическими подходами и фактологическими находками. Так, социальная история женщин сегодня интересуется не столько проблемами угнетения и сопротивления, сколько изменением социального статуса женщин, повседневностью и трансформацией идеалов фемининности. Гендерные исследования, по-прежнему адресуясь в первую очередь к изучению предписанных норм и моделей, обогащаются присущим социальной истории интересом к «живому опыту». С утверждением в американской русистике «новой культурной истории» гендерный анализ стал неотъемлемой частью многих исследований, посвященных самым разным темам – таким, например, как становление новой советской идентичности или формирование культуры потребления в СССР в рамках особой, «советской» модерности. В структурном отношении это может быть глава в монографии, несущая, однако, огромную смысловую нагрузку и органически связанная с остальным исследованием, как в монографии Джона Рэндолфа о русском идеализме, к которой мы обратимся позднее. А может, как в уже упоминавшейся ранее работе Ричарда Стайтса, посвященной истории культуры крепост-

нической России, пронизывать весь текст, демонстрируя гендерное измерение актерской профессии или музыкального исполнительства (2005, 627).

Однако нельзя сказать, что категория гендера завоевала всеобщее признание в американской русистике. Бывает и так, что в работах средней руки заведомо политкорректная «женская» или «гендерная» тематика присутствует вполне формально. И справедливости ради следует отметить, что в американской историографии России существует довольно большой пласт литературы, полностью игнорирующей и достижения женской социальной истории, и новые перспективы, предлагаемые гендерным анализом. Тем не менее достижения эти неоспоримы, они внесли в историю России новое – гендерное – измерение, значительно обогатив общую картину не просто новыми штрихами и красками, но в ряде случаев изменив саму перспективу. Коснулись они и такой важной вещи, как периодизация.

Одной из задач, выдвинутых в свое время первым поколением женских историков на Западе, был пересмотр схем исторической периодизации, которая прежде основывалась исключительно, как считалось, на истории мужчин. Неудивительно, что к этой проблеме обратились и русисты, поскольку «новая хронология», будучи наиболее общим мерилем научных достижений, неизбежно придает вес любой отрасли исторического знания, особенно такой «вызывающей» с точки зрения научного истеблишмента, как женская история. Кроме того, сама задача создания хронологической схемы побуждает к осмыслению того, что уже сделано предшественниками, и дает необходимую опору для последующих исследований.

Первые шаги в этом направлении были сделаны в уже упомянутом здесь сборнике «Русские женщины» (см. сноску на с. 86), который подвел определенную черту под тем, что было сделано в области женской истории в 1970–1980-е годы. В центре предложенной авторами-составителями Б. Клеменц, Б. Энгель и К. Воробек концепции находился социальный (жизненный) опыт женщин, и основанием для нее служили ключевые для социальной истории категории приспособления, сопротивления и трансформации. По мнению этих исследовательниц, в истории русских женщин просматриваются два крупных периода. Первый соответствует эпохе традиционного общества, он характеризуется преимущественно «приспособлением» женщин к существующей патриархальной системе. Формы женского сопротивления патриархальной власти проявлялись в этот период на микроуровне отдельной семьи или

общины, их часто трудно отличить от успешного приспособления. Сущность второго периода, соответствующего эпохе индустриального, вестернизированного общества, составляет «трансформация» – процесс превращения женщины в независимую личность, который начался в России после реформ Петра I и первоначально коснулся только столичной элиты. В провинции дворянки сохраняли традиционный образ жизни приблизительно до середины XIX в., а для крестьянок эпоха глубоких социальных изменений началась не ранее 1880-х годов. Таким образом, хронологическая граница между двумя периодами оказывается весьма подвижной.

Для традиционного периода характерна патриархальная система ценностей, которая, как отмечают исследователи, мало отличалась от западноевропейской. Важнейшим источником гендерных представлений о том, что есть женщина, являлась православная церковь, предлагавшая, однако же, крайне противоречивый образ, построенный на бинарных оппозициях. С одной стороны, женщина – «сосуд дьявольский», грешница, соблазнительница, искушение для мужчин, лживая и бессовестная, ненасытная и неукротимая; с другой – благочестивая, жертвенная мать и супруга, скромная и трудолюбивая, во всем подчиняющаяся своему мужу. В интерпретации социальных историков, в условиях традиционного общества и положительный, и отрицательный образ женщины работали на ее подчиненное положение в семье и социуме.

Западные русисты сходятся во мнении, что XVIII век был ключевым периодом в изменении статуса женщины как в обществе, так и в семье. Важнейшую роль здесь сыграли реформы Петра I, причем не только общеизвестные указы, потребовавшие от дворян одеваться и вести себя в соответствии с европейскими нормами, но и закон 1716 г. о собственности в браке, и идеи о женском образовании. Отмечается, что указ об ассамблеях создал новые публичные пространства, в которых женщины начинают играть важную социальную роль. Предписанные нормы рыцарского поведения и учтивости в высшем обществе обозначили радикальные изменения в кодах гендера и сексуальности, явились первым примером вторжения верховных властей в детерминирование восприятия, репрезентации и социальных последствий женской самостоятельности (2001, 375, с. 5). Все это постепенно подрывало домостроевскую модель брака и отношений между полами. Изучение ближайших и отдаленных последствий петровских преобразований осуществляется в американской и британской русистике в рамках исследова-

ний так называемого «длинного XVIII века» (1700–1825)¹, однако в ряде случаев хронологическая граница этого периода отодвигается к 1830–1840-м годам, а иногда и к 1860 г. Это имеет под собой серьезные основания, поскольку другой важной вехой в области женской истории изначально считалась эпоха реформ 1860–1870-х годов, когда произошли серьезные изменения в социальном положении женщин (они получили доступ к образованию, значительно расширилось их участие в общественной жизни).

Эпоха Великих реформ поставила на повестку дня так называемый «женский вопрос». В эти годы – значительно позднее, чем в Западной Европе и Америке, – в Российской империи возникает движение женщин за свои права, хотя круг требований был тогда еще довольно ограничен. Он включал в себя возможность доступа к высшему образованию, к занятию определенными профессиями (в первую очередь, медицинскими) и расширение юридических прав. Только после революции 1905 г. возникает движение за предоставление женщинам избирательных прав. Характерной особенностью России по сравнению с Западом признается активное участие женщин в революционном движении.

Урбанизация, а затем форсированная индустриализация конца XIX в. явились важнейшими факторами, не только ускорившими изменения в социальном положении женщин, но и значительно расширившими их масштабы; они способствовали вовлечению в этот процесс крестьянок и работниц. Как отмечают исследователи, низшие слои общества совершенно иначе ощущали на себе воздействие петровских преобразований, реформ 1860–1870-х годов и индустриализации. Их переход от традиционной патриархальности к буржуазным социальным моделям происходил гораздо медленнее и к 1917 г. еще далеко не был закончен. Декреты Временного правительства и советской власти, даровавшие женщинам все мыслимые гражданские свободы, легли, таким образом, на достаточно

¹ Многое в этом направлении делает британская Группа по изучению XVIII в. (Study group on eighteenth-century Russia) – режим доступа: <http://www.sgscr.co.uk>. Среди серьезных работ, выпущенных британцами, нельзя не назвать наряду с монографией Саймона Диксона труды Линдси Хьюз (1949–2007): Dixon S. Catherine the Great. – 1 st U.S. ed. – N.Y.: Ecco, 2009; Hughes L. Sophia, Regent of Russia, 1657–1704. – New Haven: Yale univ. press, 1990; Eadem. Russia in the age of Peter the Great. – New Haven: Yale univ. press, 1998 и др. А также сборник ее памяти: Personality and place in Russian culture: Essays in memory of Lindsey Hughes / Ed. by Dixon S. – L.: MHRA, 2010.

неоднородную социальную почву, где патриархальные структуры сочетались с ростками нового¹.

Советская эпоха, казалось бы, вполне отвечает всем критериям периода «трансформации», когда происходил процесс освобождения женщины и формирования ее как независимого социального субъекта. Тем не менее сам факт обретения женщинами всей полноты гражданских прав заставляет социальных историков проводить четкую границу между дореволюционной и советской эпохами и считать революцию «разрывом», переломным моментом в периоде трансформации. Ключевую роль здесь играет избранная точка отсчета – социальный опыт женщин, который трактуется с позиций институционального подхода. Соответственно превалирует убеждение, что в основе этого опыта лежат юридически закрепленные права; сохраняется и привычка опираться в своей работе в первую очередь на правовые акты и только затем «поверять» их практикой. Исследования, уделяющие большее внимание повседневной жизни и микроистории, обнаруживают в советской эпохе многие явления, корнями уходящие в дореволюционное прошлое, а правовые нормы интерпретируют как механизмы, закрепляющие уже существующую практику. И все же в основе выделения отдельного советского периода чаще всего лежит убеждение в уникальности «социалистического эксперимента».

Предложенная социальными историками периодизация, основанная на категориях опыта и статуса, не во всем совпадает с общепринятой. Более того, она ставит ряд серьезных вопросов, поскольку совершенно определенно демонстрирует, что проводившиеся «сверху» изменения очень медленно достигали низов общества, для которых периодизация оказывается иной. Эта многослойность требует более гибкого и вместе с тем строгого подхода к хронологии, который учитывал бы одновременное существование «разных реальностей» на разных уровнях социальной иерархии.

Исследования маскулинности, к которым американские русисты подключились совсем недавно, принадлежат уже другому историографическому времени, когда существенно изменились как методы, так и представления об общем ходе исторической эволюции России. Наступил расцвет «новой культурной истории», которая привнесла в историографию свое понимание значимых для общей хронологии явлений и процессов. В центре ее внимания

¹ Russian women, 1698–1917: Experience and expression, an anthology of sources / Comp. and ed. by Bisha R. et al. – Bloomington: Indiana univ. press, 2002. – P. 3–15.

находятся идеи и культурные практики, не знающие государственных границ, что позволяет приблизить хронологию истории России к общеевропейской. Кроме того, избранный угол зрения, освобожденный от жестких ограничений «нарратива прогресса», который обыкновенно подчеркивает разрывы в ходе исторического развития, ярче высвечивает элементы преемственности. Тем не менее петровская «революция сверху» признается и в данном случае важным водоразделом. Именно тогда на передний план выходит новый тип мужественности, освобожденный от православного смирения и аскетизма, наполненный новым светским содержанием (2002, 455, с. 18).

Избрав в качестве опоры изменения в гендерных стереотипах и нормах, «новая культурная история» выделяет переходный период от «эгалитаризма» эпохи раннего Просвещения, когда женщины и мужчины считались (относительно) равными, к иерархическому дискурсу романтизма 1830-х годов с его гипертрофией маскулинности. Переход начался в 1790-х годах и был связан с утверждением в России идеологии «разделенных сфер», отводившей женщине роль «хранительницы очага». Эта идеология способствовала возникновению нового, буржуазного идеала семьи (который парадоксальным образом утвердился сначала в императорской фамилии) и затем – индивидуалистического буржуазного типа маскулинности.

Так же как и в женской истории, 1880-е годы, а в особенности рубеж веков, оказываются периодом общего ускорения изменений в статусе и образе жизни всех социальных слоев, однако прочитывается это уже по-иному. Отличительной чертой современных исследований является внимание к кризису маскулинности, который начался в Европе в конце XIX в. и в полной мере проявился в России перед Первой мировой войной. В этот период возникает новый тип «милитаризованной мужественности», переходный по отношению к гипермаскулинному образу «нового советского человека» (там же, с. 194). Исследователи отмечают глубинный характер мощных трансформаций, протекавших в российском обществе в эпоху модерности (1880–1930-е годы), и рассматривают формирование в этот период новых гендерных идентичностей, не замыкающаяся в узких рамках советского периода.

Уделяя большое внимание гендерному порядку эпохи сталинизма, «новая культурная история» учитывает и поколенческое измерение, что позволяет, с одной стороны, подчеркнуть преемственность между довоенным и послевоенным временем, с другой –

показать более сложную картину общества, в котором сосуществовали разнообразные варианты женственности и мужественности. Однако в том, что гендерный порядок 1960–1980-х годов был гипермаскулинным, жестко иерархическим, историки сходятся почти единодушно.

Гендерная история России, основываясь на периодизации, принятой в зарубежной исторической науке и литературоведении, выделяет два особенно значимых периода, во время которых происходили глубинные трансформации в конфигурации семьи и гендерных идентичностей: 1780–1840-е годы и 1880–1930-е годы. Первый из них, ассоциирующийся в литературоведении с последовательно сменившимися друг друга эпохами сентиментализма и романтизма, в социальном отношении характеризуется становлением в Европе среднего класса и формированием его идеологии. Важной составляющей системы ценностей среднего класса являлась так называемая «идеология разделенных сфер», согласно которой участие женщины в жизни общества должно ограничиваться домом и семьей, а мужчине предоставлялось широкое поле деятельности в публичной сфере. В соответствии с логикой экономического детерминизма, принятой в социальной и политической истории России, такой переход обычно относили ко второй половине XIX в., когда там, как считается, начал возникать свой средний класс. Иной угол зрения, предложенный культурными историками, позволил не только пересмотреть привычную хронологию, но и откорректировать саму концепцию публичного и частного, их соотношение, значение и роль в социуме¹.

В монографии Джона Рэндолфа «Дом в саду: семейство Бакуниных и традиции русского идеализма» (2007, 713), которую сам автор назвал «культурной историей частной сферы», на первый план выдвигается идея о том, что семья и частная жизнь играют не меньшую роль в функционировании общественного организма, чем так называемая «публичная сфера». Этот тезис он доказывает, основываясь на современных достижениях историографии Западной Европы, которая давно уже проявляет интерес к семейной жизни не только как к фактору поддержания политической стабильности, но считает ее также важнейшей составляющей

¹ Особое значение для изучения этой темы имеют работы британской исследовательницы Катрины Келли. См., в частности: Kelly C. *Refining Russia: Advice literature, polite culture, and gender from Catherine to Yeltsin*. – Oxford: Oxford univ. press, 2001.

в процессе формирования идентичности и системы ценностей среднего класса. Для автора монографии Россия составляет неотъемлемую часть Европы, и свое исследование он вписывает в широкий контекст культурных и социальных трансформаций, происходивших на европейском континенте в 1780–1830-е годы.

Книга отличается изяществом построения и состоит из двух частей («Идиллия» и «Роман»), каждая из которых посвящена решению определенных исследовательских задач. В первой части подробно, на основе архивных материалов, рассказывается об истории семьи Бакуниных и о той особой, в чем-то экспериментальной по своему характеру жизни, которую вели они в своем поместье Премухино. Рэндолф исследует «премухинскую идиллию» во всей полноте, начиная с 1780-х годов, когда Бакунины приобрели поместье и перебрались туда на постоянное жительство. Фактически это подготовка сцены, на которой в 1830-е годы будет разворачиваться действие «романа» – обстоятельств формирования русского идеализма, чему полностью посвящена вторая часть монографии.

«Сцена» прописана подробно и основательно, начиная с изменяющегося социального контекста и кончая расстановкой действующих лиц. Стоит отметить, что избранный автором угол зрения позволяет ему откорректировать бытующие в историографии представления о том, что после Манифеста о вольности дворянской 1762 г. многие дворяне «демонстративно» удалились в деревню и тем самым отказались от участия в общественной жизни¹. Он увязывает это массовое явление с намерениями власти, а именно с «цивилизаторским проектом» Екатерины II, задавшей целью создать в провинции силами местных помещиков «общество». Причем немаловажное место в программе правительства занимали ценности, ассоциирующиеся с семьей, что позволяет автору говорить о совершенно определенной политике по отношению к частной жизни (2007, 713, с. 38). Это подтверждается и явной социальной направленностью, просматривавшейся в организации Смольного института: воспитывать просвещенных дочерей, жен и матерей, которые затем понесут цивилизацию в провинцию. Екатерининские преобразования, по словам автора, придали дворянству статус «свободных граждан, живущих частной жизнью в деревне». Они,

¹ Концепция Марка Раева о «двойном отчуждении» европеизированного дворянства от государства и от народа аргументированно критикуется в статье: Marrese M. «The poetics of everyday behavior» revisited: Lotman, gender, and the evolution of Russian noble identity // Kritika. – Bloomington, 2010. – Vol. 11, N 4. – P. 701–739.

как пишет Рэндолф, создавали новые социальные нормы для дворянства в частной сфере и учили его, как пользоваться своей недавно обретенной свободой в интересах государства (2007, 713, с. 32–34).

В свете современных представлений, укореняющихся в американской историографии, которая предпочитает подчеркивать связи, а не противоречия между властью и обществом, публичной и частной сферами, тот факт, что во второй половине XVIII в. в Тверской губернии возникает множество помещичьих домов, выстроенных в неоклассическом духе, в окружении «регулярных» садов и романтических парков с каскадами прудов, гротами и руинами, которые копировали столичные дворцы, воспринимается автором как свидетельство не столько отчуждения многих дворян от общества, сколько их стремления продемонстрировать свою принадлежность к элите и соответствие самым высоким стандартам. При этом широко известный «роскошный и театрализованный образ жизни» в русских усадьбах того времени он трактует как «приватизацию» тех практик, которые ранее были приняты исключительно при дворе (там же, с. 38–39).

Новые дворянские усадьбы, в изобилии появившиеся в России во второй половине XVIII в., позволяли их благородным обитателям выказать свое отличие от окружающих, что явилось важным моментом в становлении дворянской идентичности. Автор проводит параллели с Западной Европой, где в этот период происходило формирование идентичности среднего класса, однако насколько тождественны были эти процессы – вопрос спорный и требует дальнейшего изучения. Вместе с тем сам материал книги подводит читателя к заключению, что в то время как «там» формировалось буржуазное общество, с его четким разделением на частную и публичную сферы, «у нас» шел процесс освобождения дворянства и его оформления как благородного сословия.

Автор уделяет особое внимание методам, или «культурным практикам», посредством которых русское дворянство утверждало свое высокое положение, и демонстрирует их на примере семьи Бакуниных. Центральное место в первой части книги занимает история Александра Михайловича Бакунина (1768?–1854), которого родители срочно отзывали со службы в Сардинии, чтобы он спас имение от долгов. Именно он, выйдя в чистую отставку и оказавшись в 23 года в деревенской глуши, замыслил «премухинскую идиллию», но воплотить ее в жизнь сумел лишь через 20 лет, когда после смерти матери стал в 1814 г. полноправным хозяином поместья. К этому времени он уже был женат на юной Варваре Му-

равьёвой, один за другим в семье родились дети, в том числе и сын Михаил, который впоследствии стал знаменитым революционером-анархистом. Эта большая шумная семья прославилась далеко за пределами Тверской губернии, все поражались семейной гармонии, которая царил в Премухине.

В книге подробно прослеживается, как замысливалась «идиллия», какие трудности испытывал Александр Михайлович в процессе ее осуществления и что из этого вышло. Первое, что требовалось сделать, – осознать значение деревенской жизни и себя как деревенского жителя, частного человека. Рэндолф фиксирует этапы становления нового мировоззрения своего героя с исключительной деликатностью. По мнению автора, большую роль в формировании у Бакунина преданности дому и домашней жизни в деревне сыграл его друг, известный архитектор, изобретатель, ученый, поэт и литератор Н.А. Львов (1751–1803). В книге подчеркивается, что в представлениях Львова и кружка, к которому он принадлежал (среди его членов были Г.Р. Державин, В.В. Капнист, В.Г. Боровиковский), домашняя жизнь вполне вписывалась в современный им политический и социальный контекст, когда, с одной стороны, происходила выработка системы ценностей и поведенческих норм русского дворянства, с другой – под влиянием Французской революции во всей Европе критически пересматривались основные идеи Просвещения. Однако насколько эта модель, неотделимая от сентиментализма 1780-х годов, была уместна в 1810–1820-е годы, когда Бакунин создавал свою семейную «идиллию», и в особенности в 1830-е годы, остается неясным.

Вслед за А.М. Бакуниным на сцену выводятся и другие действующие лица – три его незамужние сестры, водворившиеся неподалеку в селе Козицыно, где они посвятили себя религии и самосовершенствованию¹. Обращаясь к теме женского благочестия,

¹ Женская социальная история внесла большой вклад в изучение религии и религиозности. Подробнее об этом см.: Большакова О.В. Религия и церковь в жизни русской женщины (X – начало XX в.). (Обзор) // История России в зарубежной науке. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – Ч. 2. – С. 90–107. Исследование русского православия и старообрядчества методами гендерного анализа многое прояснило в понимании глубинных трансформаций 1780–1860-х годов, показало эволюцию моделей семьи и связь между изменением гендерных норм и формированием системы ценностей среднего класса на самом нижнем уровне социальной иерархии. Особенно хотелось бы отметить работы Ирины Пярт (Коровушкиной), в частности: Paert I. Old Believers: Religious dissent and gender in Russia, 1760–1850. – Manchester, UK; N.Y.: Manchester univ. press, 2003.

автор предлагает интерпретации, свойственные культурно-историческому подходу с его интересом к внутреннему миру индивида. Чтение французских католических писателей-мистиков наряду с традиционной православной литературой способствовало обретению понятия о «внутренней жизни» и развивало глубокое чувство духовного призвания.

По мере того как дети выросли, разрастались внутрисемейные конфликты и ставили под вопрос «отцовский миф о природной гармонии Премухино» (2007, 713, с. 106). Изменялся и социальный контекст. В центр системы ценностей династии в царствование Николая I, по словам автора, была поставлена семья – императорская фамилия представала теперь в качестве «воплощения нации», а Николай I – «любящего отца империи» (Рэндолф, опираясь на известную работу Р. Уортмана, видит в этом «попытку кооптировать ценности частной жизни в контекст идеологии империи»). Кроме того, был разработан план образовательных реформ, предполагавший «превращать чувствительных юношей из образованных семейств в лояльных и эффективных подданных», соответствующих «административному идеалу» (2007, 713, с. 141–142). В университетах николаевского времени было выращено поколение выдающихся чиновников, впоследствии подготовивших и осуществивших Великие реформы¹. Однако там зародилась и идеалистическая традиция прочтения немецкой философии, раскрывшаяся в деятельности кружка Станкевича, А.И. Герцена, Н.П. Огарёва.

Этому сюжету посвящена вторая часть книги, в которой автор сознательно дистанцируется от своих предшественников и от исторической мифологии, восходящей к работам А.И. Герцена, П.В. Анненкова, А.Н. Пыпина. Он дает понять, что наряду с Московским университетом не меньшую роль в оформлении кружка Станкевича сыграло Премухино с его просвещенной семейной гармонией. Именно этот дворянский дом молодые идеалисты избрали в качестве «сцены», на которой они выковывали себя как «истинных кантианцев». Рэндолф оспаривает и традиционный акцент на оппозиционности Станкевича, Бакунина, Белинского. По его словам, в 1830-е годы в Премухине эти молодые люди стремились найти воплощение своих представлений о семейном счастье, дворянском благородстве и идеальной женственности – понятиях, вполне официально одобряемых в николаевской России (там же, с. 145).

¹ См. об этом работы Ребекки Фридман: Приложение, 2002, 455; 2005, 594.

Корректирует Рэндолф и сложившуюся в XIX в. традицию избегать женской темы при исследовании частной жизни, или же, как это наблюдалось в трудах Л.Я. Гинзбург, принижать роль женщин в интеллектуальной сфере. Не согласен он также с трактовками, представленными в западных исследованиях русского феминизма, в соответствии с которыми женщины были не только музами, но и жертвами умственных построений мужчин («метафизических погромов», по выражению Р. Стайтса). Исправить положение позволяет привлечение новых источников из семейного архива – в первую очередь, переписки сестер Бакуниных. Однако и без этого ясно, что главную роль в жизни семьи Бакуниных в 1830-е годы играли старшие сестры – Любовь, Варвара, Татьяна и Александра, именно они были тогда «лицом» Премухина. На основании архивных материалов автор реконструирует процесс взросления «провинциальных барышень», которые, однако же, значительно отличались от своих современниц. Хотя в их просвещенном доме, как и во всем обществе, царили тогда патриархальные понятия, сестры Бакунины не спешили становиться женами и хранительницами очага. В начале 1830-х годов они были увлечены вопросами духовного развития и самосовершенствования. Подвергая себя неустанному самоанализу, девушки стремились к моральной независимости и боролись за то, чтобы самим творить свою жизнь, которая, однако, ни в чем не должна была противоречить христианской добродетели. Все это, по словам автора, создало в Премухине то интеллектуальное пространство, где оказалась всерьез востребована идеалистическая философия (2007, 713, с. 150).

Рэндолф не разделяет привычные объяснения необыкновенной погруженности в любовь, которую демонстрируют письма Станкевича, тем, что в «суровой действительности» николаевской России даровитый юноша не мог найти соответствующего приложения своим силам. Отраженные в переписке Станкевича перепады его романтических отношений с Л. Бакуниной рассматриваются в книге как «роман воспитания» (*Bildungsroman*), поскольку именно эта «особенная» семья олицетворяла те идеалы, которые легли в основу его работы по формированию своего мировоззрения и «построению себя» как зрелой, самостоятельной личности, способной к активной социальной деятельности (там же, с. 180–181).

Не менее важной для судеб русского идеализма оказалась возникшая на почве интереса к немецкой философии дружба Станкевича и Михаила Бакунина, только что окончившего Артиллерийское училище. Как известно, пример Станкевича вызвал у

многих его талантливых товарищей по университету увлечение немецким идеализмом. Его испытали В.Г. Белинский, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев, но самым большим энтузиастом стал именно М.А. Бакунин. Он проповедовал немецкую философию всем, включая дам, и в особенности своим сестрам.

Центральное место в предлагаемом Рэндолфом «романе воспитания» занимает коллизия, связанная с неудачным браком Варвары, вышедшей за уланского офицера Дьякова. В знаменитом «освобождении Вареньки» – заговоре, составленном Михаилом среди своих друзей с целью отправить сестру за границу, – он выступил в роли избавителя и «проповедника правды» в духе Фихте. Существенное место в его построениях занимали этические вопросы, связанные с неравенством женщины в современном им обществе.

События разворачивающегося «романа» со всей очевидностью демонстрируют мифологический характер «премухинской идиллии». Ее критика впервые в полный голос прозвучала со стороны Белинского, посетившего «Аркадию» осенью 1836 г. Тем не менее все, что он увидел и почувствовал в Премухине, стало неотъемлемой частью его собственной «истории развития». Отталкиваясь от полученного опыта, он разрабатывает свою концепцию «реальной действительности» и начинает размышлять о «больной русской женственности», чему в последующие годы он уделит много внимания.

Именно идеалисты 1840-х годов впервые поднимают пресловутый «женский вопрос», пытаются критически переосмыслить систему патриархальной власти, основанную на «угнетении женщины», и по-новому решить проблему отношения полов. Родоначальники русского философского идеализма явились в данном случае предтечей нигилистов, во многом предопределив темы горячих общественных дискуссий 1860-х годов по «женскому вопросу»¹.

Таким образом, николаевское царствование, которое историки вслед за Герценом давно заклеили как один из самых «мрачных» и «безысходных» периодов в истории России, для историков культуры и гендера означает нечто совсем иное. Для них это эпоха романтизма и национализма, эпоха торжества «ценностей домашней жизни», наконец, вызревания новых интеллектуальных течений и последующих реформ.

¹ См. также: Frede V. A radical circle confronts a radical woman: M.L. Ogareva, the Westernizers, and the problem of individualism in the 1830 s-1840 s // *Jahrbucher für Geschichte Osteuropas*. – Wiesbaden, 2006. – Bd 54, H. 2. – S. 161–189.

«Гендерное измерение» предлагает совершенно новый взгляд и на период 1880–1930-х годов, который традиционно ассоциируется с эпохой индустриализации, войнами и революциями, вслед за которыми последовало становление нового социалистического государства. Центральное место в изучении начала XX в. отводится таким темам, как война и национально-государственное строительство, поскольку взаимосвязь гендера и национальной идентичности является в данном случае ключевой.

Замечено, что перераспределение гендерных ролей происходит особенно активно в годы резких политических перемен и переворотов. Исследователи Западной Европы сходятся во мнении, что возникший там в конце XVIII в. под влиянием войн и революций новый стереотип мужественности включил в себя такие черты, как героизм, дисциплина и способность пожертвовать своей жизнью во имя высокой цели. Русисты также обратились к изучению радикальных изменений в концепциях патриотизма, гражданства, гендера, которые происходили в кризисную для России эпоху начала XX в.

В монографии Дж. Санборна (2003, 515) рассматривается национально-государственное строительство в период 1905–1925 гг., который характеризовался активной милитаризацией общества, тектоническими сдвигами в конфигурации социальных, национальных и гендерных идентичностей. Констатируя возникновение в России начала XX в. «новой маскулинности», носившей военизированные черты, Санборн выдвигает идею, что в период между революцией 1905 г. и сталинской «революцией сверху» имела место революция гендерная, направленная не на освобождение женщины, а на освобождение юношей от оков патриархальной власти (2003, 515, с. 161). Суть ее заключалась в «национализации» маскулинности, когда идеалу мужчины были приданы национальные качества, а главной, системной, чертой явилось то, что «производство» идеалов мужественности было изъято из рук тех, кто обычно их создавал, – церкви, общины, семьи, отдельных выдающихся личностей. Начиная с Первой мировой войны этот процесс перешел в руки институтов массовой пропаганды, образования и, главное, армии (там же, с. 132–133).

Свои построения автор основывает на том значении, которое метафора семьи имеет для единения нации и мобилизации населения. Причем в России, считает он, наиболее могущественным из институтов, использовавших метафоры родства, была армия. Именно армия в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны, играла в первой трети XX в. ведущую роль в

сплочении нации на новых основах, присущих эпохе модерности. Она являлась в этот период физическим воплощением нации и символическим братством солдат-граждан (2003, 515, с. 5).

Санборн прослеживает, как царским правительством создавались законы, укреплявшие связь между солдатом-гражданином, его семьей и государством и ставившие во главу угла семейные ценности. Эту политическую линию продолжили затем и большевики, которые позаимствовали у своих предшественников метафору семьи как прототипа нации. В политической риторике большевиков и страна, и армия, и любое воинское подразделение уподоблялись семье, что должно было порождать верность, ощущение близости и единства, причем, считает Санборн, эта политика была осознанной (там же, с. 103).

В начале XX в. на смену патриархальным семейным символам, в первую очередь фигуре «отца», приходит символ братства, значение которого начали особенно остро осознавать в годы Первой мировой войны, когда стало понятно, что победа зависит в первую очередь от простого солдата (там же, с. 110–111). В эти годы слово «братство» было у всех на устах, что обозначало, по словам Санборна, начало разрушения традиционных иерархий, основанных на метафоре отцовской власти. Возникшая в военных кругах идея укрепить братские связи между офицерами и солдатами не была реализована при царском режиме, но получила вполне революционный характер, став лозунгом широких масс.

«Братство» неизбежно ассоциировалось в годы революции с «равенством», в армии оно было институционализировано в форме солдатских комитетов и товарищеских судов, а также в запрещении носить знаки отличия. И хотя с приходом к власти большевиков институциональные формы менялись, идеалы братства и его символические функции не исчезли, а напротив, расширились: подчеркивалось значение равенства и солидарности всех членов «рабоче-крестьянской семьи», а затем – и семьи «братских народов». Концепт «братства» был крайне удобен, пишет автор, поскольку в нем всегда можно было найти место для старших и младших братьев. Образ семьи и братства являлся главной «сцепляющей» силой в процессе национально-государственного строительства вплоть до 1930-х годов, когда на первый план начал выходить концепт «дружбы» (там же, с. 114).

Основой солидарности в армии, считает Санборн, являлись идеалы маскулинности, которые составляли суть характера солдата-гражданина. По его мнению, именно военными в начале XX в. был

«запущен процесс нормализации милитаризованной формы маскулинности», которая была тесно связана с концептом нации (2003, 515, с. 6). Новый маскулинный идеал, внедрявшийся в сознание молодежи, удивительно напоминал западноевропейский и служил той же политической цели поддержки нации. Мужчины, принадлежавшие к разным национальностям и классам, могли стремиться к единому идеалу мужественности, и в результате гендерная идентичность оказалась связана с членством в политическом сообществе, дискурсивные определения которого «подпирались» дискурсивными конструкциями гендера. Чтобы стать гражданином, нужно было стать мужчиной, пишет Санборн (там же, с. 163–164).

Производство и пропаганда новых идеалов мужественности проводились во многом руками профессиональных военных и фокусировались на двух аспектах: тело и этика. Физической и допризывной подготовкой молодежи активно занимались организации бойскаутов, а при большевиках – пионеры и Всеобуч, куда стали привлекать и девушек. При советской власти заинтересованность государства в здоровых гражданах превратилась в одержимость, а требуемые качества «здоровья, силы, ловкости и выносливости» стали чем-то вроде катехизиса для «спартанцев XX века», замечает Санборн (там же, с. 133, 139).

Список основных моральных качеств солдата-гражданина включал в себя традиционные честь, дисциплинированность, чувство долга, самопожертвование, храбрость, а также черты, присущие «новому мужчине», родившемуся в огне войн и революций начала XX в.: активность, независимость, инициативность. «Сочетание силы и дисциплинированности, инициативы и сдержанности – отличительные признаки солдата-гражданина, который мог с легкостью перемещаться от заводского станка на фронт и обратно», – пишет Санборн (там же, с. 206). Его выводы подтверждает Мелисса Стокдейл в своем исследовании революционных трансформаций 1914–1918 гг. Она подчеркивает, что служба своей стране помогала превратить солдат в граждан и в то же время делала их мужчинами. С тех пор, пишет она, мужественность и патриотизм стали неразрывно связанными понятиями¹.

Лежащий в основе концепта «нового мужчины» принцип исключения женщин позволяет составить представление о его харак-

¹ Stockdale M. «My death for the Motherland is happiness»: Women, patriotism, and soldiering in Russia's Great War, 1914–1917 // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 1. – P. 81.

теристиках. Неслучайно в монографии Дж. Санборна особенности военной маскулинности рассматриваются на материале отношения современников к участию женщин в войне. Новый идеал мужественности, пишет он, был противоположен женскому, так же как и воинская этика (исключение составляло самопожертвование). Различие проводилось в первую очередь между активностью мужчин и пассивностью женщин. Пассивность и сходство с образом Непорочной Девы Марии были главными составляющими национальной добродетели, которую должны были демонстрировать сестры милосердия, эти символы женщины на фронте (2003, 515, с. 162–163).

Конечно, реальность разительно отличалась от идеалов, и сестры милосердия (равно как и ходячее мнение о них) далеко не всегда соответствовали тому, что требовало от них государство и общество в лице, главным образом, средств массовой пропаганды. Тем не менее тот факт, что Первая мировая война – первая тотальная война в истории человечества – нарушила устоявшиеся нормы и стала толчком к их пересмотру, единодушно признается исследователями. Война, пишет М. Стокдейл, предоставила возможность обрести полное гражданство тем, кто его не имел. Это касалось и женщин, которые выполняли патриотический долг, жертвуя собой для родины наравне с мужчинами¹. Однако женщины обретали членство в политическом сообществе на иных условиях. Как пишет Саборн, у них был выбор между двумя нелегкими путями. Первый заключался в маскулинизации, и его выбирали те, кто шел на фронт; второй следовал традиционным нормам, подразумевая вхождение в политическое сообщество на основе самопожертвования и выполнения своего долга – рожать и воспитывать солдат. Этот путь не означал равенства, женщины в этом случае служили фоном для деятельности мужчин (2003, 515, с. 163–164).

Гендерный аспект Первой мировой войны рассматривается в ряде работ, выполненных в русле как социальной, так и новой культурной истории, что неизбежно ведет к различию в трактовках. В монографии Л. Стофф «Они сражались за родину» (2006, 681), посвященной участию женщин в сражениях Первой мировой войны, исследуется «объективная реальность», в то время как К. Петроне сосредоточивается на дискурсе, рассматривая, как складывалась и изменялась память об этой войне в советское время (2010, 962).

¹ Stockdale M. «My death for the Motherland is happiness»: Women, patriotism, and soldiering in Russia's Great War, 1914–1917 // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 1. – P. 82.

Л. Стофф учитывает наличие гендерных норм и подчеркивает, что, принимая на себя мужскую роль защитника, женщины бросали вызов традиционной системе ценностей. Однако, делает она вполне ожидаемый для социального историка вывод, после окончания кризиса началось «возвращение к нормальности», и на первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли (2006, 681, с. 3–4). К. Петроне, напротив, стремится выявить проблематичные черты в дискурсе о мужественности, указывая, что в советское время много внимания уделялось тому негативному влиянию на солдат тотальной войны, которое поставило эту мужественность под вопрос (2010, 962, с. 79). В ее книге особо подчеркивается, что в 1920-е годы в Советском Союзе, так же как в Европе и Америке, гендерные роли были дестабилизированы и находились в состоянии постоянных изменений. Причем несмотря на то, что благодаря революции женщины получили широчайшие права, традиционные понятия продолжали сохранять свое значение, когда речь шла о воинской доблести. Для советского дискурса было характерно представление о «героической пролетарской маскулинности», что тесно связывало между собой концепты гендера и класса (2010, 962, с. 81–82).

Культурная история, с ее склонностью видеть множественность и амбивалентность там, где социальная история усматривает однозначность и целостность, ставит под вопрос уже устоявшееся мнение о снижении статуса женщин в 1930-е годы, когда после «великого перелома» произошел поворот к консервативным ценностям, возродивший основанную на патриархальности гендерную иерархию. Считается, что утверждению реального равенства полов в Советской России препятствовал присущий Просвещению культ маскулинности, который ассоциировался с такими понятиями, как прогресс, технологии, индустрия, военная мощь, и являлся важнейшей составляющей идеологии большевизма. Квинтэссенцией маскулинности признается Сталин, воплощавший в себе образ «отца народов» и негибаемого борца-революционера. В этих условиях женщинам, как считается, оставалось либо принимать на себя мужские роли в социуме, либо оставаться в частной сфере и выполнять традиционные ролевые функции матери и домашней хозяйки (2006, 650, с. 11–12).

Однако те же самые ценности прогресса занимали центральное положение в мировоззрении первого советского поколения девушек 1910–1920-х годов рождения, которым советская власть дала «всё», в первую очередь – образование. Они идентифициро-

вали себя с социализмом и, как пишет Е. Шульман, ощущали свою уникальность, считая, что все дороги перед ними открыты. В своей монографии, посвященной истории движения «хетагуровок», Е. Шульман отмечает, что порыв ехать на Дальний Восток связывался ими с ролью первопроходцев, ни в чем не уступающих мужчинам (2008, 777, с. 12). «Хетагуровки» стали примером новой модели женственности, ассоциировавшейся с завоеваниями социализма и освоением периферии. Признавая, что в этот период произошли сдвиги в статусе и репрезентации женщин, автор тем не менее утверждает, что гендерные роли продолжали оставаться гибкими (там же, с. 23).

Героини книги А. Крыловой о женщинах на фронтах Великой Отечественной войны принадлежат к тому же первому после революционному поколению советских девушек (2010, 890). Образованные, решительные, самостоятельные, они начали готовить себя к предстоящей войне еще в середине 1930-х годов. Как и всему поколению, им было свойственно сильное чувство собственной исторической миссии, ощущение своего отличия от поколения родителей. Но для девушек-комсомолок это самоощущение приобретало особую силу, поскольку несло в себе идею равенства полов, неотделимую от борьбы с «буржуазными предрассудками» об исконно «домашнем» предназначении женщины (там же, с. 10, 12).

В книге достаточно подробно рассматривается предвоенное десятилетие с точки зрения того историко-культурного контекста, в котором происходило формирование советской молодежи, и демонстрируется, что довоенная официальная культура и институты имели дело с разнообразными, двойственными и часто противоречащими друг другу понятиями о гендере. Анализируя дискуссии по таким опорным вопросам, как равенство женщин, отношения полов и буржуазные предрассудки, А. Крылова приходит к выводу, что общество остро осознавало гендерные различия и оперировало фактически категориями гендера. Употреблявшийся тогда термин «пол» понимался как культурно-биологический конструкт, и участники дискуссий часто не могли сказать, где кончается культура и начинается биология (там же, с. 20–21).

По мнению автора, в 1930-е годы отсутствовали как однозначная и последовательная официальная идеология, так и социальная политика в отношении «новой советской женщины». Фундаментальным фактом культуры и институций сталинизма Крылова признает то обстоятельство, что гражданам не предлагалось однозначных инструкций в отношении того, как следует себя вести, т.е.

на самом деле не существовало единой модели идеального советского человека, что в результате предоставляло большой простор для вариаций (2010, 890, с. 25).

К 1941 г. у многих советских комсомолок сложилось исключительно широкое представление о том, что такое женщина. Наряду с традиционными материнскими функциями оно включало в себя и исполнение воинского долга, что вовсе не подразумевало вторжения на «мужскую территорию» и выполнения девушкой «мужской роли». Право участвовать в боях, пишет Крылова, приобрести специальность и военную квалификацию, необходимую для современного солдата, рассматривалось этими девушками как выражение новой освобожденной советской женственности (там же, с. 14).

Автор утверждает, что конструирование ментальности женщины-бойца целенаправленно осуществлялось сталинской официальной культурой, в которой одной из центральных тем была предстоящая жестокая война с капиталистическим окружением. Большое внимание в книге уделяется тем институтам и культурным практикам, которые играли ключевую роль в формировании «нового советского человека», чьим первейшим долгом являлась подготовка к будущей войне. Система совместного обучения в школе, комсомол, многочисленные военные клубы и полувойсковые организации, в частности ОСОАВИАХИМ, служили лабораториями для выковывания новых гендерных и социальных идентичностей. Анализируя речи вождей, кинофильмы и популярные романы, автор формулирует категорический императив, обращенный к поколению, «обреченному на войну»: следует подготовиться к новой, технически сложной современной войне и в случае необходимости отдать свою жизнь за Родину. Разделительную черту между полами, которые должны были бы осуществлять разные функции в предстоящей жестокой схватке, официальная сталинская культура, как правило, не проводила. Комсомол также поощрял девушек осваивать технику и получать военные навыки наравне с юношами.

Советская молодежь, рожденная в первое послереволюционное десятилетие, «вносила предстоящую войну в свои жизненные планы и платила за это соответствующую психологическую цену», – пишет Крылова. Готовность к самопожертвованию, убежденность, что многие из них погибнут в смертельной борьбе, являлись характерными чертами самосознания первого советского поколения (там же, с. 43).

Большинство участниц Великой Отечественной войны принадлежали к этому «поколению не от мира сего», как некоторые из

них характеризовали себя. Они не видели перед собой никаких преград, над ними не довлели традиционные понятия об «исконном» предназначении женщины. 19-летняя студентка мехмата МГУ Женья Руднева (будущая летчица и Герой Советского Союза) собиралась стать ученым-астрономом и одновременно училась стрельбе из пулемета. В своем дневнике она писала, что готова пожертвовать своей мечтой и, если понадобится, идти «бить врага с оружием в руках». Через два года, когда началась война, она окончила штурманскую школу, воевала и погибла в 1944-м – сгорела в самолете, совершив 645 боевых вылетов (2010, 890, с. 35–36).

Радикальные изменения в позиции правительства относительно участия женщин в боевых действиях произошли весной 1942 г., когда было принято решение о необходимости их мобилизации. Приказы готовились в военных и бюрократических инстанциях при участии партии и комсомола в условиях секретности, они так и не были обнародованы и не нашли отражения в прессе, пишет Крылова. Они отражали разные представления о роли женщин в войне и совмещали в себе два типа женской идентичности. Первый из них вполне соответствовал общепринятым гендерным стереотипам и подразумевал традиционную роль помощницы, когда женщины замещали ушедших на фронт мужчин. Второй тип – «девушка-боец» – был совершенно нов для армии и предполагал иной подход к мобилизации и подготовке (там же, с. 150).

В книге рассматриваются разные варианты мобилизационных практик государства, которые применялись как Наркоматом обороны, так и комсомолом начиная с весны 1942 г. Кампании по набору добровольцев в качестве вольнонаемного административного персонала (что позволяло направить на фронт занимавших эти посты мужчин) представляли собой вполне традиционную практику, принятую и на Западе. Промежуточный тип составляли мобилизации женщин в бронетанковые войска, противовоздушную оборону, связь, военно-воздушные силы и на флот, подразумевавшие определенную военную подготовку и получение небоевых специальностей. В отличие от управленческого и обслуживающего персонала, эти женщины получали статус военнослужащего и исполняли свои профессиональные обязанности наравне с мужчинами. Таким образом, пишет автор, в армии происходило сужение традиционно мужских территорий и создавались области совместной деятельности, свободные от общепринятых гендерных оппозиций, согласно которым война ассоциировалась с мужским началом, а тыл – с женским (там же, с. 153).

Следующим шагом на пути к новому «гендерному ландшафту» вооруженных сил стало создание смешанных воинских подразделений. В частности, в ходе мартовской мобилизации 1942 г. в войска ПВО более половины из 100 тыс. девушек были включены в боевые расчеты зенитных батарей наравне с мужчинами. Причем несмотря на более низкий статус, который придавался войскам ПВО в государственных инстанциях, воевать там, по мнению кадровых офицеров, было гораздо опаснее и психологически труднее, чем в окопах – традиционно «мужской» сфере. А поскольку в официальной документации девушек также называли бойцами, советское правительство, по словам автора, «дискурсивно и практически» разрушало общепринятое представление о войне как исключительно мужском деле (2010, 890, с. 154).

По иному сценарию проводились мобилизации женщин для участия в боевых действиях: отбор осуществлялся в специальных комиссиях, которые направляли комсомолок, имевших за плечами как минимум 7 классов средней школы и курсы Всевобуча, в снайперские и командирские школы, артиллерийские, летные и танковые училища. По сравнению с 1941 г., когда женщины-добровольцы попадали в войска главным образом полулегально, благодаря решениям на низовом уровне (на январь 1942 г. таких было 8681 человек), вторая волна прибывших на фронт женщин была иной и по количеству и по качеству. Согласно имеющейся неполной статистике, в ходе мобилизаций 1942–1945 гг. на фронт ушло приблизительно 520 тыс. комсомолок, из них около 120 тыс. стали настоящими солдатами: снайперами и пулеметчицами, пилотами и артиллеристами, служили в танковых войсках и на флоте, были младшими командирами воинских подразделений. Уровень квалификации не только давал больше шансов на выживание, но и предоставлял им более высокий статус по сравнению с простыми пехотинцами. Это была, по словам автора, профессиональная и техническая военная элита, выполнявшая задачу по физическому уничтожению противника (там же, с. 168–169).

Прибывшие на фронт официальным путем, хорошо подготовленные и образованные комсомолки были вооружены еще и уверенностью в поддержке государства, доверие которого они должны были оправдать. Особое внимание автор уделяет тому, как во фронтовых условиях выковывалась новая идентичность «женщины-бойца». Подчеркивая, что первая фаза войны характеризовалась «демеханизацией» и только после 1942 г. начался новый ее этап, в котором «механизированное насилие» стало играть ве-

дущую роль, А. Крылова показывает, что в этих условиях обладающие техническими навыками девушки, более слабые физически по сравнению с мужчинами, оказались особенно эффективными. Они сумели реализовать свои «скрытые женские таланты» в новых, непривычных условиях, и стали прежде всего товарищами по оружию, что не исключало их роли женщины, матери, сестры, возлюбленной.

Анализируя мемуары участников войны, А. Крылова приходит к заключению, что построение социальной и гендерной идентичности «женщины-бойца» основывалось на концепции гендера, в которой отсутствовали привычные для нас противопоставления. Материнская роль, в частности, в данном случае совсем не противоречила роли солдата. Процесс переосмысления и перестройки гендерных идентичностей начался до войны, разворачивался в конкретных боевых ситуациях и нашел свое наиболее полное воплощение в мемуарах женщин-ветеранов. Однако писались эти воспоминания уже в новом историко-культурном контексте 1960–1980-х годов, в котором гендерные роли были жестко распределены в традиционном ключе. Не отрицая героизма женщин в Великой Отечественной войне, советская литература отвела им общепринятую роль помощниц. Центральное место в произведениях литературы и публицистике занял образ медсестры, выносящей раненых из-под огня, а не солдата, вместе с мужчинами (а часто, в силу полученной подготовки и высокой степени мотивации, и лучше их) выполнявшего свой воинский долг перед страной (2010, 890, с. 294).

Монография А. Крыловой, которая совершенно определенно представляет собой методологический прорыв в области изучения гендерной истории СССР, предложила свой вариант отхода от жесткого понимания оппозиции мужской / женский (что прежде реализовывалось главным образом в квир-исследованиях). Судя по отзывам, историческое сообщество пока не готово принять ее концепцию, хотя критика сводится главным образом к недостаточно верному отражению реалий фронтовой жизни и не учитывает, что в центре внимания находится дискурс. Автора упрекают также в стремлении, вслед за ее героинями, избегать вопроса о сексуальности, которая в большой степени влияла на конфигурацию гендерных ролей на фронте, в неверном прочтении ситуаций, которые она нагружает значениями, реально в них отсутствующими (стандартный упрек в адрес постмодернизма). Наконец, считается, что

ее концепция, отвергающая бинарные оппозиции, не получила убедительных доказательств¹.

Большинство критиков смотрит на книгу с позиций социальной женской истории, у которой своя система доказательств и своя система координат. Это лишь свидетельствует в пользу того соображения, что социальная история женщин, даже инкорпорирующая категорию гендера, остается отдельной областью исследований, которая далеко не всегда имеет точки пересечения с новой культурной историей. Несколькими годами ранее Дж. Санборн упоминал в своей монографии, что бинарная концепция гендера требует своего пересмотра, что взятый в ней за основу образ «Другого» далеко не всегда обладает объяснительным потенциалом. Это была вполне своевременная критика, ведь на этих постулатах гендерная история основывается уже более 20 лет и явно склонна почивать на лаврах. В какой степени удастся пересмотр прежних основ, сказать трудно, поскольку в мировой историографии гендерные исследования как особая дисциплина явно выходят из моды. Возможно, историки пойдут другими путями, что позволит им обойти дуализм гендерного анализа либо же рассматривать его исторически, в рамках господствовавшей в конкретные исторические периоды дуалистической картины мира, в котором главенствовал мужчина, а женщина являлась его противоположностью и необходимым дополнением.

¹ Stoff L. Rec. ad op.: Krylova A. Soviet women in combat: A history of violence on the Eastern front // American historical review. – Wash., 2011. – Vol. 116, N 4. – P. 1229–1230.

Глава 4

ПРОСТРАНСТВО ИМПЕРИИ

Среди множества «поворотов», совершенных мировой историографией начиная с 80-х годов прошлого века, имперский имеет прямое отношение к России. Как и лингвистический и культурный повороты, его невозможно свести к какому-то одному направлению в науке, которое возникло в конкретный момент, опирается на ту или иную теорию (или парадигму), имеет определенное количество приверженцев и круг тем¹. Скорее это широкое движение, возникшее на волне интереса к истории империй, который постоянно подпитывается текущими событиями. В свою очередь, привнесение в общественное сознание имперской парадигмы также побуждает осмысливать происходящее в соответствующей терминологии (например, «новый империализм США» и др.). Среди работ, в заглавии которых присутствует слово «империя», можно встретить образчики самых разных идеологий и подходов, от сугубо эмпирического до дискурсивного. И потому существует тенденция интерпретировать «имперский поворот» просто как отход от изучения национального государства и обращение к истории империй, одновременно выделяя в нем «новую имперскую историю», тесно связанную с «постколониальным» поворотом. В противоположность «старой» истории империй, занимавшейся изучением экономики, политики и военной экспансии, «новая» ассоциируется с категориями культуры, гендера и расы².

¹ Surkis J. When was the linguistic turn? A genealogy // American historical review. – Wash., 2012. – Vol. 117, N 3. – P. 700–722; Cook J.W. The kids are all right: On the «turning» of cultural history // Ibid. – P. 746–771.

² Ghosh D. Another set of imperial turns? // American historical review. – Wash., 2012. – Vol. 117, N 3. – P. 772–793.

В изучении России эти линии безусловно просматриваются, формируя, однако же, иные конфигурации и сплетаясь в довольно пеструю интернациональную историографию Империи. Принято считать, что «все началось» с публикации книги Андреаса Каппелера «Россия – многонациональная империя»¹, которая быстро была переведена на разные языки. Это событие, считающееся знаковым, априори задавало вектор развития будущей историографии – высокую степень международной интеграции и фиксацию на этнонациональных проблемах, особенно актуальных на постсоветском пространстве. Интернационализации исследований, осуществляемых в той или иной степени в рамках концепта империи, в большой мере способствовал (и продолжает способствовать) журнал «Ab imperio», выходящий из Казани. Его вклад в развитие новой историографии трудно переоценить: фактически осуществлена институционализация имперского подхода к изучению бывшего СССР, или, как настаивают редакторы, «новой истории империи». И все же не следует переоценивать ни степень интеграции, ни новизну исследований. В течение 1990-х годов термин «империя» прочно вошел в научный обиход, фактически стал обязательным, что неизбежно влечет за собой определенную вульгаризацию и упрощение. Приверженность «имперской парадигме» демонстрируют далеко не все исследователи Российской империи, однако важным для нас является то, что стало уже невозможно смотреть на историю России без признания многонационального и поликонфессионального характера страны.

О «новой истории империи» как единой субдисциплине написано много работ, в том числе и на русском языке². Но в соответствии с задачей книги обратимся к американской историографии, которая отличается и от британской – более близкой к континентальной европейской, и тем более от российской. Близость с европейской историографией демонстрирует и журнал «Ab imperio», где,

¹ Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. – München: C.H. Beck, 1992; Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад / Пер. с нем.: Червонная С. – М.: Прогресс-Традиция, 1997.

² См., в частности: Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. – М., 2008; Some paradoxes of the «new imperial history» // Kritika. – Bloomington, 2000. – Vol. 1, N 4. – P. 624–62; Rieber A. From reform to empire: Russia's «new» political history // Ibid. – 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 261–268; Breyfogle N. Enduring imperium: Russia / Soviet Union / Eurasia as multiethnic, multiconfessional space // Ab imperio. – Казань, 2008. – № 1. – С. 75–129 и многие другие.

несмотря на невероятное обилие авторов из разных стран, объединенных зачастую лишь общей проблематикой, очень сильно ощущается влияние редакторского коллектива. Вычленение из общего массива литературы, посвященной истории Российской империи, американских исследований позволяет не сосредоточиваться исключительно на так называемой «имперской парадигме», а рассмотреть более широкие тенденции в изучении имперского пространства.

* * *

Возникновение в 1990-е годы нового направления в американской историографии, которое поставило во главу угла изучение России как многонациональной империи, обычно связывают с фактом распада СССР на 15 национальных государств. Это событие специалисты начали интерпретировать как «падение империи», в поисках причин коллапса перемещая свое внимание с идеологии и экономики на проблемы национализма¹. Признание Советского Союза империей предлагало достаточно удобное и простое объяснение причин его конца: считалось, что обширные многонациональные империи по определению обречены на гибель. Однако столь простой ответ не выглядел удовлетворительным, он лишь заставлял ставить все новые и новые вопросы. И прежде всего, что такое империи и почему они обречены на провал. И вообще, обречены ли?

Непосредственно после распада СССР теоретическое осмысление империи как типа государства стало одной из актуальных задач для западных специалистов по общественным наукам (см., например: 1995, 137; 1997, 202). Подключились к дебатам и некоторые историки, причем характерной приметой работ этого периода стало стремление дать удовлетворительную дефиницию империи, которая описывала бы и российские реалии. Что касается конкретно-исторических исследований, которые начали множиться в 1990-е годы, то здесь наблюдались неожиданные на первый взгляд тенденции. Как это ни удивительно, историки не слишком активно начали изучать советскую империю. За двадцать лет вышло совсем немного монографий, посвященных имперскому измерению СССР и его национальной политике. Одним из вдохновителей этих исследований был Р. Сунни, горячий приверженец идеи о том, что при-

¹ Rowley D. Interpretations of the end of the Soviet Union: Three paradigms // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 2. – P. 395–426.

чиной гибели СССР явился национализм¹. Под его редакцией в 2001 г. вышел замечательный сборник «Государство наций» (2001, 403), в котором, тем не менее, немалая часть статей посвящена дореволюционному периоду. Парадоксально или нет, но на фоне распада советской империи американские историки-русисты обратились к поиску причин многовековой стабильности Российского государства. Такому повороту способствовал целый комплекс обстоятельств, связанных как с особенностями исторической профессии, так и с общим интеллектуальным климатом революционной для американской русистики (и не только для нее) эпохи.

Как уже говорилось, в историографическом контексте 90-х, когда активно подвергались пересмотру старые истины, традиционные интерпретации «упадка» и «кризиса» старого режима утратили прежний вес. Нарратив «провала» уступил место исследованиям достижений царской России, причем не только в области культуры. В условиях повышенного интереса к национальным проблемам и национальным движениям во всем мире, возникшего в конце 1980-х годов, с образованием на территории бывшего СССР 15 национальных государств политика России по отношению к населявшим ее многочисленным народностям обрела особую актуальность. Не менее актуальным был и опыт, получаемый западными исследователями в постсоветской России, где они смогли теперь воочию познакомиться с самыми отдаленными регионами и увидеть российское культурное и этническое многообразие. Все это отсылало к «прекрасному прошлому» империи, успешно управлявшей своими племенами и народами до тех пор, пока, как стали утверждать в соответствии с новейшими тенденциями, она не рухнула под натиском поднимающегося национализма.

За последние двадцать лет американская историография много сделала для изучения Российской империи, корпус выпущенной литературы весьма и весьма значителен. Учитывая, что благодаря активной переводческой политике ряда издательств русскоязычному читателю в настоящее время стали доступны многие зарубежные работы², достаточно лишь очертить общие линии развития,

¹ Suny R.G. The revenge of the past: Nationalism, revolution, and the collapse of the Soviet Union. – Stanford: Stanford univ. press, 1993.

² Отметим прежде всего качество переводов и точность выборки издательства «НЛЮ», в то же время нельзя не упомянуть огромный том «Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет», выпущенный «Новым издательством» в 2005 г.

основные концепции, сферы интересов и тематические предпочтения американской историографии империи.

В 1990-е годы в общественных науках на Западе все еще, в соответствии с идеей исторического прогресса, превалировало представление о том, что многонациональные империи представляют собой одну из ступеней развития, предшествующую национальному государству. Отмечалось, что в XIX в., параллельно с расцветом капитализма, урбанизацией, распространением образования и массовой печати происходит и вызревание национализма. Возникают нации как «воображаемые сообщества», к официальному консервативному национализму XIX в. в начале XX в. добавляется массовый. Многонациональная Российская империя – конечно же – была далека от идеала, национализм там в начале XX в. находился лишь в стадии становления. Сторонники теории модернизации выдвинули развитие национализма (а точнее, пробуждение национальных движений на окраинах) на первое место среди других дестабилизирующих факторов, подорвавших в результате жизнеспособность Российской империи. Царизм «не справился» с задачей построения национального государства – т.е. не сумел успешно модернизироваться.

Характерным примером изучения империи в рамках такого подхода служат работы Теодора Уикса, прежде всего его монография «Нация и государство в России позднего императорского периода: Национализм и русификация в западных пограничных территориях, 1863–1914» (1996, 1998). Монография написана в русле истории государственных институтов и внутренней политики – направления, занимавшего видное место в американской русистике 1970–1980-х годов, и потому в центре внимания автора находятся самодержавие и его политика. Однако в соответствии с духом времени Уикс ставит новые вопросы и избирает иную перспективу: он исследует этнонациональную политику империи, доказывая, что активная русификация на западных окраинах началась не в 1880-е годы, как это было принято считать, а после польского восстания 1863 г., и проводилась на волне Великих реформ. Пытаясь согласовать теории национализма (главным авторитетом выступает в данном случае Э. Геллнер) с российскими реалиями, Уикс указывает, что в восточноевропейском контексте понятия нации и государства не совпадали. Царизм, который характеризуется в книге как «досовременный» режим, плохо ориентировавшийся в реалиях окружающего мира, не был подготовлен к восприятию национализма, однако же с успехом использовал его в острые моменты для

поддержания стабильности государства – что и являлось главной заботой самодержавия. Уикс одним из первых начал обоснованно утверждать, что у царизма не было четкой политической программы в отношении нерусских народностей и конфессий; его национальная политика, включая и меры по русификации, отражала сиюминутные нужды по обеспечению безопасности, что не позволяло выработать последовательную линию поведения по отношению к окраинам империи.

Политика русификации была популярной темой в американской историографии 1990-х – начала 2000-х годов, с ее интересом к изучению окраин, или, что точнее, нерусских регионов империи¹. В противовес «старой» истории имперской экспансии доказывалось, что Россия не являлась «тюрьмой народов» и политика русификации вовсе не была такой «злонамеренной», как утверждалось в период холодной войны. В изображении Уикса она предстает скорее «организационным элементом» имперского управления, а главными целями русификаторских усилий правительства в конце XIX – начале XX в., по его мнению, были обеспечение целостности и единства империи и предотвращение утраты русскими своей идентичности на окраинах. Официальная Россия не ставила своей целью «переплавить инородцев» в русских, она надеялась на то, что привлекательность русской культуры в совокупности с благожелательностью государства окажут свое воздействие. Бюрократы были «русификаторами» в прагматическом смысле, поскольку такая политика являлась составной частью эффективного управления империей.

Выводы Уикса о непоследовательности и несогласованности русификаторской политики дополняет монография Р. Джераси «Окно на Восток» (2001, 377), посвященная изучению Казани и прилегавшего к ней обширного региона Среднего Поволжья. Эта интересная, исключительно содержательная книга представляет собой яркий пример той линии в историографии Российской империи, которая стала преобладающей в современной американской русистике. С одной стороны, она не порывает с традицией, в русле которой написаны исследования Уикса, хотя в большей степени

¹ Dowler W. The politics of language in non-Russian elementary schools in the Eastern empire, 1865–1914 // Russian review. – Stanford, 1995. – Vol. 54, N 4. – P. 516–538; Sunderland W. Russians into Yakuts? ‘Going native’ and the problems of Russian national identity in the Siberian North, 1870 s–1914 // Slavic review. – Urbana, 1996. – Vol. 55, N 4. – P. 806–825.

опирается на социальную историю, с другой – ставит новые вопросы или по-новому решает старые. В ней содержится богатый материал, освещающий и мир «высокой» политики (включая Санкт-Петербург), и повседневную жизнь провинциального города и региона в ее многонациональном измерении. Этничность и проблема идентичности (которой, как отмечают сами американцы, была буквально одержима историография 1990-х – начала 2000-х годов¹) находятся в центре внимания Джераси, и потому, в отличие от исследования Уикса, речь идет не о национализме, а о национальности. Много внимания автор уделяет не только усилиям правительственных чиновников, миссионеров, общественных деятелей подорвать влияние ислама, но и их представлениям о культурной интеграции восточных народов империи. Многообразие типов и степеней культурной интеграции отражено в изобилии употреблявшихся терминов: «христианизация», «ассимиляция», «сближение», «слияние», «цивилизация» и «обрусение» (2001, 377, с. 9). Присутствует в книге и актуальная для историографии Российской империи тема о постепенной замене идентификации населения по вероисповедному признаку национальным и этническим критериями².

Ставятся в книге Джераси и новые вопросы, актуальные для постколониальных исследований. Прежде всего, это проблема взаимодействия России с «Востоком» – ведь Казань являлась не только аванпостом империи и западной культуры, но и сама была Востоком во многих отношениях. Изучая отношения России и русских с населяющими империю «не-европейскими» народами, сосредоточиваясь на проблеме формирования идентичностей, Джераси избирает такие новые для американской русистики, но тоже актуальные для современной историографии сферы, как наука (лингвистика, этнография, востоковедение) и религия. Характерным для «постколониального поворота» является и акцент на обратном влиянии, которому подвергались русские в своих взаимодействиях с другими народами, и на том, как в этих взаимодействиях выковывались представления о русской национальной идентичности. Ставится в книге и вопрос о необходимости изучения сравнитель-

¹ Sunderland W. What is Asia for us? // Kritika. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 817–833.

² См., в частности: Стейнвелл Ч. Создание социальных групп и определение статуса индивидуума: Идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России // Российская империя в зарубежной историографии... С. 610–633.

ной истории империй Нового времени, и отмечается, что в отличие от империи Габсбургов центр Российской империи был гораздо более разнообразен в этническом отношении, а от Османской империи Россию отличало наличие типичной для христианской Европы цивилизаторской идеологии.

И все же главными в книге Джераси оставались проблемы управления окраинами, взаимоотношения центра и периферии, наконец, особенности институтов и административной практики в Российской империи, их соотношение с изменениями политического курса. Эта линия в американской историографии Российской империи, обнаруживавшая глубокую преемственность с политической и социальной историей государственных институтов, нашла много точек соприкосновения с отечественными исследованиями, которые после освобождения от диктата марксизма-ленинизма обратились к наследию русской дореволюционной историографии. Тем не менее эти добротные исследования добавили много нового к пониманию истории Российской империи, прежде всего потому, что поставили во главу угла ранее не изучавшиеся проблемы этноконфессиональной политики.

Связь между вероисповеданием и этничностью для Российской империи была очевидна: само государство классифицировало своих подданных по конфессиональному, а не национальному признаку. Так что при изучении «национального вопроса» невозможно было обойтись без конфессиональной составляющей. Особую значимость религиозный аспект обретал в исследованиях окраин империи¹. Миссионерство – одна из важных тем американской русистики, причем географический охват здесь крайне широк, вплоть до Западного побережья США (2010, 897). Эта тематика подразумевает не только сугубый интерес к управлению окраинами империи, где прозелитизм служил политическим задачам по освоению новых территорий и поддержанию целостности страны (см., в частности, сборник «От религии и империи»: 2001, 392). Формирование новых идентичностей, связь между обращением в другую религию и этничностью, роль языка, – все это также находится в центре внимания исследователей. Здесь показательны как уже упоминавшаяся книга Р. Джераси, так и монография Пола

¹ Подробнее об имперском аспекте изучения религии см.: Большакова О.В. Стирая границы: Религия и религиозность императорской России в современной англоязычной историографии // Церковь и религиозное сознание в Новое время: Сб. обзоров и реф. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – С. 23–61.

Верта о конфессиональной политике в Волжско-Камском регионе в 1827–1905 гг. (2002, 463). Только что издательство НЛЮ выпустило сборник статей Пола Верта¹, в котором конфессиональная сторона управления империей освещается в тесной связи с «живым религиозным опытом» и этническим разнообразием православия. Наряду с хорошо знакомым автору Поволжьем он обратился к изучению и других регионов – Кавказа, Царства Польского и Прибалтики.

Православие, как известно, не было единственной религией в Российской империи, и изучению других конфессий американские историки посвятили ряд интересных работ. Лучше всего по вполне понятным причинам изучен ислам, и здесь нельзя не назвать чрезвычайно влиятельную работу Роберта Круза «За пророка и царя», в которой была представлена детально разработанная концепция конфессиональной политики самодержавия, взятая на вооружение и другими историками (2006, 641).

Все упомянутые работы – и многие другие (см., в частности: 2003, 471; 2005, 588) – имеют много общего в своем исследовательском подходе. При всем интересе к идентичности, языку и культуре, государство и его институты занимают в них основополагающее место. Соответственно, главными видами источников являются делопроизводственная документация, к анализу которой чаще всего применяется эмпирический подход, и материалы прессы, обычно используемые для освещения общественных дискуссий. Несмотря на обостренное внимание к мировоззрению и психологии бюрократии, концентрация на политике, понимаемой достаточно традиционно, не позволяет окончательно отойти от прежней системы координат, а в такой перспективе слишком трудно пройти без потерь между Сциллой русоцентризма и Харибдой обличения царизма.

Столь актуальная в годы холодной войны дихотомия «Россия–Запад» зачастую просто выносятся в этих работах за скобки, но не разрешается однозначно. Эмпирические по своей сути исследования нацелены на выявление в истории Российской империи индивидуальных, «чисто российских» черт, и потому в противовес прежним утверждениям об исключительности России многие

¹ Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. – М., 2012. См. также: Werth P. Lived Orthodoxy and confessional diversity: The last decade on religion in modern Russia // Kritika. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 849–865.

склонны подчеркивать ее «особость», не отрицая, однако же, близости к Европе¹. Р. Джераси, например, фиксирует двойственность положения России, где к началу XIX в. сложилось крайне болезненное отношение к своему «сомнительному» месту в европейской культуре. Слишком часто она интерпретировалась европейцами как «варварская» и «восточная», «не-европейская» страна, так что и история, и география не позволяют ей «стряхнуть» восточные элементы своей идентичности (2001, 377, с. 2).

И здесь мы подходим ко второй линии современных американских исследований России как империи, которую можно было бы назвать постмодернистской, хотя и с некоторой долей условности. При ее характеристике нельзя обойтись без хотя бы краткого рассмотрения проблемы ориентализма, которая является фундаментом – или точкой отталкивания – для так называемых постколониальных исследований, которые, строго говоря, и следовало бы отнести к «новой истории империи».

Как известно, концепция ориентализма (не путать со стилем в искусстве и архитектуре), разработанная в 1970-е годы американским культурологом Э. Саидом, строилась на утверждении, что дихотомия «Запад–Восток» представляет собой культурный конструкт вполне мифологического свойства. В этой дихотомии «Запад» несет все возможные позитивные коннотации, олицетворяя динамизм, силу, доминирование, наконец, цивилизацию и прогресс, – все, что ассоциируется в гендерной иерархии с «мужским». Отсталый традиционный «Восток» являет полную ему противоположность и выступает в качестве «Другого», взаимодействуя с которым «Запад» формирует собственную идентичность. Как и в отношениях между полами, «Запад» (субъект) по определению занимает господствующее положение в этой дихотомии и самой природой предназначен руководить «Востоком» (объектом) и просвещать его. Таким подходом, утверждал Саид, руководствовались в своих исследованиях востоковеды Британской и Французской империй, вооружая колониализм инструментами культурной гегемонии. Во многом он опирался на идеи Фуко об «эпистемологическом насилии» и власти дискурса, выдвигая на первый план стереотипы, репрезентации и риторические фигуры.

Не будем погружаться в рассмотрение этой концепции, которую, несмотря на всю ее влияние, много критиковали и

¹ См., в частности: Найт Н. О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду // Российская империя в зарубежной историографии.. С. 331.

продолжают критиковать до сегодняшнего дня. В конце концов речь идет не о том, как относиться к наследию научного авторитета и толковать его высказывания, а о критическом и творческом применении идей, отталкиваясь от которых можно создавать свои смыслы. Для наших вполне утилитарных целей достаточно знать, что дихотомия «Восток–Запад», понимаемая в «ориенталистском» духе, проникла и в американскую русистику. Утвердилось там и понятие эссенциализации, с которым мы уже встречались в гендерных исследованиях. В контексте изучения колониализма важен был акцент на изобретенном, социально и культурно сконструированном характере понятий, которые не следовало эссенциализировать – превращать их в реальные феномены с соответствующими свойствами. В то же время, если для гендерных исследований борьба с дискриминацией (столь важная для женской истории) имела опосредованное значение и речь шла о *понимании* механизмов доминирования, то в центре внимания постколониальных штудий находилась *борьба* против доминирования европейцев и против европоцентризма. Подчеркивалось, что цивилизационная риторика европейцев лишь маскировала эксплуататорскую сущность империализма.

Русистами были взяты на вооружение термины «ориентализация» (подразумевавший придание чуждому Другому не только экзотических черт, но и низшего статуса) и «колониальное отношение» к кому-то или чему-то как к «объекту» (подразумевавший все то же самое, но только без восточного колорита)¹. «Колониальный» аспект был обнаружен не только в политике властей на окраинах империи, но и в отношениях «образованной элиты» к русскому крестьянству. То, что раньше воспринималось как неизбывное чувство вины образованных классов перед народом, как беззаветное стремление интеллигенции просвещать его, стало интерпре-

¹ Именно это имел в виду Марк фон Хаген, когда писал об «ориентализации» России в историографии времен холодной войны. Колониальное отношение западных русистов к советской и постсоветской историографии критиковал Бен Эклоф в своей статье: Eklof B. «By a different yardstick»: Boris Mironov's 'A social history of imperial Russia, 1700–1917', and its reception in Russia // *Ab imperio*. – Казань, 2008. – N 3. – С. 289–317. Однако стоит лишь ступить на зыбкую почву иерархического колониального дискурса, как того и гляди попадешь в ловушку «колонизации». Не избежал ее и Б. Эклоф, закончив статью пассажем о том, что для российской исторической науки при ее нынешнем уровне развития вполне достаточно теории модернизации и не стоит ввозить туда последние теоретические новации.

тироваться как «цивилизаторская миссия» и реализация элитой своего чувства превосходства по отношению к темному народу. И даже в народническом преклонении перед крестьянством стали усматривать «неосознанный» колониализм (не учитывая, что колониализм все же неразрывно связан с эксплуатацией). Советское государство также оказалось довольно легко поместить в рамки процесса «внутренней колонизации», на что указывали не только жестокое отношение правительства к собственным гражданам, но и его активная политика просвещения масс.

Изучение российского колониализма в американской русистике касается самых разнообразных тем. Ведь и в географическом отношении «Восток» России включает в себя такие разные регионы, как Поволжье, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь и Дальний Восток. В принципе Север, в том числе и Европейской России, также подпадает под ориенталистскую категорию, поскольку речь шла о народах, считавшихся «нецивилизованными», – о чем замечательно написано в книге Ю. Слёзкина (1994, 125), опубликованной через много лет и на русском языке¹. И все же изучение самых «восточных», в западноевропейском понимании, регионов Средней Азии, Крыма и Кавказа стало ареной для применения постмодернистского подхода в истории Российской империи. В эпохальном сборнике «Восток России» (1997, 235), в полной мере воплотившем в себе энтузиазм 90-х, мы найдем соответствующие примеры.

Одной из первых к новой интерпретации имперской экспансии обратилась славист Сьюзен Лейтон, рассмотревшая в своей монографии «Русская литература и империя» (1994, 107) репрезентации Кавказа не только в произведениях классиков – от раннего Пушкина до позднего Толстого, но и во второстепенной литературе и травелогах. Определяя Кавказ как «Восток» России, завоевание которого началось еще в XVI в., Лейтон отводит ему роль значимого Другого, необходимого и полезного в формировании русской «самости». Колонизаторские интенции, схожие с Британией и Францией, она усматривает уже в политике Екатерины II, когда впервые возникает антиисламская (направленная прежде всего против Османской империи) и цивилизаторская риторика. По ее мнению, «завоевание создало литературный Кавказ» в первые десятилетия XIX в., когда происходил подъем русского романтизма (тесно свя-

¹ Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.

занного с европейским, где немалое место занимала тогда эстетика экзотического «Востока») (1994, 107, с. 1)¹.

В своей методологии Лейтон опирается на Э. Саида, противопоставляя его М. Фуко, который, как она пишет, отказывал в автономии как культуре в целом, так и отдельному автору. Саид же с его теорией «динамичного обмена» давал культуре определенную свободу, т.е., в прочтении Лейтон, свободу сопротивляться политическим программам государства. В книге Лейтон, представляющей собой яркий пример постколониального подхода, тема сопротивления, угнетения и насилия занимает немалое место. Она пишет о том, что хотя Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский в каких-то отношениях и одобряли российский империализм, создаваемые ими образы «благородных дикарей» подрывали его «центральный миф» – идею о том, что насилие может быть во благо, если оно совершается ради «цивилизации» (1994, 107, с. 10).

Особое внимание Лейтон уделяет психологии читательской аудитории и, опираясь на диалогизм Бахтина, постоянно прослеживает взаимообмен между авторами и читателями, подчеркивая «иррациональную, эмоциональную власть» над ними литературных образов Кавказа (там же, с. 12). В отличие от приверженцев критического реализма, которые видели в литературе о путешествиях лишь утилитарную информативность, Лейтон выдвигает на первый план эмоционально насыщенные смыслы, что позволяет ей проследить историю «литературного производства и потребления Кавказа как “Востока”».

Большую роль в ее работе играют проблемы гендера, в том числе конфигурация гендерных отношений в Российской империи, которая исследуется сквозь призму читательского восприятия. «Литературный Кавказ» предлагал читателю образы и прекрасных невольниц, которые воспринимались в XIX в. как идеал «естественной» женственности, и мужественных бойцов (восточных мачо). В соответствии с постколониальной перспективой Лейтон рассматривает и феминизацию, даже эротизацию территории Кавказа (особенно это заметно в литературном изображении Грузии как чрезмерно чувствительной восточной женщины, т.е. существа низшего по определению). Это позволяло России и русским ощутить свое «европейское» превосходство над «Азией» в лице Грузии.

¹ См. также: Sahni K. Crucifying the Orient: Russian orientalism and the colonization of Caucasus and Central Asia. – Bangkok; Oslo: Institute for comparative research in human culture, 1997. См. в Приложении: 2003, 506; 2008, 749.

Отмечая гораздо меньшую по сравнению с европейскими колониальными державами склонность России к насилию по отношению к «Востоку», Лейтон объясняет этот факт двойственным ее положением между Европой и Азией и в конечном счете – «полуевропейскостью». Никогда не забывавшие о своих азиатских корнях и связях русские постоянно ощущали собственную отсталость по сравнению с Европой, что и побуждало их более толерантно относиться к «мятежным дикарям» – азиатам (1997, 107, с. 288–289).

Надо сказать, что сами русские подчеркивали свою толерантность к «туземцам», противопоставляя ее жестокости британцев, что должно было выглядеть как преимущество России перед Британией, т.е. фактически являлось очередным интеллектуальным приемом для утверждения собственного превосходства, пусть и основанного на понимании и сопереживании. Об этом упоминается в книге Джеффа Сахадео, посвященной истории «колониального общества» в Ташкенте в 1865–1923 гг. (2007, 719). Однако сам автор, основное внимание уделивший исследованию дискурса и практик имперского управления на местном (локальном) уровне, не склонен говорить об «особости» России и двойственности ее положения между Европой и Азией. Он утверждает, что и практики управления, и лежащая в его основе риторика доказывают несомненную принадлежность России к европейским империям Нового времени. «В вопросе о “Востоке” русские интеллектуалы пили из общего источника европейской мысли» (2007, 719, с. 5). И здесь он солидарен с позицией Адиба Халида (автора замечательной книги о джадидизме в Средней Азии – 1998, 259), которую тот высказал в известной дискуссии об ориентализме¹.

Не удовлетворяясь простой констатацией того факта, что при взаимодействии с Западом Россия ощущала и часто репрезентировала себя как «Азию», а при взаимодействии с Востоком чувствовала свою принадлежность к Европе, Адиб Халид предлагает прекратить эссенциализировать пресловутую дихотомию. Он глубоко убежден, что «гораздо продуктивнее было бы рассматривать Россию как вариацию на общеевропейскую тему» (учитывая тот факт, что идея русской самобытности была заимствована у немецкого романтизма), и призывает признать всю искусственность по-

¹ Ex tempore: Orientalism and Russia // *Kritika*. – Bloomington, 2000. – Vol. 1, N 4. – P. 691–727. Перевод на рус. яз. см.: Российская империя в зарубежной историографии... С. 311–359.

нятий «Европа» и «Запад» и «оставить покоиться с миром миф об уникальности России»¹.

Конечно, исследователям Средней Азии и Казахстана нетрудно признать европейский характер России – к этому подталкивает сам угол зрения, тот «колониальный контекст», который и является предметом их интереса. Для постколониальных исследований идея об уникальности России не должна быть близка хотя бы в силу присущей им общемировой перспективы. Но лишь применение культурно-исторического подхода дает возможность «снять» противоречие, на котором основана дихотомия «Россия–Запад», выведя ее в область дискурса и мифологии.

Однако «культурная парадигма» пока что не сумела завоевать сколько-нибудь значимое место в историографии Российской империи, даже когда речь идет о применении концептов постколониальных исследований. В этом заключается ее глубокое отличие от других историографий, занимающихся имперской проблематикой. В США исследования империй, в особенности Британской, достигли за последние 20 лет высокого уровня. Они вращаются вокруг проблемы господства, рассматриваемой в рамках триады «этничность, раса, гендер». Для американских русистов важна лишь первая ее составляющая, вторая просто чужда (по разным, в том числе и вполне серьезным причинам)², третья не выглядит желанным гостем. Неразумно было бы искать ее в работах институционально-политического жанра; в работах, выполненных в русле социальной истории, можно тут и там встретить упоминания женщин как одной из социальных сил. Но трудно представить себе постколониальные исследования без гендерного анализа – ведь эта категория является центральной для дихотомии «Восток–Запад», понимаемой в духе Саида. Собственно говоря, та «новая история империи», которая в мировой историографии ассоциируется с именами Антуаннетт Бертон и Энн Столер³, почти отсутствует в

¹ Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии... С. 319, 322. См. также его статьи и интервью в журнале «Ab imperio».

² См.: Могильнер М. Homo imperii: Очерки физической антропологии в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2008; Avrutin E. Racial categories and the politics of (Jewish) difference in late imperial Russia // Kritika. – Bloomington, 2007. – Vol. 8, N 1. – P. 13–40.

³ Stoler A.L. Race and the education of desire: Foucault's *History of sexuality* and the colonial order of things. – Durham: Duke univ. press, 1995; Burton A.M. Burdens of history: British feminists, Indian women, and imperial culture, 1865–1915. –

русистике. Поэтому особенно важно представить здесь монографию Дугласа Нортропа «Империя в парандже: Гендер и власть в сталинской Средней Азии» (2004, 563).

Книга, основанная на материалах из архивов России и Узбекистана, посвящена изучению истории формирования «сложного гибрида социальных и культурных идентичностей» в советской Средней Азии. Исследование помещено в широкий контекст столкновения исламского и европейского миров и подчеркивает колониальный характер власти сначала России, а затем СССР над этим регионом. Как отмечается в книге, с конца XIX в. притязания на «европейскую» идентичность России и ее место среди «цивилизованных» наций все больше связывались с практикой современного, в европейском стиле колониального строительства империи, с характерной миссией «возвысить» и модернизировать самые отсталые окраины, в особенности Среднюю Азию. При этом, пишет автор, колониальное пространство Туркестана служило своего рода «лабораторией цивилизации», в которой происходила «шлифовка» идентичности самих колонизаторов, на имперской периферии чаще относивших себя к европейцам, а не к русским (2004, 563, с. 7–8).

В книге убедительно доказывается, что Советский Союз являлся империей, хотя большевики и настаивали на антиколониальном характере своего государства (и это только один из парадоксов, отмечаемых Нортропом). По своей политической, экономической и военной структуре, по «цивилизаторской» культурной программе, наконец, по наличию местных элит СССР во многих отношениях напоминал классические «морские» империи, в первую очередь Британскую, а также уже отошедшие в прошлое Османскую и Габсбургскую континентальные империи. Однако больше всего в данном случае подходит другой, как пишет автор, «атипичный» пример – Соединенные Штаты. Особенно это касается представления о гражданстве, которое в США было также скорее идеологическим и индивидуальным, нежели этническим или корпоративным, и предполагало, что практически любой человек может стать американцем. СССР и в центре, и на периферии намеревался создать единое политическое пространство, населенное равными гражданами, – и в этом отношении советский антиколо-

ниализм следует воспринимать со всей серьезностью, замечает Д. Нортроп (2004, 563, с. 23–24).

В отличие от своих дореволюционных предшественников советские чиновники и партийные активисты не только управляли мусульманским Туркестаном, но поставили своей целью радикальную его трансформацию. Причем именно «культурное столкновение между Западом и Востоком», которое всегда носило преобразующий характер для обеих сторон, в конечном итоге определило, что означало быть одновременно «большевиком» и «узбеком», пишет автор (2004, 563, с. 7). После 1917 г., продолжает он, Средняя Азия не только помогала русским почувствовать себя европейцами, но и способствовала выработке дефиниции большевизма для всего колониального мира, где понятие современности и цивилизации имело свои особенности.

В «особых обстоятельствах» Средней Азии на первый план в большевистском переустройстве мира были выдвинуты семья и положение женщины. Поэтому центральной темой книги является кампания 1927 г. за снятие паранджи («худжум» – наступление), имевшая своей целью привить достижения пролетарской революции в «отсталой и примитивной» Средней Азии. Автор рассматривает эту кампанию в контексте полувековой колонизации, которая проводилась царской Россией и имела своим результатом крайне подозрительное отношение мусульман, и крестьян в особенности, к цивилизирующим мерам государства.

Большевики, пишет Д. Нортроп, далеко не сразу пришли к решению заняться освобождением «женщин Востока». Сначала они пытались трансформировать Среднюю Азию теми же методами, что и Европейскую Россию, – при помощи антирелигиозной кампании, земельной (и водной) реформы 1925–1926 гг., что не привело к росту симпатий населения к большевикам. Шло и национальное строительство: в 1924 г. были проведены границы, создавшие новые республики – Узбекистан и Туркмению, – которые, однако же, не могли вобрать в себя все разнообразие, сложность и изменчивость местных идентичностей. И потому в русле проводимой тогда политики коренизации государство даровало каждой республике официально санкционированную национальную принадлежность, дополненную собственной политической иерархией, языком и даже алфавитом (там же, с. 51–52). Известно, какой большой труд в классификацию этих идентичностей вложили этнографы и лингвисты. Ведь вопрос «кто ты» подразумевал в Средней Азии множество вариантов ответов и был контекстуально обусловлен, как и

идентичность человека: мужчина, мусульманин, узбек, сарт, крестьянин, отец, из Ташкента и т.д. (2004, 563, с. 17). В результате всех этих усилий, пишет автор, к 1930 г. начинает укореняться национальное самосознание узбеков, что имело как немедленные, так и отдаленные последствия. Во всяком случае, считает Д. Нортроп, национальность — основное наследство, которое Узбекистан получил от советской власти (там же, с. 56).

Традиционные гендерные нормы порицались большевиками как «дикие» и «отсталые». Именно поэтому борьба за освобождение узбекских женщин, которую начали в 1927 г. после неудачных попыток найти социальную поддержку советской власти в республике, где отсутствовал промышленный пролетариат, стала основным инструментом советизации Узбекистана. Причем центральное место в политике заняло снятие паранджи (характерное именно для Узбекистана) как первое условие перехода к новому быту, за что боролись и сотрудники Женотдела, и врачи, и партийцы. Решение пойти к «освобождению Востока» именно таким путем имело серьезные последствия, которые ощущаются и по сей день, пишет автор.

В книге показано, как в Узбекистане развернулось сопротивление снятию паранджи, вылившееся в антисоветское движение, которое поддерживали узбеки обоего пола. Во многом благодаря усилиям большевиков паранджа стала «национальным» символом «традиции», которая, как замечает автор, на самом деле не была такой уж древней. Тяжелую накидку из хлопка, паранджу, и закрывающую лицо густую сетку из конского волоса, чачван, узбекские женщины стали носить начиная с 1870-х годов, уже во времена русского владычества. Причем даже к 1917 г. паранджа не получила всеобщего распространения: первыми ее начали носить молодые горожанки, затем к ним присоединились и в сельской местности — преимущественно женщины из богатых семей (там же, с. 44).

Подробно рассматривая культурную и семейную политику в Средней Азии и ее реализацию на микроуровне повседневной жизни, автор демонстрирует гибкость и подвижность культурных практик в регионе, а также реальные пределы сталинской власти, которая даже в 1930-е годы не была ни полной, ни абсолютной. Нормы европейской моногамной семьи так и не были окончательно приняты, а паранджа постепенно ушла из быта только в 1960-е, однако под влиянием совсем иных условий, пишет Д. Нортроп (там же, с. 249–350).

Как видим, в «особых обстоятельствах» Средней Азии нация и класс имеют лишь опосредованное значение. Совсем молодые исследователи, только начинающие свою научную карьеру, высказывают совершенно определенное неприятие этих категорий, которые ассоциируются у них с «марксистским нарративом». Автор проекта, подготовленного в Макалестер-колледже, ставит своей задачей «денационализировать» рассмотрение идентичности в Российской империи, подчеркивая роль профессии, местожительства, вероисповедания¹. В целом же немногочисленные постколониальные исследования Средней Азии, опирающиеся на концепцию Саида, можно считать «побочным продуктом» повышенного финансирования, в основе которого лежат вполне практические цели – эффект, отмечавшийся Д. Энгерманом в его работах по истории американской советологии (2009, 799).

Один из путей использования концепции ориентализма (или отталкивания от нее) в американской историографии Российской империи – линия исследований, которую можно было бы отнести к интеллектуальной истории. Собственно, это переход от изучения реальности (эссенциалистской) к образам и репрезентациям Азии в российской литературе и искусстве, в науке и общественной мысли, а в более широком плане – в общественном сознании. Опорным для этих исследований является понятие «воображаемой географии», примененное к региону Восточной Европы Ларри Вульфом (1994, 133)². В изучении Российской империи первопроходческой считается книга Марка Бассина об образах Дальнего Востока, циркулировавших в российском обществе в 1840–1865 гг., и их связи с имперской экспансией (1999, 283). Этот угол зрения использовал в своих работах Дэвид Схиммельпенинк ван дер Ое, в частности, в монографии «На восход» – о том, как Россия пришла к войне с Японией (2001, 401). В своей недавней книге он отошел от «экспансионистской» перспективы (2010, 913). Название ее («Russian Orientalism») трудно перевести на русский, поскольку оба слова несут в себе двойную семантику: русский или российский, востоковедение или ориентализм как культурное течение? В английском эти значения не являются взаимоисключающими – напротив, заглавие вбирает в себя множественные смыслы: в книге, именно

¹ Thrasher M.J. How to make a colony: Reform and resistance in Russian Turk-
estan, 1865–1917 / Honours projects. Macalester college. April 2010.

² Рус. перевод см.: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивили-
зации в сознании эпохи Просвещения. – М.: Новое литературное обозрение, 2003.

отталкивающейся от идей Саида, исследуются и «ориентализм», и востоковедение, и просто представления об Азии в русской литературе и культуре.

Автор твердо стоит на почве «двойственности положения России на двух континентах», чем традиционно объясняет более сочувственное отношение русских к Востоку. Но книга его привлекает прежде всего стремлением показать разнообразие представлений об Азии в русской культуре. Такой достаточно сжатый и в то же время богатый компендиум образов и идей – совершенно необходимый фундамент, на котором можно строить дальше¹.

Еще одна линия исследований Российской империи в современной американской историографии может быть названа «социально-культурной». Она тесно связана с проблематикой колонизации. Часто эта историография опирается на концепцию фронта, которая, правда, имеет мало общего с тернеровской. Фронт выступает в этих работах как место, куда не дотягивается государственная власть, где границы размыты, а различные народности, социальные и религиозные сообщества и группы находятся в постоянном взаимовлиянии. Взаимодействие и смешение разных культур на периферии империи часто рассматриваются вне идеи о колониальном подавлении и борьбе с ним коренного населения. Опубликованная в 1999 г. яркая книга Т. Барретта, посвященная истории терского казачества 1700–1860-х годов, – пример такой литературы (1999, 282). «Движение» является ключевым понятием для книги: фронт Северного Кавказа в этот период постоянно передвигался на юг, вовлекая во взаимодействие все новые группы местного населения и прибывающих русских, и этот взаимообмен, происходивший в ходе полувойенной и военной колонизации, характеризовался не только высокой степенью культурной сложности, но и креативностью (1999, 282, с. 7). Особое внимание Барретт уделяет окружающей среде (экоистория занимает немалое место в его книге), показывая, как трудно приспосабливались русские поселенцы к многообразным природным условиям Северного Кавказа, какие практики они заимствовали у горцев, какие техно-

¹ В книге британской исследовательницы Веры Тольц, посвященной истории российского и советского востоковедения, указывается на существование некоего культурного и политического пространства, где отсутствовала разграничительная линия между «Востоком» и «Западом»: Tolz V. *Russia's own Orient: The politics of identity and Oriental studies in the late imperial and early Soviet periods.* – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – P. 5.

логии вырабатывали сами в ходе освоения степей, вырубки лесов и осушения болот, как справлялись с болезнями.

В сущности, при изучении русской колонизации на Северном Кавказе Барретт опирался на американский опыт – и кроме того, на те новации в исторической науке США, которые позволили пересмотреть тернеровскую концепцию фронта и отойти от черно-белых интерпретаций, сводивших все к борьбе колонистов и коренного населения. Русскую колонизацию издавна сравнивали с освоением американского Запада, но в современной русистике ее стали рассматривать в рамках имперской парадигмы, чаще всего как реализацию «цивилизаторской миссии». Попытку осмыслить новейшие тенденции представляет собой сборник «Заселение российской периферии», вышедший по итогам конференции 2001 г. в университете штата Огайо (2007, 710). Среди редакторов сборника – Николас Брейфогл, автор исследования о русских сектантах – участниках колонизации Кавказа (2005, 588); Уиллард Сандерленд, выпустивший монографию об освоении Степи (2004, 578), и Эбби Шредер, чья книга об истории телесных наказаний в дореформенной России имеет географическое – и имперское – измерение (2002, 456).

Симптоматично для американской историографии империи стремление редакторского коллектива дать обобщающую модель российской колонизации, встроив ее в мировую историю миграций, государственного строительства, установления власти над народами колоний, преобразования и эксплуатации «пустующих» или «неиспользуемых» земель. В заключении опыт российских миграций и вызовы постсоветского «обезлюдения периферии» блестяще рассмотрены Альфредом Рибером, который отметил, что с екатерининских времен «цивилизаторская миссия» включала в себя такие практики, как распространение православия, замена кочевнических поселений земледельческими, введение западных агротехнологий и создание рационально спланированных городов, причем многие практики колонизации существовали на протяжении веков, как в московский, так и в советский период (2007, 710, с. 265, 272).

В сборнике подчеркивается, что при всех изменениях во времени и вариациях от региона к региону русская колонизация как процесс сохраняла свои сущностные черты. Отталкиваясь от знаменитой формулы Ключевского, редакторы говорят о тех «постоянных факторах» русской истории, которые формировали колонизацию: неустойчивость (и проницаемость) границ, огромные расстояния, нехватка чиновников. Они указывают на этническое и

социальное многообразие поселенцев (русские, иностранцы, торговцы, крестьяне, военные, городские рабочие, сектанты, политические ссыльные, преступники), на совершенно несхожие между собой природно-климатические условия тех местностей, которые заселялись, на формы государственного управления новыми территориями и дают свою формулировку истории русской колонизации. Это разнообразие, существующее в рамках единого многостороннего процесса, участники которого – русские поселенцы, местные жители (туземцы), государство и его представители, наконец, природная среда, – оказывали друг на друга взаимное влияние (2007, 710, с. 7).

Выделяются такие особенности миграционных процессов в России, как активное участие государства в управлении колонизацией; при всем многообразии – преимущественно крестьянский состав переселенцев; отсутствие границ между «собственно Россией» и ее имперскими окраинами, что затушевывало колониальную суть процесса переселения; «поразительная смесь» насилия и народного энтузиазма, особенно характерная для советской эпохи. А. Рибер указывает и на ряд парадоксальных черт, характеризующих русскую модель колонизации. В первую очередь, это исключительная массовость миграций на протяжении всей истории страны, притом что правительство принимало беспрецедентные в европейской практике меры по ее ограничению. Еще одной поразительной особенностью России является то, что, несмотря на сильные региональные различия и формирование многонациональной империи, русские колонисты и их потомки оставались русскими, сохраняя свой язык, обычаи и верования (там же, с. 265). Особое внимание Рибер уделяет культурному измерению процесса колонизации и его идеологии, подчеркивая, в частности, утопическую составляющую. Причем имеет в виду не только коренившиеся в народной культуре утопии, представлявшие собой мечты о лучшей жизни, но и утопические воззрения правительства – идеи о «цивилизаторской» миссии России по отношению к отсталым народам и о «социальном экспериментировании».

В сборнике исследуются такие вопросы, как проблемы рационального использования окружающей среды; переселенческая политика в Сибири начала XX в.; научные дебаты 1920–1930-х годов об акклиматизации русских поселенцев в Средней Азии; спецпоселения в контексте сталинской эстетики архитектурной планировки территорий; движение «хетагуровок» 1937–1939 гг., призванное компенсировать возникший на Дальнем Востоке серьезный

гендерный дисбаланс; межэтнические отношения и формирование советской идентичности на целине.

Обращает на себя внимание сравнительно большое количество статей по допетровскому периоду, что отражает возрастающий интерес к имперской проблематике в этой области американской русистики. В большинстве своем это социальная история с особым интересом к особенностям Московского государства и его политических практик. В статье В. Кивельсон о легитимации притязаний московских царей на сибирские земли рассматривается «хорошо разработанная система понятий о земле и правах на нее», которая сопоставляется с концепциями конкистадоров Нового Света. Сибирь в XVI–XVII вв. вошла в состав Московского царства на правах еще одной, отдельной, но неотъемлемой его части, потому что в Московии отсутствовало представление о необходимости ассимиляции, выселения или уничтожения коренных народов. И в этом – коренное отличие русской модели колонизации (2007, 710, с. 37).

Брайан Бозк, опубликовавший свою первую монографию о роли казачества в строительстве империи в годы правления Петра I (2009, 789), рассмотрел в своей статье историю заселения Причерноморья в XVI – начале XVIII в. В ней проводится мысль о том, что в этот период правительство обращалось к колонизации только в случае необходимости, для обеспечения безопасности своих границ, и доказывается, что «аппетит Москвы в отношении экспансии был гораздо более скромным, чем воображали себе некоторые» (2007, 710, с. 56).

Еще одна статья молодого специалиста по допетровской Руси Мэтью Романелло посвящена особенностям колонизации завоеванного Иваном Грозным Казанского ханства; по словам автора, ее отличали элитарность и смешанный этнический и конфессиональный состав колонистов (там же, с. 61). В своей только что вышедшей монографии, посвященной роли завоевания и освоения Казанского ханства в строительстве Российской империи в 1552–1671 гг. (2012, 1017)¹, Романелло особое внимание уделяет региональному

¹ В совокупности с работой Кристофа Витценрата о роли казаков в присоединении Сибири и Брайана Дэвиса о Причерноморских степях в 1500–1700 гг. (2007, 693) можно заключить, что имперская проблематика уже хорошо обосновалась в зарубежной историографии допетровской Руси и достигла высокой степени международной интеграции. См.: Witzenrath Chr. Cossacks and the Russian empire, 1598–1725. Manipulation, rebellion and expansion into Siberia. – L.; N.Y.: Routledge, 2007.

своеобразие. Регион фактически является единицей исследования, хотя сама история строительства империи помещается в широкий сравнительный контекст. Автор не просто указывает на сходные черты монархий Европы и России, но рассматривает Московию как один из вариантов государственного строительства эпохи раннего Нового времени. Во многом Романелло опирается на работу Дж. Бербанк и Ф. Купера «Империи в мировой истории» (2010, 860), где была подробно рассмотрена совокупность имперских управленческих практик. В то же время повышенное (и продуктивное) внимание к местным особенностям роднит его книгу с другой работой, в подготовке которой Джейн Бербанк принимала активное участие. Это вышедший в результате многолетнего сотрудничества американских и российских историков сборник «Российская империя: Пространство, люди, власть, 1700–1930» (2007, 716).

Основное внимание в нем уделяется империи как государственной форме, которая характеризуется, в отличие от национального государства, опорой на принцип разнообразия, и тому, что редакторы-составители сборника Джейн Бербанк, Марк фон Хаген и Анатолий Ремнев назвали «управлением по-русски», т.е. институтам. Несмотря на заявленные новаторские интенции – показать «двойственность, условность и проницаемость» границ в империи и отойти от жесткой дихотомии «центр–периферия», на которой строились прежние исследования, сборник не поражает открытиями. Если сравнивать его с уже упоминавшимися ранее сборниками «Восток России» (1997, 235) и «Имперская Россия: Новые истории империи» (1998, 256), возникает искушение выстроить «нарратив упадка» историографии в методологическом отношении. Однако это скорее та цена, которую приходится платить за интеграцию. Можно предположить, что решение сделать пространство исходным пунктом для исследования (по отношению к которому этничность и религия признаются вторичными) было в какой-то степени обусловлено активным участием в проекте российских историков, а не только личными предпочтениями составителей, «уставших» от тематики идентичности. Отечественная историческая наука не слишком восприимчива к категории идентичности, гораздо ближе ей проблемы административно-территориального деления, регионального разнообразия и местного управления. «Воображаемая география» довольно органично вписалась в наш историографический ландшафт, однако «образы» понимаются достаточно инструментально: предполагается, что определенные идеи и представления администраторов прямо и непосредственно влияли на их действия.

В американской русистике в новом тысячелетии появились работы, в которых пространство начинает исследоваться в ином ракурсе, хотя зачастую и в связи с имперской проблематикой. К настоящему времени уже возможно говорить об устойчивой тенденции, которую можно было бы определить как «новое направление». Одним из первых возникновение в историографии России «новой пространственной истории» зафиксировал британский историк Ник Бэрн, отметивший возрастание интереса к роли пространства и его образов в человеческой деятельности и в истории¹. В изучении этой проблематики культурные исследования с их вниманием к языку и тексту, к литературе должны бы занять основополагающее место. По мнению Бэрна, «новая история пространства» изучает «реальное» и «дискурсивное» пространства в их сложном взаимодействии.

Развернутая характеристика «новой пространственной истории» дана в сборнике «Пространство, место и власть в России Нового времени» (2010, 918), изданном по итогам конференции, проводившейся в 2006 г. в Брауновском университете в США. Среди факторов, оказавших влияние на возникновение этой историографии, редакторы-составители называют, во-первых, «эпистемологический сдвиг в мировой науке, который принято обозначать всеобъемлющим термином “постмодернизм”». Будучи направлен на дестабилизацию привычных способов миропонимания, постмодернизм, указывается во введении, подчеркивает значение географических границ в структурировании и упорядочении окружающего мира. Границы эти, однако же, далеко не всегда являются объективными и абсолютными, а напротив, чаще всего относятся к сфере дискурса, что изобличает их временный и проблематичный характер.

Авторы утверждают, что важной особенностью постмодернистского подхода к географии является перемещение фокуса исследовательского интереса от центра к перифериям, которым начинают придавать особое значение. Думается, что развитие американской историографии окраин империи более тесно связано с факторами вненаучного свойства, которые также упоминаются авторами: это события, происходившие в России. Для постсовет-

¹ Baron N. New spatial histories of twentieth-century Russia and the Soviet Union: Surveying the landscape // *Jahrbucher für Geschichte Osteuropas*. – Wiesbaden, 2007. – Bd 55, H. 3. – S. 374–400. См. также его монографию: Baron N. *Soviet Karelia: Politics, planning and terror in Stalin's Russia, 1920–1939*. – N.Y.: Routledge, 2007.

ской России, переживавшей раздробление политического пространства, «дестабилизация как таковая была не просто вопросом восприятия или экзерсисом в научной интерпретации, а фактом повседневной жизни». Характерными явлениями становятся «подвижность и неустойчивость границ, прежде считавшихся священными», повышение значения региона («периферии») в его противоположности «центру», так что бывший Советский Союз, отмечается во введении, «стал настоящей лабораторией для изучения геосоциальной и геополитической реорганизации», что очень быстро уловили историки (2010, 918, с. 4).

Для историков России географический фактор всегда имел большое значение: огромная территория, обширные равнины, суровый климат, бедные почвы и даже расположение между Европой и Азией, – все это, как считалось, имело прямое отношение к особенностям русской национальной идентичности и к самому ходу исторического процесса в России. Предлагаемый в «новой пространственной истории» подход оставляет «за флагом» подобный географический детерминизм. Предметом изучения теперь становятся не сами географические факторы, понимаемые как объективная, материальная данность, а «субъективное измерение» пространства. Если раньше «географически ориентированная» история рассматривала социальные последствия «объективных физико-географических условий», современная историография избегает жестких рамок причинно-следственных связей и обращается к анализу субъективного восприятия пространства разнообразными социальными группами и индивидами (там же, с. 6–7).

Важным аспектом субъективного измерения пространства является его ментальное «конструирование», т.е. процесс придания физически существующим географическим объектам имен и значений, которые зачастую несут в себе сильный эмоциональный заряд и могут оказывать серьезное влияние на взгляды и поведение людей. Не отрицая существования «объективной географической среды», «новая пространственная история» России подчеркивает изменчивый, культурно-исторический характер представлений об этой среде, которые всегда играли большую роль в истории. Благодаря работам М. Фуко и Э. Саида историки начали принимать во внимание «географическое воображение» субъектов и социальных групп, что позволяет изучать пространство не только с точки зрения дискурса, но и обратиться к его роли в конституировании властных отношений. «Русское пространство» предлагается рассматривать одновременно в нескольких контекстах – националь-

ном, имперском, транснациональном и т.д. — с особым вниманием к таким общемировым процессам, как колонизация, урбанизация, развитие в XIX–XX вв. туризма и т.д.

Надо сказать, что сборник больше обещает, чем реально предлагает. Центральными его темами являются проблема взаимоотношений пространства и власти (которые отнюдь не сводятся к завоеванию и защите территории) и роль пространства в конструировании групповых идентичностей, как социальных, так и национальных. В статье М. Стокдейл исследуется историческое бытование концептов «отечество» и «родина». Статья М. Бассина посвящена взглядам евразийцев, которые считаются квинтэссенцией географического детерминизма. Рассматриваются и такие непохожие пространства, как дорога между Москвой и Петербургом, на истории создания которой и восприятию ее путешественниками XVIII в. остановился Дж. Рэндолф, и микропространство бальной залы, исследованное с точки зрения построения социальных и гендерных иерархий Р. Стайтсом. Р. Ардженбрайт обратился к изучению феномена агитационных поездов времен Гражданской войны, который он определяет как часть советского проекта по «внутренней колонизации». Вопросы, связанные с исторической памятью и формированием идентичности, исследуются К. Элаем на примере Санкт-Петербурга, претерпевавшего изменения в годы царствования Александра II, когда, в отличие от предшествующего царствования, петербургские улицы стали гораздо больше напоминать улицы других крупных европейских городов. Л. Киршенбаум обратилась к теме исторической памяти, подробно рассмотрев дебаты о переименовании ленинградских улиц, да и самого города в годы перестройки. «Сакральность» ландшафта рассматривается в статьях С. Жука — в связи с борьбой православной церкви против распространения штундизма на Украине в конце XIX в. — и К. Фрайерсон о проблемах формирования постсоветской идентичности в Вологде.

Все эти темы можно назвать актуальными для современной американской историографии России. В частности, обращает на себя все более пристальное внимание понятие «сакрального ландшафта». Интересно исследование Мары Козельски о культурном освоении имперских окраин, посвященное христианизации Крыма в XIX в. через преобразование его ландшафта, материального и воображаемого (2010, 889). Урбанистические исследования, во всяком случае многие из них, также можно было бы отнести к «новой пространственной истории». Как известно, исследования Петербурга,

прежде всего «петербургского мифа», имеют давнюю традицию в американской славистике. Из совсем недавних публикаций следует назвать исключительно интересную книгу «Картографируя Санкт-Петербург» Джули Баклер (2005, 589) и сборник «Петербург / Петербург: Город и роман, 1900–1921» (2010, 903). Фактически он является печатным фрагментом большого проекта, осуществляемого под руководством Ольги Матич в Калифорнийском университете (Беркли). Состоящий из двух частей сборник (первая часть посвящена роману Андрея Белого, вторая – собственно городу и его истории) дополняется замечательным веб-сайтом, предлагающим путешествие по городу (stpetersburg.berkeley.edu/). Попутешествовать по Петербургу эпохи модерна будет интересно и российским пользователям Интернета, особенно учитывая высокий уровень графического исполнения.

Цитату из Тютчева «Эта скудная природа» взял в качестве названия и отправной точки для своего исследования Кристофер Элай, один из редакторов упомянутого сборника. В своей монографии (2003, 420) он проследил историю изображения природы (все же скорее ландшафта) в русской живописи и литературе с последних десятилетий XVIII до конца XIX в. во взаимосвязи с историей формирования русской национальной идентичности. Интересно, что Элай и рецензент его книги Кэти Фрайерсон видят в картинах Саврасова «Грачи прилетели» и Федора Васильева «Мокрый луг» лишь грязь, лужи и «свинцовые тучи». Привлекательность этих полотен для русских объясняется тем, что таким образом они ощущают свою тесную связь с «настоящей» природой, в противоположность европейской «декорации». Однако нас интересуют не различия в восприятии, а та линия, которую выстраивает Элай от прямых заимствований, попыток изображать окружающую природу в соответствии с европейскими эстетическими канонами к осознанию красоты неброского русского пейзажа в 1840-е годы, к ощущению гордости и любви к России и ее просторам («Родина» М.Ю. Лермонтова; «Мертвые души» Н.В. Гоголя).

По убеждению автора, русская идентичность строилась на противопоставлении с Европой. К концу XIX в. этот процесс был завершен, и «гордый взор иноплеменный» уже не тревожил русских художников и литераторов. Эстетический идеал был создан, он говорил об особенностях русской национальной идентичности, которую отличали естественность, тонкость восприятия, живость чувства и все то, что иностранцы были склонны приписывать близкой к природе «загадочной русской душе». Применение «постмодернист-

ского» подхода (правда, в усеченном виде) не внесло каких-то изменений в уже известную историческую схему, хотя и добавило интересные штрихи к пониманию истории русской культуры.

Имперское измерение в изучении пространства представлено в монографии В. Кивельсон, в которой исследуются картографические материалы XVII в. (2006, 656). Считая важнейшим фактором интеграции обширной империи категорию пространства, которая составляла одну из уникальных черт политической культуры Московии, Кивельсон подчеркивает, что принадлежность к определенной территории являлась одной из существенных социальных характеристик индивида. Идентификация по месту жительства означала также и принадлежность к единому целому – Московскому государству, со всеми вытекающими из этого правами царских подданных, и в итоге оказывалась не менее важной, чем социальная стратификация (2006, 656, с. 7).

Прочтение карт и топографических чертежей – этих по сути административных документов – как «культурных конструкций» позволило Кивельсон поставить важные вопросы о взаимопересечениях культуры, религии и политики. Характеризуя свои источники, она пишет: что сразу бросается в глаза при первом же взгляде на выполненные от руки в туши или сепии и ярко раскрашенные «чертежи», – это их изобразительное богатство. Историки уже обращали внимание на несоответствие декоративной выразительности этих карт той чисто утилитарной цели, для которой они создавались, однако никто не занимался ими специально. В то же время это источник, который «буквально взывает» к исследователю, особенно если учесть давно устоявшееся на Западе мнение о «безмолвной Московии», где отсутствуют привычные для западных историков описательные и аналитические тексты (там же, с. 1–2). Кивельсон предлагает рассматривать чертежи как «выразительные метафоры выработавшей их культуры», православной в самой своей основе, поясняя, что создатели топографических карт – «художники-любители», среди которых были мелкие чиновники, отставные военные, простые горожане, – изображали окружающий мир теми способами, которые имели для них смысл в контексте их социального опыта и мировоззрения.

Отмечая, что история Московской Руси неотделима от христианского контекста, особое внимание В. Кивельсон уделяет реконструкции религиозного сознания. Анализируя визуальный язык чертежей XVII в., автор сосредоточивает свое внимание на тех образах, знаках и символах, которые занимали в них центральное

место. По ее мнению, система образности чертежей представляла собой множество «цитат» из современной им иконописи. Если обратиться к иконографии как «словарю визуальных символов», пишет она, двух мнений быть не может: зеленый ландшафт означал рай, земной или небесный, и ассоциировался либо с Эдемом, в котором пребывали Адам и Ева до своего изгнания, либо с Богоматерью. Кивельсон отмечает, что к концу XVII в. ландшафт приобрел более реалистические черты, не утратив, однако же, своего символизма, который обогатился к этому времени новыми коннотациями. Теперь он символизирует не только Рай в узком смысле этого слова, но и проявление Божественного замысла на земле. Окружающая природа изображается как «славный дар Господа», а рукотворный ландшафт подчеркивает роль человека как «создания Божьего» в украшении подлунного мира.

По мнению В. Кивельсон, религиозная образность чертежей XVII в. демонстрировала твердую убежденность их создателей в тесной связи, даже переплетении библейских и земных тем. Представления о пространстве были неотделимы в Московской Руси от мысли о ее месте и роли в христианском Космосе. Авторы карт выражали «в высшей степени жизнерадостное, уверенное, и даже самоуверенное» чувство, считая Россию Раем, а русских – избранным народом, само присутствие которого может превратить обыкновенную землю в сады Эдема (2006, 656, с. 11).

Это «жизнерадостное христианство» лежало в основе представлений, связанных с колонизацией Сибири. Географические карты Сибири и Дальнего Востока, которые появились в середине XVII в., создавались в «милитаризованном контексте колониального завоевания», на них изображались неизвестные ранее, зачастую враждебные территории, где скорее всего еще не ступала нога человека, отмечались стратегически важные объекты и маршруты (там же, с. 117). Анализируя их в совокупности с большим корпусом письменных источников, в которых содержатся описания Сибири, автор стремится реконструировать идеи и представления, циркулировавшие в Московском царстве и составлявшие идеологическую подоснову завоевания.

Изучение образов Сибири, отраженных в картографических материалах XVII в., позволило В. Кивельсон утверждать, что в этот период Московское государство начинало воспринимать себя как имперскую державу. В ранних описаниях Сибирская земля представляла настоящим раем, щедрым и изумительным даром Божиим, который сотворил все эти чудеса для человека (там же, с. 124–125).

Отталкиваясь от предыдущих исследований, в которых отмечалась сакральность полярных по существу характеристик Сибири (между Раем и Адом), В. Кивельсон подчеркивает, что картографы и завоеватели видели в ее удивительных ландшафтах, в самой избыточности сибирской природы «чудесное» и интерпретировали это как «божественные послания» и «приводящие в трепет» прямые указания Господа. Как указывается в книге, христианская миссия санкционировала и прямо предписывала заселение евразийских равнин, а подробное картографирование новых земель, с указанием и каталогизацией всех заселяющих их народов и племен, помогало утверждать колониальное господство (2006, 656, с. 211).

Возникшее в Евразии, по словам Кивельсон, «лоскутное одеяло» империи характеризовалось относительной терпимостью к религиозному и культурному разнообразию. Как показывает анализ судебных дел сибирских «инородцев», зачастую права колонизируемых ничем не отличались от прав основной массы русских колонизаторов. Коль скоро населяющие Сибирь народы были зарегистрированы и нанесены на карту, они начинали платить ясак и получали права царских подданных, включая право на населяемую ими землю. Привычка мыслить в пространственных категориях, ассоциировать людей с определенной местностью трансформировалась в Московском царстве в своего рода «географическую и экономическую защиту» колонизованных народов, заключает автор (там же, с. 208–209).

По мнению В. Кивельсон, категория пространства оказывается достаточно продуктивной и для сравнения Московии с другими «экспансионистскими централизующимися национальными монархиями раннего Нового времени», которые также выражали свои колониальные претензии в пространственных терминах, однако их значение зависело от того, как именно понимались земля и собственность в метрополии. Так, для португальцев фиксация на бумаге определенной территории уже делала законными любые притязания на нее, в то время как в колониальном словаре испанцев большее значение придавалось людям, и потому главным логическим обоснованием испанской экспансии в Новый Свет явилось обращение язычников. Что касается англичан, то в XVII в., когда они только начинали проникать в Новый Свет, в Англии шел процесс огораживаний и укрепления личной собственности. Поскольку индейцы ничего не делали для культивации своей земли и не имели постоянного жилья, за ними не было признано никаких прав собственности, и они подлежали выселению или уничтожению. По-

следствия столь разных концепций пространства и прав населяющих его людей до сих пор заметны и в обеих Америках, и в Сибири, заключает В. Кивельсон (2006, 656, с. 214).

В работе Кивельсон замечен новый взгляд на Российскую империю, который не стоит сводить к традиционному сравнительному подходу. Скорее это транснациональное измерение имперской истории России, которому будет уделено внимание в следующей главе. Оно вносит новые ноты в американскую русистику, все более тесно сотрудничающую с европейской. И все же имперская парадигма не является единственной в изучении истории управления Россией; не сводится и пространство империи только к ее окраинам. По-прежнему находит поддержку среди исследователей такая традиционная тема, как изучение русской провинции¹.

В книге Кэтрин Евтухов о Нижегородской губернии в XIX в. «Портрет русской провинции» (2010, 942) примечательно осознанное стремление исправить определенный перекося в историографии, сосредоточившейся на окраинах империи. Это, в сущности, масштабная попытка побить предшествующую историографию на ее же поле и ее же оружием: исследуются чиновничество, интеллигенция – те группы, которые под разными углами зрения рассматривались в американской русистике 1960–1980-х годов методами социальной и институциональной истории. По мнению автора, местное управление в Европейской России было изучено совершенно недостаточно. Взгляд из центра, сверху вниз, значительно исказил картину, так что требуется скрупулезное воспроизведение реалий провинциальной жизни. Как пишет автор, изучение механизмов управления и участия в нем местного населения в регионах Центральной России поможет лучше понять особенности периферии (2010, 942, с. 5).

Евтухов попыталась написать тотальную историю одной губернии, сосредоточившись на местной интеллигенции, которую она противопоставляет революционной народнической, и отмечает, что ее интересует прежде всего «мейнстрим» общества, а не маргиналы (т.е. речь идет о пресловутом «отсутствующем» среднем классе). Большое внимание, в отличие от предшествовавшей историографии, занимавшейся главным образом крестьянством и на-

¹ Smith-Peter S. How to write a region: Local and regional historiography // *Kritika*. – Bloomington, 2004. – Vol. 5, N 3. – P. 527–542; Eadem. Bringing the provinces into focus: Subnational spaces in the recent historiography of Russia // *Ibid.* – 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 835–848.

родной культурой, она уделяет культуре мещанства и купечества – и в этом главное отличие ее исследования от социальной истории прошлых лет. Возможно, потому, что основное место в ее книге занимают представители местной интеллигенции – «провинциальные деятели» – и созданные ими тексты (включающие в себя и земскую статистику, и фотографии), религия не стала ведущей темой. Впрочем, поскольку одним из героев книги, наряду с почвоведом Докучаевым, местным историком и статистиком Гацицким, фотографом Карелиным, является Мельников (Печерский), автор знаменитой диалогии о раскольников быте, религиозные сюжеты нашли достаточно полное освещение. Автор стремится реконструировать «реальную жизнь» в ее культурных воплощениях, заключая свое исследование главой «Идея провинции». Книга была отмечена престижной премией Уэйна Вусинича в 2012 г., и автор в интервью выражает уверенность, что это только первая ласточка из череды исследований русской провинции в американской историографии, которые находятся сейчас в стадии подготовки¹.

То, что интервью у профессора Джорджтаунского университета Кэтрин Евтухов брала Кейт Браун из университета Мериленда, расположенного совсем неподалеку, в том же Вашингтоне, достаточно симптоматично. К. Браун сама несколько лет назад написала биографию региона, который со всем основанием можно было бы назвать периферией (2004, 530). Это так называемые польские «кресы» – довольно большой регион, расположенный на русско-польском пограничье и населенный поляками, немцами, евреями, украинцами, белорусами, русскими, русинами. Что же заставило Кейт Браун исследовать «не-место», как она определила его в названии книги, т.е. то место, которое никогда не являлось политическим образованием и не имело никакого исторического значения, оставаясь никому не известным до апреля 1986 г., когда взорвался Чернобыльский реактор?

Кресы, это «побочное дитя прогресса», как называет его автор, оказались в эпицентре разрушений, которые принес миру XX век. (2004, 530, с. 1). Первая мировая война с ее депортациями немецкого и еврейского населения, затем Гражданская и польско-советская войны прокатились по региону со всей жестокостью. А за 30 лет, начиная с 1923 г., соединенными усилиями Советского Союза, нацистской Германии и Польши «мозаика местных культур» была

¹ Portrait of a Russian province. Kate Brown (UMBC) interviews Katherine Evtuhov (Georgetown U) // NewsNet. – Wash., 2013. – Vol. 53, N 2. – P. 8.

фактически уничтожена. Пережив после сталинских депортаций ужасы Второй мировой войны, холокоста и оккупации, насильственный обмен населением между СССР и Польшей при установлении новых границ, «не-место» превратилось в центральную часть Украинской ССР. Собственно говоря, изучение того, как разные государства с разными политическими режимами и идеологиями осуществляли во имя прогресса и порядка это превращение, и является главной задачей исследования.

Как и К. Евтухов, автор смотрит на историю периферии из нее самой, но методология книги резко отличается от того, к чему мы привыкли. При всей сложности вещей, которые анализирует К. Браун, ее методология доступна и на редкость притягательна лирической интонацией авторского повествования, ведущегося от первого лица. Книга написана в жанре травелога, перенося нас из Киева в Довбыш (ранее Мархлевск), из бывшего немецкого села – в Казахстан, где депортированные «неблагонадежные» жители западного пограничья превратились в желанных колонистов, осуществляющих «социалистическое освоение степей». В центре внимания путешественницы находится не то, как управлялось это забытое Богом место, а то, как жили люди, которые его населяли, их судьбы, по которым прошелся каток истории, наконец, человеческая память и ее извивы.

Рассматривая депортации – сначала кулацкие, а затем и этнические – с точки зрения самих людей, в том числе тех, кто их проводил, Кейт Браун получает возможность дать их «интимный портрет», показать сложности и хитросплетения политики, идеологии и событий, которые выстраивались определенным образом. Но главная задача исследователя значительно масштабнее – проследить путь «модернизации», по которому следовали не только советские руководители, но и немецкие оккупанты. Они, придя на Правобережную Украину, тоже хотели ее «улучшить», пишет автор, только в своем – особом – понимании, и также «рядились в мантию цивилизации» (2004, 530, с. 192).

Основным механизмом для привнесения цивилизации в край, который представлялся архаичным хаосом, где смешались диалекты, конфессии, местечковые суеверия и деревенские традиции, являлась классификация. Поскольку многообразие культур и конфессий воспринималось большевиками как признак отсталости, его следовало привести в соответствие со стандартными европейскими понятиями о нациях. Началась классификация, согласно которой требовалось отделить украинизированных поляков от полонизиро-

ванных украинцев, немецкоговорящих от тех, кто говорил на идиш, украинский язык от диалектов белорусского. Создавая свою «культурную историю» национальной политики, Кейт Браун подчеркивает не только слабость государства, которое не имело инструментов для управления периферией, но и «культурную пропасть» между властью и населением. Большевики с большим подозрением относились к западному пограничью и его населению, к «другому миру» местных культур, который оставался невидимым для цифр. Они не могли «посчитать» этот мир, он не укладывался в абстрактные категории, которыми оперировали большевики – революционное правосудие, самоопределение, национальная принадлежность – и которые, в сущности, были не менее воображаемыми, чем русалки или чудотворные иконы (2004, 530, с. 54).

Автор ненавязчиво и элегантно развенчивает «нарратив прогресса» и миф о создании национального государства. К той новой системе координат, в которой мыслит Кейт Браун, мы обратимся в следующей главе. А пока следует заметить, что изучение этой части Восточной Европы, наиболее пострадавшей во время катаклизмов первой половины XX в., начало активно развиваться в зарубежной русистике в последние годы¹. В центре внимания находятся миграции населения и политические практики в странах бывшего Советского блока и в СССР, которые рассматриваются как единый регион, без акцента на государственных границах. Поговаривают даже о возникновении новой субдисциплины «исследования Центрально-Восточной Европы», которая отличается от прежних *area studies* прежде всего своим транснациональным подходом. Транснационализм – концепт, активно используемый в настоящее время в мировой историографии и в культурных исследованиях, начинает свое проникновение и в русистику.

¹ См., например: Warlands: Population resettlement and state reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945–1950 / Ed. by Gatrell P., Baron N. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

Глава 5

К ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Движение «в сторону транснациональной истории» в мировой историографии, начавшееся сравнительно давно, в последние тридцать лет приняло форму активной и осознанной борьбы с этноцентризмом (под которым подразумевается, конечно же, европоцентризм). Это неизбежно включает в себя и критику национального государства как категории исторического анализа. Начиная с 1990-х годов наряду с постколониальными исследованиями, прямо атаковавшими европоцентризм, активизируется сравнительная и всемирная история, возникают такие дисциплины, как глобальная история, пересекающиеся истории (*entangled histories*, *histoire croisée*), наконец, транснациональная история. Общей тенденцией становится расширение горизонтов, стремление видеть шире государственных границ, и даже более того – видеть мир как некую целостность, а не конгломерат отдельных государств.

В контексте американской русистики эти тенденции обрели собственную конфигурацию, обусловленную прежде всего конкретными обстоятельствами окончания холодной войны и распада Советского Союза на национальные республики. В контексте борьбы за деидеологизацию дисциплины «европоцентризм» означал в первую очередь «принижение» отсталой России, противопоставляемой развитому демократическому Западу. Поскольку в период холодной войны произошло «исключение» России из Европы, в 1990-е годы на первый план выдвигается задача возвращения ее в семью европейских наций (2005, 623). Главной мишенью критики в сообществе историков-русистов стала идея об уникальности России, которая служила в годы идеологического противостояния основой для самых негативных заключений или же – в лучшем

случае – подталкивала исследователей изучать ее как особый феномен, замыкаясь в рамках национального государства.

Таким образом, необходимость преодолеть «тяжелое наследие» холодной войны ставила перед американской русистикой особые задачи, решение которых осуществлялось разными способами. Все эти обстоятельства обусловили траекторию ее движения к транснациональной истории, которое принимало на протяжении последнего десятилетия различные, часто специфические формы.

* * *

«Освобождение» русистики от этноцентризма и сосредоточенности на национальном государстве реализовывалось первоначально в исследованиях России как многонациональной империи. Взгляд на Россию как империю неизбежно расширял горизонты, способствуя выходу из узких рамок национального государства (которым Россия, как известно, никогда не была). Не отказываясь полностью от концепта национального государства, исследователи обращали внимание на сложность взаимоотношений между нацией и империостроительством. В исследованиях империи неизбежно присутствовал сравнительный контекст, хотя бы для того, чтобы дать удовлетворительную дефиницию имперского государства. К тому же общность судеб Российской, Османской и Австро-Венгерской империй, распавшихся в результате войны и, как были склонны считать многие историки, развития национализма, побуждала к применению сравнительной методологии. Геополитика была также в ходу, прежде всего здесь следует упомянуть работы Дж. Ле Донна (1997, 223; 2004, 554) и Д. Ливена¹.

Казалось бы, изучение России как империи должно было способствовать выходу ее из историографической изоляции и подключению транснационального измерения. Но в нашем случае (как и в случае Германии) все значительно осложняется наличием идеи «особого пути» исторического развития. Поскольку для американской историографии времен холодной войны проблема «Россия и Запад» имела центральное значение², в новых условиях обойти ее своим вниманием историки не могли. Как было показано в предыдущей главе, авторы большинства работ, традиционно сосредоточивавшиеся на государственной политике Российской им-

¹ Lieven D.C. B. *Empire: The Russian Empire and its rivals*. – L.: John Murray, 2000.

² Дэвид-Фокс М. Ук. соч. – С. 9–10.

перии, склонялись к признанию особого, двойственного положения России «между Востоком и Западом». Для них эта дихотомия продолжала, пусть и в смягченной форме, сохранять свое значение, хотя концепция ориентализма Э. Саида существенно ее проблематизировала. Культурно-исторический подход, реализовавшийся в основном в русле постколониальных исследований, переводил дихотомию «Восток / Запад» в область мифологии, снимая таким образом противоречие, неизбежно существующее при ее эссенциализации. Однако эту линию исследований Российской империи никак нельзя назвать преобладающей. Определенный потенциал в привлечении транснационального измерения имеет социальная история колонизации и приграничных территорий империи, в центре внимания которой оказались передвижения людей, не скованных государственными границами. Но, будучи сосредоточена на «земле», социальная история не слишком расположена к пересмотру вековых идеологем.

И все же определенные изменения произошли. В исследованиях имперской проблематики в последние несколько лет все больше внимания начинают уделять культурным трансферам, пересечениям, заимствованиям и подражаниям в том, что касается идей, практик, институтов. Активизировалось обсуждение «транснациональных» вопросов на таких площадках, как журналы «Ab imperio» и «Критика». «Восток» включается в обсуждение этих тем уже не в качестве объекта («низшего Другого»), а как один из равноправных источников влияния, который в свою очередь испытывал прямое и опосредованное воздействие других культур¹. Возникает ощущение, что сама по себе «имперская парадигма» в применении к изучению истории России не привела бы к «транснациональным» подвижкам. Потребовалось некое общее расширение взгляда на мир как единое целое, в частности, утверждение представлений о том, что государства не являются автономными единицами (2011, 969, p. 6).

Здесь, конечно, нельзя упускать из виду, что изменения в историографии происходят не одномоментно и не в результате

¹Помимо публикаций в указанных журналах см.: *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917): Сб. ст. / Под ред. Ауста М. и др.* – М.: Новое литературное обозрение, 2010. «Транснациональные» сюжеты появлялись в русистике и раньше, но в отсутствие соответствующей терминологии и общепризнанного тренда не получали широкого резонанса, как, например, книга Т. Эммонса о приключениях русских в Сан-Франциско (1997, 216).

какого-то открытия, особенно когда дело касается таких базовых вещей, как понимание хода русской истории в ее отношении к Западу. И потому не имеет смысла искать момент, когда же в работах американских русистов утвердилось общее мнение о том, что Россия была империей, а не национальным государством, и вплоть до 1917 г. являлась полноправной участницей мирового исторического процесса. Можно только констатировать, что именно в этих рамках рассматривается история дореволюционной России в современной американской историографии. Дальше начинаются разночтения, поскольку до сегодняшнего дня сохраняет свою силу тенденция трактовать Советский Союз как особый феномен, в крайних оценках – как государство, «выпавшее» на 70 лет из мировой истории.

Имперская парадигма применялась к изучению СССР спордически, что объяснялось прежде всего несогласием многих американских русистов с имперской сущностью Советского Союза. Однако, как мы видели, имперские рамки сами по себе дают не так много возможностей для пересмотра дихотомии «Россия / Запад», имея тенденцию замыкаться на бесплодных дискуссиях о концепции ориентализма. Другая возможность преодолеть базовые интерпретации времен холодной войны реализуется посредством применения концептов общеевропейской истории к изучению России и СССР. Как уже говорилось, в изучении допетровской Руси в этом направлении были сделаны решительные шаги. Чтобы оценить динамику в интерпретациях истории СССР, вернемся к концепции советской модерности, о которой шла речь в первой главе.

В 2001 г. в американском журнале «Критика» была опубликована большая статья профессора Принстонского университета Стивена Коткина «Новые времена»¹. Как и многие работы этого автора, она несла на себе печать программности. Текст начинается с описания одноименного фильма Чарли Чаплина 1936 г., который был – как мы увидим, неслучайно, – очень популярен в СССР. В фильме присутствуют практически все символы, характеризующие наступившую в XX в. новую эпоху: заводской конвейер, ра-

¹ Kotkin St. Modern times: The Soviet Union and the interwar conjuncture // Kritika. – Bloomington, 2001. – Vol. 2, N 1. – P. 111–164. Эта статья была также опубликована в сборнике, изданном в честь выдающегося американского историка-русиста Мартина Малиа, учителя Коткина (2003, 475), и оперативно переведена на русский язык: Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Мишель Фуко и Россия. – СПб., 2001. – С. 239–315.

бочие демонстрации с красными флагами, всеильные полицейские, универмаг с изобилием товаров, наконец, «маленький человек» – главный герой, противостоящий бездушной машине и никогда не теряющий своего беззаботного оптимизма. И хотя фильм был с восторгом воспринят советскими киноруководителями как «сатира на капитализм», тем не менее в целом он резонировал с теми чертами современного общества, которые присутствовали в СССР 1930-х годов и составляли суть эпохи. Центральное место в этой системе символов для Коткина занимают завод и универмаг, а также сам кинематограф как воплощение культуры новой «эпохи масс». Они олицетворяют сущностные черты модерности (современности), которые включают в себя, в прочтении Коткина, распространение массового производства, массовой культуры, массового потребления и широкое участие населения в политике государства.

Концепция Коткина обрела свои первые контуры еще в 1990 г., была разработана в его монографии «Магнитка: Сталинизм как цивилизация» (1995, 148) и нашла отражение в двух программных статьях. «Новые времена» – вторая из них. Первая, посвященная задачам изучения русской революции после распада СССР, фактически представляла собой манифест нового поколения историков, «вступающих в зрелый возраст в мире, свободном от проблемы коммунизма»¹. В ней подчеркивалось, что эпоха модерности закончилась, что дает возможность изучать ее как исторический феномен, имеющий четкие границы и отличия от дня сегодняшнего. В применении к истории Советского Союза «модерность» для Стивена Коткина и его последователей означала нечто, кардинально отличное от построений теории модернизации с присущими ей телеологией и нормативностью.

Изучая российскую модерность как вариант глобального феномена, американские историки поместили Россию / СССР даже не в общеевропейский, а в общемировой исторический контекст. В основе этого перемещения лежало иное понимание исторического процесса. В сущности, теория модернизации была глубоко неисторична в своем утверждении, что в разное время в разных местах разные общества рано или поздно проходят одни и те же фазы раз-

¹ Kotkin St. 1991 and the Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks // J. of mod. history. – Chicago, 1998. – Vol. 70, N 3. – P. 384–425. Подробно рассматривалась в журнале «Ab imperio»: Суни Р. Социализм, пост-социализм и нормативная модерность: Размышления об истории СССР // Ab imperio. – Казань, 2002. – № 2. – С. 19–54.

вития. Теперь же на первый план выступила синхронность, которую можно трактовать как раннее проявление глобализации, а можно и как-то по-другому. В любом случае здесь заметно обостренное чувство истории, разворачивающейся не только во времени, но и в пространстве.

Строго говоря, категория «модерности», ассоциирующаяся в первую очередь с индустриальным обществом, не должна была бы противостоять теории модернизации. До сегодняшнего дня историки, признавая неопределенность и исключительную широту этой категории, продолжают критиковать ее именно за нормативность и европоцентризм¹. Правда, к настоящему времени набор характеристик идеального современного государства существенно расширился, изменилась и их иерархия. В то же время под влиянием изменений в мире и в науке постоянно происходит пересмотр сущности модерности, и эта категория наполняется все новым содержанием.

Точно так же в 1990-е годы сторонники применения концепции модерности к изучению истории России и СССР вложили в эту категорию свой собственный смысл. Опираясь на работы социологов и специалистов по истории Западной Европы, американские русисты поставили в центр своих исследований идеологию (а точнее, идеи Просвещения о необходимости и возможности переустройства общества на научных, рациональных началах) и политические практики современного государства, активно вторгающегося в жизнь своих граждан. Вслед за Зигмунтом Бауманом они говорили о «государстве-садовод», которое занимается классификацией населения, распределяет его по категориям и, если продолжить метафору, рассаживает по клумбам и грядкам, безжалостно выпалывая ненужное (см.: 2003, 490). В центре внимания «группы модерности» изначально находился дискурс, вращающийся вокруг идеи прогресса, что позволяло увидеть общие черты в государственных «проектах» России и европейских стран, а в более широком плане – общность западной и российской истории.

Эпоха, наступившая в конце XIX в., определяется ими как «эра масс» и одновременно как время торжества индивидуализма, вылившегося в формирование современного типа личности. Государство в этот период начинает проводить исключительно активную «интервенционистскую политику», направленную на дости-

¹ См. материалы дискуссии: American historical review. – Wash., 2011. – Vol. 116, N 3. – P. 631–751.

жение интеграции общества и основанную на рациональных, «современных» началах. Причем формы интеграции населения могут включать в себя не только национальное государство, но и империю, что позволяет вывести за скобки парламентскую демократию, которую долгое время признавали единственным способом построения современного общества. Центральное значение для характеристики всех особенностей этой эпохи имеет система ценностей Просвещения, с ее преклонением перед наукой и прогрессом и пренебрежением к религии и «традиционализму». В период с конца XIX в. до начала Второй мировой войны все перечисленные тенденции получили широкое распространение, охватив в той или иной степени и Запад, и Восток, от США до Японии, и сформировали общий облик «парадоксальной и многоликой модерности» (см.: 2000, 352; 2004, 560).

Многозначность и вариативность феномена модерности подчеркивали многие историки и социологи, указывая на парадоксальную природу «современности» и сравнивая ее с «двуликим Янусом»¹. «Темные стороны» модерности чаще всего ассоциируются с жесткими, а то и жестокими мерами государства по отношению к населению, особенно когда речь идет о политике колониальных держав. «Прогресс» несет с собою вовсе не освобождение, а новые формы угнетения человеческой личности на фоне унификации культур и стирания этнического разнообразия (см.: 2004, 530).

Первоначальный интерес американских русистов к проблемам формирования современного (модерного) государства вылился в изучение надзора и практик «категоризации» населения по этническому или иным признакам². Интеллектуальное влияние Фуко естественным образом вызвало к жизни исследования по истории науки, которая трактовалась как «экспертное знание», вырабатывающее критерии для классификации населения, с особым внима-

¹ М. Дэвид-Фокс подробно рассмотрел концепцию Ш. Эйзенштадта о множественных модерностях и перспективах ее применения к истории России: David-Fox M. Multiple modernities vs. neo-traditionalism: On recent debates in Russian and Soviet history // *Jr. für Geschichte Osteuropas*. – Wiesbaden, 2006. – Bd 54, H. 4. – S. 534–556.

² Помимо статей в сборнике «Русская модерность» (2000, 352) см.: Kotsonis Y. «Face-to-Face»: The state, the individual, and the citizen in Russian taxation, 1863–1917 // *Slavic rev.* – Urbana, 2004. – Vol. 63, N 2. – P. 221–246; Idem. «No Place to Go»: Taxation and state transformation in late imperial and early Soviet Russia // *Journal of modern history*. – Chicago, 2004. – Vol. 76, N 2. – P. 531–577.

нием к медицине и психиатрии (2005, 599; 2010, 905)¹. «Лингвистический поворот» отразился в исследованиях революционного сознания средствами дискурсивного анализа (2002, 436, 459). Одной из важных тем стал проект создания «нового советского человека», основанный на присущей Просвещению вере в человека как творца истории и в его способность перестроить мир. Изучение советской субъективности представляется наиболее интересным, дискуссионным и сложным направлением в современной историографии (2003, 483; 2006, 652; 2009, 810; 2011, 946)². В сферу интереса постревизионистских исследователей сталинизма 1930-х годов были включены социальная политика и «цивилизующие» практики государства (2003, 485; 2011, 948). Проблема усвоения государственной идеологии и перенесения ее в сферу частной жизни также находит своих исследователей. Именно рутинные житейские практики, а не постановления партии, считают американские историки, делали революцию понятной и близкой для большинства советских людей и создавали современную (modern) идентичность (2006, 646).

Довольно быстро к изучению российского варианта модерности стали применять гендерный анализ, а затем и весь спектр методологии культурной истории (симптоматично, что авторитетом наряду с Зигмунтом Бауманом становится Вальтер Беньямин). Любовь и смерть – излюбленные темы бульварной прессы – оказываются в фокусе внимания исследователей, и здесь уже в силу вступают другие авторитеты, в первую очередь Фрейд и Лакан. В 2000-е годы культурная история без всякого напряжения инкорпорирует категорию модерности, которая для конца XIX – начала XX в. ассоциировалась обычно с модернизмом и русским Серебряным веком. Во многих работах, посвященных культуре этой эпохи, термин «модерность» используется несколько в ином ключе, однако находятся и точки соприкосновения, когда речь идет о кризисе личности и духовных поисках.

Исключительно плодотворным оказалось включение религии в общую концепцию российской модерности. Американские русисты обратились к изучению серьезных теоретических вопросов о сущности религии и «священного» и их роли в «новые вре-

¹ Beer D. Renovating Russia: The human sciences and the fate of liberal modernity, 1880–1930. – Ithaca: Cornell univ. press, 2008.

² Krylova A. The tenacious liberal subject in Soviet studies // Kritika. – Bloomington, 2000. – Vol. 1, N 1. – P. 119–146.

мена»¹. Вслед за своими коллегами, изучающими историю Западной Европы, они поставили под сомнение общепринятую модель, согласно которой секуляризация являлась неотъемлемой частью процесса формирования модерности. Эта модель основывалась на противопоставлении светской, рациональной «модерности» и религиозной по своему характеру «традиции». Считалось, что религия (которой давалось исключительно институциональное определение) постепенно теряла свое центральное положение в политике и социальной жизни и становилась личным делом индивида. Конечно, никто не отрицает, что религиозные институты утратили свою ведущую роль, однако религиозное и светское, будучи в высшей степени политизированными категориями, не противоположны друг другу, они существуют параллельно, во взаимном притяжении и взаимном обмене. Так, светская власть, продолжая ограничивать деятельность церкви в публичной сфере, одновременно сделала сакральными определенные принципы и понятия, как, например, «нация» или «неприкосновенность прав личности» (2006, 666, р. 5–6).

Серьезным достижением является сборник «Священные истории» – результат конференции, проведенной в 2002 г. в университете Иллинойса (2007, 718). Опубликованные в нем статьи ставят под вопрос такие, казалось бы, привычные вещи, как утверждения об упадке Русской православной церкви в последние десятилетия существования царского режима, о пропасти между сакральным и светским, наконец, о несовместимости религиозности с современностью. Как пишут редакторы-составители Марк Стайнберг и Хитер Коулман, до настоящего времени религия и духовность, эти «обломки умирающей традиции» на пути секулярного прогресса, отмечались историками в пользу более «реальных» сил – социальных, экономических и политических. Понимая религию как «область социального воображения и практик, где соединяются повседневный (и чрезвычайный) опыт, идеи, верования и эмоции», подчеркивая ее сложную и чрезвычайно глубокую связь с миром человеческой личности и с социумом во всей целостности, авторы и составители сборника поставили задачей рассмотреть ее взаимоотношения с модерностью (2007, 718, с. 1).

¹ Engelstein L. Holy Russia in modern times: An essay on Orthodoxy and cultural change // Past and present. – Oxford, 2001. – Vol. 173, N 1. – P. 129–156. Поместив рядом два, казалось бы, несовместимых образа («Святая Русь» и «Новые времена»), американская исследовательница задает определенный угол зрения на русскую модерность.

В сборнике продемонстрировано усиление религиозного компонента в эпоху *fin de siècle*, которая характеризуется как время религиозного возрождения и активных духовных поисков. При усилении в сознании людей элементов индивидуализма возникает рефлексия по поводу религиозных верований, повышаются требования к церкви, что стимулирует все новые попытки «вдохнуть новую жизнь» в православную веру. В ответ на тотальный кризис системы ценностей, присущий эпохе модерности, многие, не найдя удовлетворения своим запросам в православной церкви, увлеклись мистицизмом, спиритизмом, теософией, восточными религиями, занялись богоискательством. В низших слоях общества широко распространяется интерес к духовно-этической литературе, развиваются неконформистские морально-духовные движения; паломничество к святым местам и иконам принимает массовые масштабы; крайне усиливается вера в сверхъестественные явления (видения, одержимость, в демонов, духов, чудеса и колдовство); возрождаются местные церковные общины, которые вырабатывали свои ритуалы, иногда без участия духовенства; быстро растет сектантство, в особенности баптизм. Еще один важный аспект духовной жизни в России в «новые времена» – поклонение Льву Толстому и движение толстовцев, в том числе и среди простого народа (2007, 718, с. 4).

Государство также отзывалось на эти тенденции, но по-своему. В официальном дискурсе на первый план выходят идеи о национальной религиозной миссии и вековечной духовной связи между царем и подданными. А православная церковь, несмотря на поддержку государства, на рубеже веков испытывала «кризис идентичности», хотя, как показано в сборнике, в каких-то отношениях успешно приспосабливалась к запросам времени: обращалась к авторитету врачей для освидетельствования случаев чудесного исцеления, осваивала «новые технологии». Например, один из крупных центров паломничества, Соловецкий монастырь, построил электростанцию и провел телеграф. Отмечается роль прессы и массовой литературы в распространении информации о чудесах и новых святых, что способствовало расширению паломничества, выводя его на общенациональный уровень, и одновременно стимулировало появление все новых чудес (там же, с. 24–25, 39).

В сборнике подчеркивается, что богатство духовной жизни являлось отличительной чертой эпохи «высокой модерности» во всех странах, где наблюдался характерный симбиоз религиозного и светского. Религиозные идеи и опыт, так же как и концепции священного, были тесно переплетены с новыми дефинициями

личности, они занимали немаловажное место в процессах выработки национальной идентичности и новых идеологий. И все же при изучении религиозной проблематики крайне трудно преодолеть хронологический водораздел 1917 г., хотя бы потому, что тогда было создано атеистическое государство. Некоторые историки-русисты пытаются смотреть на историю церкви в континууме (2010, 888), однако более плодотворных результатов можно ожидать от культурно-исторических исследований. В сборнике, посвященном сложным взаимоотношениям между русскими иконами и модерностью, указывается на подвижность и неопределенность границ между прошлым и настоящим, между традиционным и современным, которые проводятся каждый раз по-новому, в зависимости от восприятия смотрящего на них (2010, 856, с. 1).

Русский вариант модерности чрезвычайно интересен своей насыщенностью, культурным разнообразием эпохи *fin de siècle*, или – что шире в хронологическом отношении – Серебряного века. Американские русисты давно и серьезно занимались изучением истории русской культуры этой эпохи, с течением времени все больше внимания они стали уделять массовой культуре, технологиям и коммуникациям, которые начали бурно развиваться в начале XX в. Исследования культуры потребления – консюмеризма – также находятся в русле этой новой тенденции. Поскольку генетически они тесно связаны с историографией Западной Европы и Америки, концепт модерности неизбежно в них присутствует. Для этих работ характерна тенденция преодолевать «разрыв 1917 года», прослеживая преемственность в формировании культуры массового потребления в России в 1880–1920-е, а в некоторых случаях и в 1930-е годы (2008, 770; 2011, 984; 2012, 998). Далеко не всегда они прямо поддерживают концепцию советской модерности Коткина, однако некоторые из них добавляют новые аргументы в ее пользу.

В работе Эми Рэндалл (2008, 770), например, даже присутствует отдельная глава, посвященная интервенционистским мерам развитых индустриальных стран по насаждению консюмеризма, которые она трактует как важный инструмент в формировании лояльного гражданства. Так что кампанию по созданию в СССР государственной системы розничной торговли и потребления, начатую в 1931 г. с прагматической целью – покончить с кризисом распределения, разразившимся в 1929–1930 гг., – она исследует как целенаправленную политику по созданию советской «страны грёз» и культуры массового потребления. Выделяет она и характерные особенности социалистического консюмеризма, несущего

в себе большой педагогический заряд. При всем поощрении мечтаний о новом обществе изобилия в СССР 1930-х годов, советская торговля как часть «нового быта» должна была в первую очередь способствовать повышению культурного уровня масс и составляла немаловажную часть проекта по созданию «нового советского человека». Существование социалистической торговли и сферы социалистического потребления должно было «подчеркнуть победу Советского Союза над отсталостью и дополнить технологическую и индустриальную утопию московского метро, Магнитки и канала Москва–Волга» (2008, 770, с. 2).

В работах по истории российского консюмеризма отмечается амбивалентное, даже противоречивое отношение к культуре массового потребления в разных слоях российского общества. С одной стороны, приобщение к ней в конце XIX в. крестьян и рабочих вызывало беспокойство у представителей консервативной элиты, считавших, что западный капитализм «портит» русский народ и ведет к утрате самобытности. С другой стороны, интеллигенция всячески отмежевывалась от меркантильной вульгарности и пошлости в пользу более «духовного» существования, а для революционной морали важной добродетелью являлся аскетизм. В то же время низшие классы вовлекались в «культуру приобретательства» далеко не полностью: богатство и роскошь верхушки общества часто вызывали у них возмущение и зависть. Не менее противоречивым было отношение к торговле и потреблению пришедших к власти большевиков, и понадобилось много усилий, чтобы вписать изначально негативный образ торговли в общий план построения социализма.

Отправной точкой для американских исследований культуры потребления в России является, по совершенно понятным причинам, советский дефицит, который застали многие авторы, приезжавшие на стажировку в СССР на рубеже 1980–1990-х годов. Этот исходный факт неизбежно влияет на интерпретации и требует определенных усилий, чтобы вписать свою работу в общий поток мировых исследований консюмеризма. Возникает искушение отмечать несовместимость современного консюмеризма с архаическим самодержавным режимом (2011, 984) или проводить разделительную линию между торговлей до революции и после («Покупатель всегда не прав» – 2012, 998). Тем не менее, несмотря на голод, дефицит и очереди, удастся обнаружить в советском консюмеризме и какие-то конструктивные черты, и чисто советские особенности социального строительства. Отмечая, что в результате реформы

1931 г. в торговлю пришли десятки тысяч новых работников, началось развитие системы специального образования, возникло движение за социалистический труд, Э. Рэндалл указывает на возникновение новых отношений между государством и гражданами. В 1930-е годы целенаправленно создается новая идентичность – советский потребитель, который служит интересам режима и одновременно приобретает новые права и обязанности, пусть ограниченные и в официально разрешенных пределах (2008, 770, с. 137).

Особое внимание американские исследования российского консюмеризма уделяют гендерной проблематике, прежде всего нормам и стереотипам. В советское время к господствующему стереотипу женщины – бездумной потребительницы товаров добавляется «культурная героиня советской торговли», что привело к изменениям в официальном дискурсе и «разрушило монополию на идеал маскулинизированного пролетария» (там же, с. 86). Изменения гендерных идентичностей и норм, которые фиксируются при изучении советской культуры потребления, добавляют важные мазки в общую картину социалистического общества. В то же время в исследованиях консюмеризма присутствуют и готовые объяснения, лежащие на поверхности. Выводы о том, что растущая неспособность удовлетворить нужды потребителей, вызванная неэффективностью социалистической системы управления, способствовала росту разочарования в социализме и последующей его гибели, стали уже общим местом в исследованиях социализма (См., например: 2008, 778).

Взятые в совокупности, работы о «русском варианте модерности» существенно изменили представления о периоде 1890–1930-х годов. Как и другие страны Европы, Россия пережила духовный кризис рубежа веков (*fin de siècle*), бурное развитие в начале XX в. массового потребления, массовой культуры и прессы, в частности, бульварной литературы и немного кинематографа, подъем религиозных движений и резкое усиление духа национализма. Эпоха модерности была отмечена в России ускоренной индустриализацией, урбанизацией, развитием транспорта, который сделал доступными самые отдаленные уголки империи, усвоением новых технологий и связанными с ними социальными трансформациями. Однако не менее важными чертами эпохи признаются интеллектуальные и духовные искания, массовые религиозные паломничества, диссидентские религиозные движения, борьба за свободу совести, распространение мистицизма в литературе и искусстве и возникновение новой традиции религиозной философии (2007, 718, с. 1–2).

После революции 1905 г. начинается активная милитаризация общества, затем последовала Первая мировая война, которую многие исследователи считают поворотным пунктом в истории России. Именно тогда во всех воюющих державах сформировались политические практики государственного насилия и надзора за населением, которые затем были унаследованы Временным правительством, усилены в годы революции и Гражданской войны, а потом перенесены большевиками в мирное время. Однако, как отмечает Питер Холквист, при всем своем сходстве с политикой европейских стран действия большевиков отличались особой жесткостью и непримиримостью, поскольку главной их целью являлась «трансформация индивида» с целью создания «нового советского человека» и построения социализма (2002, 431).

Все эти события рассматриваются в контексте общемирового кризиса, разразившегося в XX в. Как уже говорилось, «Русская революция» перестает быть событием уникальным и исключительным, будучи вписана в мировой исторический процесс. Серьезные изменения в картину «кризиса старого режима» вносят исследования массовой культуры, массового потребления и гендерных трансформаций. Иначе выглядит и сталинская эпоха: на смену исследованиям репрессий и крестьянского сопротивления пришли история потребления и досуга, семьи и рабочего места, массовой культуры и образования, наконец, пути и способы формирования новой личности – советского человека. Благодаря расширению сферы политического пересматриваются трактовки сталинской политики, в частности, поставлено под сомнение так называемое «Великое отступление» – поворот от революционных ценностей 1920-х годов к консервативным в 1930-е.

В то же время советская модерность, в том виде, как она была представлена в работах Коткина, так и не стала «парадигмой» для американской русистики, а к 2010-м годам утратила свою непосредственную актуальность¹. Интерес исследователей сместился к хрущёвским и брежневским временам, к истории холодной войны, что значительно ослабило напряжение, возникшее между разными

¹ Характерно, что Амир Вайнер, продвигавший на рубеже 2000-х годов идею общеевропейской модерности (2001, 407), в недавней статье, опубликованной в журнале «Критика», предпочел вообще не употреблять этого слова, хотя и остался верен широкому сравнительному подходу: Weiner A., Rahi-Tamm A. Getting to know you: The Soviet surveillance system, 1939–57 // Kritika. – Bloomington, 2012. – Vol. 13, N 1. – P. 5–45.

подходами к изучению сталинизма. Оно не исчезло окончательно, как можно заметить по работам некоторых совсем молодых историков, считающих своим долгом упомянуть концепцию советской модерности и не согласиться с нею (как, впрочем, и со многими другими, ушедшими уже для них в прошлое)¹. Однако же все меньше исследователей решается анализировать историю Советского Союза исключительно «изнутри», без хотя бы формального упоминания процессов, происходивших на Западе. Одновременно расширяется тенденция рассматривать советскую и восточноевропейскую историю в едином блоке – линия, активно разрабатывавшаяся «группой модерности» на рубеже 2000-х годов (2006, 685; 2010, 882, 906).

Тем резче выступают на этом фоне работы, выполненные в русле теории модернизации и использующие термин «модерность» в строго нормативном смысле, как, например, монография Л. Херетца о статичной, неизменной культуре русского крестьянства, которое в ответ на модернизационные меры государства только усиливало свою «традиционность» (2008, 748), или книга Стивена Маркса, откровенно конъюнктурная, журналистски ухватившая «новые веяния» в науке. В ней доказывается, что все, исходившее из России, было антизападным, а значит, по сути своей антимодерным (2003, 493).

Обращается к темам, ставшим знаковыми для концепции модерности, и социальная история. В качестве примера можно привести исследование Дж. Хесслер о советской торговле, вполне традиционное в своем «изоляционистском» подходе к изучению институтов и практик социалистического государства (2004, 547). Как это все чаще случается с социальной историей, интерес вызывают здесь сами данные, а не их интерпретация. Для Хесслер термин «модерность» остается неприемлемым, он ассоциируется с определенным видением исторического процесса, несовместимым с «классической» социальной историей.

Тем не менее наблюдаются и линии взаимодействия, реализовавшиеся, в частности, в фундаментальном сборнике, в котором анализируются довоенный Советский Союз и Третий рейх

¹ Johnston T. Being Soviet: Identity, rumour, and everyday life under Stalin 1939–53. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. Стандартная критика чаще всего сводится к тому, что работы по модерности главным образом дают контекст, но не показывают, в чем заключались особенности СССР, который утрачивает в их изображении черты индивидуальности. При этом не учитывается, что именно сходства могут более ярко высветить различия.

(2009, 788)¹. Без всякого преувеличения его можно назвать эпохальным. Этот 500-страничный том прошел долгий путь до своего выхода в свет. В 2002–2005 гг. инициаторами издания Ш. Фицпатрик и М. Гайером было проведено четыре встречи авторов (все – в США), на которых обсуждались отдельные главы, каждая готовилась совместно двумя историками – специалистами по истории СССР и нацистской Германии. Изначально американские историки ставили задачу выйти «за пределы тоталитаризма», отказаться от моделей, сформированных в годы холодной войны и принадлежащих прошлому веку. Не все участники проекта были столь непреклонны, однако совместная работа историков из Европы и Северной Америки, представителей разных поколений и школ (в частности, ревизионистской и постревизионистской), сама по себе имела большое значение для исторической науки.

Фактически сборник подвел итоги изучения сталинизма 1930-х годов и наметил новые перспективы исследований. Предложенный угол зрения – сопоставить две величайшие диктатуры, параллельное существование и затем столкновение которых наложили громадный отпечаток на всю историю трагического XX в., предполагал не только традиционный сравнительно-исторический подход, но и изучение «взаимного переплетения» траекторий развития социализма и национализма в европейской и глобальной истории (2009, 788, с. 8–9). Одна из частей сборника так и озаглавлена – «Переплетения» (*entanglements*). Первая глава в ней посвящена военному столкновению Германии и СССР, в другой изучаются их культурные связи и взаимовосприятие. Переплетения в истории двух стран в период 1914–1945 гг. освещаются и в сборнике, изданном на основе публикаций в журнале «Критика» (2012, 996).

Термин «*entanglements*» имеет прямое отношение к предложенной французскими историками теоретической программе «*histoire croisée*» и, собственно говоря, представляет собой перевод с французского. «Переплетающаяся» или «перекрестная» история предлагает свой вариант транснационального подхода, в котором особое внимание уделяется переплетению объектов изучения, их многоголосию, множественности, что особенно созвучно культурным исследованиям². Под таким углом зрения рассмотрела интел-

¹ За рамками тоталитаризма: сравнительные исследования сталинизма и нацизма / Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2011.

² Werner M., Zimmermann B. Beyond comparison: *Histoire croisée* and the challenge of reflexivity // *History and theory*. – Middletown, 2006. – N 45. – P. 30–50.

лектуальную жизнь сталинской Москвы 1930-х годов Катерина Кларк (2011, 933). В ее фундаментальной монографии «Москва – Четвертый Рим» центральное место занимают такие актуальные для современных культурных исследований концепты, как транснационализм, космополитизм и мировая литература. «Модерность» для Катерины Кларк не несет полемической заостренности и не составляет предмета специального интереса. Как историк культуры она изначально исходит в своем исследовании из того, что становление особой советской цивилизации происходило во взаимодействии с внешним миром, прежде всего с континентальной Европой, и потому в центре ее внимания находятся «общие тенденции, параллелизмы, синхронность культурных процессов» (2011, 933, с. 5–6).

Катерина Кларк осознанно дистанцируется от предшествующей историографии, что проявляется, к примеру, в термине «культурный поворот» (в противоположность актуальной прежде «культурной революции»), которым она определяет государственную политику 1930-х годов, выдвинувшую на первый план культуру. Она пишет, что культура, и прежде всего литература, выступила, с одной стороны, как суррогат религии в атеистическом государстве, с другой – обрела в начале 1930-х годов самостоятельное значение, выполняя идеологические функции во внутренней политике и одновременно превратившись в важнейший инструмент утверждения международного авторитета СССР. Большевики стремились не только достичь военной и промышленной мощи, но и создать новую цивилизацию, которая стала бы первой среди равных в культурном мире континентальной Европы. Их целью была великая культура, которая составила бы стовую хребет социалистической системы и гарантировала бы ее величие. Симптоматично, замечает автор, что культурой в этот период руководил лично Сталин (там же, с. 9–10).

Важной составляющей «культурного поворота» было обращение к сокровищнице общемировой культуры, что позволяет автору выделить космополитизм как одну из значимых характеристик эпохи. Отмечая, что культура в 1930-е годы стала ареной сражений между державами, соперничающими за лидерство на европейском континенте, она подчеркивает, что утверждение о безусловном превосходстве марксизма-ленинизма над буржуазным мировоззрением являлось главным аргументом СССР в этой борьбе. Большую роль в повышении международного авторитета Советского Союза во второй половине 1930-х годов играл антифашизм. Сравнения и «переплетения» занимают в книге осново-

полагающее место, особенно когда речь идет об СССР и Германии. Кларк, в частности, отмечает, что в то время как в нацистской Германии на первый план выдвигались изобразительное искусство, скульптура и архитектура, в сталинском Советском Союзе, в продолжение давней традиции социалистического движения, безусловный приоритет отдавался тексту. Она указывает на своего рода «благоговение» перед книгой и печатным текстом как таковым, настоящий культ книги в СССР (2011, 933, с. 13–14).

В культуре и идеологии эпохи «высокого сталинизма» К. Кларк выделила две противоположные тенденции: с одной стороны, Советский Союз становился все более закрытым обществом, с другой – происходило расширение «культурных горизонтов» советских людей, прежде всего за счет активной издательской политики по переводу классиков мировой литературы на языки народов СССР. Даже литература социалистического реализма демонстрировала в эти годы определенную широту охвата, что показано на примере романа В. Каверина «Два капитана», в котором история освоения Крайнего Севера помещена в широкий контекст мировых географических открытий. Сюжетная линия обнаруживает родство с такими писателями, как Вордсворт и Диккенс; да и само повествование пестрит отсылками к русской и западной классической литературе. Благодаря активным взаимодействиям в области литературы накапливался, как пишет Кларк, культурный капитал, позволявший советским интеллектуалам «возглавить движение за установление транснационального культурного пространства» (там же, с. 18–19). Западная культура не просто «присваивалась» советскими интеллектуалами: она перерабатывалась и переформатировалась в соответствии с идеологией марксизма-ленинизма.

Сложно передать все многообразие и всю многоплановость книги – что тоже является частью проекта современной транснациональной истории, который ставит своей задачей не просто «проследить движение товаров, технологий или людей» через государственные границы. «Пространство» и «движение» являются ключевыми аналитическими инструментами транснационального подхода¹, предполагая многомерность, выражающуюся, в том числе, и в соединении реального и воображаемого мира. Проще всего это проиллюстрировать на примере авторского анализа планировки Москвы, которая в результате реконструкции должна была стать

¹ Conversation: On transnational history // American historical review. – Wash., 2006. – Vol. 111, № 5. – P. 1444.

мировой столицей, образцовым социалистическим городом, воплотившим в себе идеал классической красоты. Тесную связь между литературой и архитектурой в культурной экосистеме сталинизма и их неотделимость от идеологии К. Кларк обнаруживает уже в самой топографии «новой Москвы», где переименованная в 1933 г. в улицу Горького Тверская брала свое начало от проспекта Маркса, проходила через площади Пушкина и Маяковского и, согласно так и не реализованным планам, должна была заканчиваться широкой аллеей Ильича, оформленной в совершенно римском духе. Широкие аллеи и огромные площади, портики и монументы – все, как и в античном Риме, должно было прославлять власть, представляя собой материальное воплощение ключевых ценностей нового строя. Три европейские страны – сталинская Россия, нацистская Германия и Италия Муссолини – сражались за мантию Рима, пишет автор, но в СССР прямые заимствования можно было наблюдать только в архитектуре.

Само название книги – «Четвертый Рим» – с одной стороны, указывает на генетическую связь с идеологией Московского царства, с другой – подчеркивает утопичность претензий большевиков и одновременно вводит Москву в контекст классических утопий с характерным для них высоким статусом интеллектуалов. В центре внимания находятся такие ключевые для культурной жизни 1930-х годов фигуры, как Сергей Эйзенштейн, Илья Эренбург, Михаил Кольцов, Сергей Третьяков, которых автор называет «космополитами-патриотами», отмечая, что советский космополитизм 1930-х годов был неразрывно связан с патриотизмом и интернационализмом. Все четверо видели себя равноправными участниками общего панъевропейского интеллектуального сообщества, наряду с такими видными деятелями западной культуры, как Дьёрдь Лукач, Бертольд Брехт, Вальтер Беньямин, Лион Фейхтвангер, Артур Кёстлер, Генрих и Томас Манны, Эрнест Хемингуэй, Андре Жид, Луи Арагон и др., которым также уделяется немалое место в книге. Рассмотрение их деятельности позволяет автору осветить культурные связи СССР с Германией и Францией (особенно во времена Народного фронта), с Мексикой и Китаем; обратиться к романтизированному в советском сознании сюжету гражданской войны в Испании (Кольцов под именем Каркова появляется в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», а «Испанский дневник» Эренбурга читала вся страна).

Москва 1930-х годов предстает в книге Кларк космополитическим городом, куда стремились в это время многие знаменитости,

считая СССР единственной державой, по-настоящему преданной делу борьбы с фашизмом. Привлекала многих и коммунистическая идеология, однако после показательных процессов, репрессий и после заключения пакта Молотова–Риббентропа «очарование почти рассеялось». Сходные сюжеты рассматриваются в монографии Майкла Дэвид-Фокса о «культурной дипломатии» межвоенного периода, когда СССР посетили примерно 100 тыс. иностранцев, желавших своими глазами увидеть «советский эксперимент» (2012, 993). В ней мы также обнаружим фигуры писателей-«космополитов» и большевиков-«западников», однако институтам – прежде всего Всероссийскому обществу культурных связей с заграницей (ВОКС), Агитпропу и, конечно, «Интуристу» – уделяется несравненно больше внимания. Это полновесное архивное исследование, история институтов, практик и идеологии, в котором традиционные делопроизводственные источники используются тем не менее для того, чтобы дать вполне культурологические интерпретации взаимодействий СССР с Западом. В монографии, по словам автора, дается международное (интернациональное) измерение формирования советской системы. Он декларирует, что пишет в русле транснациональной истории, которая, по его мнению, обладает наибольшим потенциалом именно в изучении Советского Союза, ранее рассматривавшегося в изоляции от остального мира¹.

В центре внимания находится взаимное восприятие Европы (и в меньшей степени Америки) и СССР, которое М. Дэвид-Фокс анализирует в рамках комплекса превосходства / неполноценности, имея в виду не только психологический термин, но более широкий спектр практик и институтов (2012, 993, с. 285). Обе стороны были втянуты в систему иерархических сравнений, стремясь доказать свое превосходство в том, в чем другая сторона видела неполноценность. Например, капитализм в СССР считали отжившим и загнивающим, а на Западе – локомотивом исторического развития, что не исключало, однако же, наличия в нем существенных недостатков. Стержневой в этих отношениях являлась идея об уникальности России, которая трактовалась как признак либо превосходства, либо неполноценности.

Таким образом, дихотомия «Россия / Запад» вынесена автором в центр исследования и анализируется с точки зрения проблем взаимовосприятия. Довольно подробно он рассматривает историю

¹ См. также: David-Fox M. The implications of transnationalism // *Kritika*. – Bloomington, 2011. – Vol. 12, N 4. – P. 885–904.

«диалога о превосходстве и неполноценности» между Россией и Западом, нагруженного геополитическими, культурными и позднее идеологическими коннотациями, и приходит к выводу, что расхожее представление о неизменности отношения русских и русского государства к иностранцам не выдерживает критики. Единственное, что большевики унаследовали от старого режима – это стремление во что бы то ни стало догнать страны Запада, однако поставили себе задачу еще и перегнать их. Большевики максимально упростили обобщенный образ «Запада» и придали ему идеологическое значение, обогатив старую дихотомию еще одной парой противоположностей, «социалистический / капиталистический». Это был новый вариант подхода к Западу, в котором диалектика «отторжения и имитации», «враждебности и взаимодействия» с остальным миром была в сильнейшей степени интенсифицирована. В условиях, когда первому в мире социалистическому государству противостояло капиталистическое окружение, уникальность России приобретала абсолютный характер.

Поскольку решение «догнать и перегнать» означало усвоить, принять или отвергнуть опыт «развитых» стран, это неизбежно превращало «оглядку» на Запад в навязчивую идею (2012, 993, с. 8–9). С одной стороны, советская система приема иностранных гостей, включавшая в себя особые «техники гостеприимства», подробно описанные автором, была направлена на создание позитивного имиджа СССР за рубежом (а в практическом смысле – на вербовку сторонников и друзей). С другой – «дружественный взгляд» извне был жизненно необходим, поскольку тем, что думают о Советском Союзе на Западе, поверялось то, что происходит в стране. Как пишет Дэвид-Фокс, соображения о том, что именно внешний мир мог думать об СССР – неважно, в явной или неявной форме, – во-первых, играли большую роль в понимании собственной, советской идентичности, а во-вторых, оказывали серьезное воздействие на формы строительства социализма. Он замечает, что влияния такого рода нельзя свести к простым трансферам и нелегко установить эмпирически (там же, с. 314). Однако, если считать взаимодействием не только сотрудничество, но и враждебные реакции СССР, особенно обострившиеся в периоды изоляционизма, то можно согласиться с автором, что советский коммунизм формировался в диалоге с Западом, а вовсе не сам по себе, исходя из каких-то внутренних импульсов.

В книге приводятся и вполне эмпирические подтверждения авторского тезиса о влиянии внешних факторов на строительство

социализма. Система так называемых «культпоказов» – демонстрации иностранным гостям образцовых фабрик и учреждений – была создана в самом начале 1920-х годов. Именно для работы с иностранцами, считает Дэвид-Фокс, была первоначально разработана методика, нацеленная на «перековку» буржуазных попутчиков, которых следовало обратить в свою веру или по крайней мере научить смотреть на советскую действительность другими глазами. Иностранцы должны были научиться не придавать значения «негативным явлениям», считать их пережитками прошлого, доставшимися в наследство от царизма, и видеть только лучшее – те достижения, которые ведут к светлому коммунистическому будущему. В 1930-е годы эту методику начали применять и к собственному населению. Она заняла центральное место в культуре сталинизма, превратившись с созданием социалистического реализма в «систему самообмана в национальном масштабе» (2012, 993, с. 158).

Без сопоставления с дореволюционной практикой приема иностранцев нельзя с уверенностью утверждать, что советская система была новым словом в этой области¹. Возможно, существует и определенная преемственность с практиками пропаганды времен Первой мировой войны. В то же время тотальный характер «просветительно-пропагандистской машины», нацеленной на создание позитивного образа страны, крайняя идеологизация отношений с иностранцами – безусловно, чисто советское достижение. В какой-то мере это действительно свидетельствует о «международном измерении» коммунистического строительства, но скорее дает представление о советской политической культуре, которая изучена, конечно, совершенно недостаточно. И введение в научный оборот таких концептов, как комплекс неполноценности (повернувшийся в конце 1930-х годов своей другой стороной и превратившийся в комплекс превосходства), позволяет лучше понять российские отношения любви-ненависти с Западом. Важно и то, что проблеме «Россия и Запад» отводится то место, какое она и должна занимать: сфера идей, а не «объективной реальности».

¹ Кроме того, неплохо бы учитывать и особенности традиционных (а значит, иерархических) практик гостеприимства, которые могут казаться оскорбительными автономному современному (и постмодерному) индивиду, не желающему оказываться в положении «ведомого». Ведь даже в том, что в советских архивах выделялись особые комнаты для занятий зарубежных исследователей, при всем прочем присутствовало соображение «все лучшее – иностранцам».

Фактически работа М. Дэвид-Фокса представляет собой одну из линий развития концепции модерности, направившейся в русло актуальной сегодня транснациональной истории. И пусть сам термин употребляется в книге спорадически, в ней присутствуют те черты, которые составляли сущностные характеристики работ «группы модерности»: акцент на исторической преемственности, непрерывности развития (несмотря на смену режимов), внимание к «просветительским практикам» государства, активно вторгающегося в сферу сознания (причем не только собственных граждан), отказ от узкого национального взгляда и рассмотрение истории России как части истории мировой. Характерной чертой современных работ, написанных в этом ключе, является подчеркнутый историзм в подходе к категориям, которые ранее считались «реальными» и были сильно политизированы. Осознание историчности, а значит, относительности таких понятий, как национальное государство, частная собственность, прогресс, отсталость, наконец, модернизация, позволяет не только отвести им определенное место в прошлом, когда они возникли, но и перенести их в сферу идей, не знающих государственных границ.

В конце 1990-х годов благодаря ряду исследований и сама теория модернизации также была помещена в исторический контекст, что давало возможность перестать критиковать ее изнутри, как это делалось раньше. Большое значение для такого локального «исторического поворота» имело описание Эстер Кингстон-Манн «культуры модернизации», сформировавшейся в России на рубеже XIX–XX вв. и определявшей проблематику дебатов и угол зрения их участников независимо от политических взглядов (1999, 303). Именно тогда сложился определенный набор понятий, включавший в себя наряду с идеей прогресса и значением частной собственности для его достижения концепт отсталости. Монография Я. Коцониса (1999, 307) внесла свой вклад в понимание того, что собой представлял концепт отсталости и как он работал применительно к русскому крестьянству. Вводится в научный оборот и понятие иерархических сравнений, которое стали применять не только в гендерных и постколониальных исследованиях.

В американской русистике все более широкое распространение получает представление о том, что многие понятия, составлявшие ранее фундамент любого исторического исследования, принадлежат науке эпохи модерна, вышли из европейского Просвещения и являются такими же воображаемыми категориями, как, скажем, языческие представления «отсталых» крестьян или коло-

низуемых народов. Различия заключаются в том, что для первых мир един, в то время как «европеизированное» научное знание делит его на противоборствующие противоположности: иррациональный–рациональный, отсталый–прогрессивный, наконец, традиционный–современный. Причем одна из составляющих каждой пары является доминирующей, «лучшей» и в конечном итоге – имеющей право на существование. Подразумевается, что современность, прогресс и рациональность рано или поздно, путем борьбы и потерь должны победить традицию, отсталость и иррациональность. Свойственная сознанию модерна иерархичность отражается и в представлениях об обществе (социальная пирамида, гендерный порядок), и в системе ценностей.

Напрашивается вывод, что теория модернизации является собой продукт эпохи модерна и, соответственно, принадлежит прошлому, в то время как концепция советской современности, при всем ее переходном характере, смотрит в будущее. Однако не стоит сводить сложную картину современной историографии к бинарным оппозициям прошлое / будущее, модерн / постмодерн. Не стоит и выстраивать эволюционную линию (в конце концов, вера в светлое будущее и прогресс – также примета эпохи модерна). Лучше вернуться к вопросам практическим, и тогда можно констатировать, что теория модернизации пока «всего лишь» утратила свои лидирующие позиции в американской русистике. Многие отказались от нее лишь номинально, и даже те, кто критикует теорию модернизации, далеко не всегда выходят за рамки понятий эпохи модерна. Это особенно заметно в рецензиях на работы «группы современности» и других историков, принадлежащих к новому поколению и работающих в русле «культурной истории». Часто обнаруживается, что рецензенты мыслят в иной системе координат и предъявляют требования, несовместимые с самой сутью рецензируемого исследования. Дело здесь не столько в языке (который тоже, конечно, иной), сколько в несовпадении образа научного мышления и базовых категорий, которые применяются исследователями.

Не углубляясь в философские различия мировоззрения модерна и постмодерна, посмотрим, что они означают на практике, когда речь идет об историческом исследовании. Фактически это два разных понимания истории, проистекающих из разных картин мира: двухмерное, основанное на противоположностях и везде их обнаруживающее, твердо знающее, что из чего вытекает и что является причиной, а что – следствием; многомерное, которое видит многоцветье явлений, мирно сосуществующих, а в какие-то моменты

конфликтующих друг с другом, бесконечно друг на друга влияющих, но не претендующих на однозначную роль «первопричины».

Для первого свойственна иерархичность, и в иерархии предметов исторического исследования высшую ступень занимают институты и государственная политика. Коллективное здесь важнее индивидуального, количество в оценке социальных явлений обладает безусловным приоритетом перед качеством, политика и экономика – перед культурой. Единицей измерения для второго образа исторического мышления является человек, и потому все, кажущееся неважным с точки зрения «государственного интереса», имеет здесь часто первостепенное значение. «Политика», с одной стороны, понимается крайне широко и пронизывает всю человеческую жизнь, с другой – теряет свою непосредственную значимость и уж точно не сводится к программам политических партий и противостоянию власти и оппозиции.

В отличие от утилитарного и прямолинейного понимания мотивов человеческих поступков, свойственных институциональному (назовем его так) подходу, «новое мышление», обнаруживаемое в текстах ряда американских историков (не обязательно молодых), не склонно сводить их к материальному интересу. И потому в сфере внимания оказываются мысли, эмоции, впечатления. Отличия можно перечислять и далее, либо же обозначить их как «релятивизм, плюрализм, субъективизм». Если же вернуться на практическую почву, то два подхода к историческим исследованиям различаются еще и тем, что первые ищут объяснительные модели, вторые же хотят понять, а не объяснить. Дуальное мышление модерна знает только «да» и «нет», в то время как при постмодернистском «избыточно сложном» взгляде на мир они благополучно соседствуют и могут меняться местами. Когда речь идет о столкновении и взаимодействии культур и идей, модерное мышление использует сравнительно-исторический подход, выявляя прямые заимствования и взаимообмен, сходства и различия. Постмодернистский взгляд различает множество нюансов и реализуется, в частности, в транснациональном подходе.

Сказанное вовсе не означает, что в американской русистике существуют два противоположных по мировоззрению лагеря. Скорее это спектр, состоящий из множества переходных форм, отличающийся разнообразием и окрашенный индивидуальностью каждого исследователя. Собственно говоря, и использование концепта модерна вовсе не всегда является маркером «нового подхода к истории». Например, начинавший как активный участник «группы

модерности» Дэвид Хоффманн в своей недавно опубликованной второй монографии склонен признать исключительный характер «советского эксперимента» и использует сравнительно-исторический подход вполне в духе теории модернизации (2011, 948). А для написанной в русле концепции модерности монографии Франсин Хирш о том, как «экспертное знание» работало на создание многонациональной советской империи, характерен вполне традиционный институциональный подход (2005, 599). Действующими лицами в книге являются Госплан и Наркомнац, а также некие «царские эксперты», которые пошли на службу к большевикам и в угоду Сталину властной рукой создавали народы и народности – за что потом и поплатились, попав в колесо сталинских репрессий. Хотя формально в монографии присутствуют все компоненты «современного взгляда», стилистика и система аргументации книги отсылают нас ко временам холодной войны.

В то же время критику современного национального государства можно дать не менее сильно в «человеческом измерении», как это было сделано в уже рассматривавшейся книге Кейт Браун (2004, 530). Показывая, что концепт нации формировал взгляды и поступки не только политических деятелей трех держав – СССР, Германии и Польши, но даже и депортированных с Украины спецпоселенцев, она не ищет «ответственных за преступления», поскольку все участники воплощения в жизнь идеи прогресса руководствовались лучшими побуждениями. Всякий раз автор показывает, как жестокие реалии строительства национального государства сказывались на жизни людей, обнаруживая «тесные отношения между гуманитарными действиями и голой жестокостью» даже в нацистском правлении (2004, 530, с. 205). Избранный ею угол зрения позволяет преодолеть государственные границы и политико-идеологические барьеры, что представляет собой, в сущности, вариант транснационального подхода.

Собственно говоря, сам выбор для исследования региона Правобережной Украины, находившегося в разное время в составе разных государств, побуждает к транснациональному взгляду. Преодоление границ между СССР и Восточной Европой наблюдается и в новейших исследованиях послевоенного времени, хотя здесь вступает в силу другой барьер – «железный занавес» между социализмом и капитализмом. Опубликованные в последние несколько лет работы по истории Советского блока предлагают свои варианты транснационального подхода, тем более интересные, что для этой области русистики характерно активное сотрудничество

историков из Северной Америки и Европы (2010, 859, 906; 2011, 935, 977; 2012, 991 и др.).

Хочется надеяться, что новые исследования перенесут в сферу идей и холодную войну, поместив ее, как и теорию модернизации, в исторический контекст. Как было продемонстрировано в монографиях Катерины Кларк и Майкла Дэвид-Фокса, посвященных транснациональному и космополитическому измерению сталинизма, до начала холодной войны Европа представляла собой единое интеллектуальное пространство, в которое входил и Советский Союз. Граница, конечно, была на замке, но только с возникновением в послевоенные годы «железного занавеса» приходит к своему завершению начатый большевиками процесс изоляции страны. Утвердилось тогда и соответствующее сознание, в том числе и в американской русистике.

Возникает ощущение, что именно это время, породившее не только ряд стереотипов, но и набор тех вопросов, которые считались достойными научного исследования, является на сегодня болевой точкой. Сложившиеся в послевоенной американской русистике базовые интерпретации Советского Союза нуждаются в решительной деконструкции, что делает транснациональный подход особенно актуальным, хотя и непростым делом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Окончание холодной войны явилось точкой отсчета для выстраивания образа американской исторической русистики в этой книге. Конечно, то, что получилось в итоге, – скорее витрина, демонстрирующая все лучшее, что можно найти в американской историографии России и что было «выставлено напоказ» в журнальных рецензиях и дискуссиях. Мы не входили внутрь, туда, где, собственно, и протекает повседневная научная жизнь и где картина по самой своей природе иная. Но при всей схематичности и неполноте витрина по определению должна давать какое-то представление о том, что находится внутри, и в силу этого имеет право считаться репрезентативной – особенно когда речь идет о столь значительном корпусе историографии, который нашел отражение на страницах этой книги.

В то же время далеко не все, достойное демонстрации, попало на страницы этой книги, хотя понятно, что такая задача и не могла ставиться. Приходится только пожалеть, что фактически остались за кадром интересные исследования досуга и путешествий, относительно мало места было уделено религиозной проблематике (особенно антропологическим исследованиям), почти не затрагивались литературоведческие штудии и изучение субъективности. Кому-то явно будет не хватать для полноты картины военной истории, которая начала активно развиваться после открытия (пусть и частичного) российских архивов. Отдельного рассмотрения требуют современные исследования по истории науки и совсем недавно возникшая и крайне интересная американская историография позднего советского социализма, а также неуклонно набирающая силу иудаика. Возможно, при большем объеме, многое из перечисленного и было бы включено в книгу, но это послужило бы лишь дополнением к общему авторскому замыслу, который, несомненно, является субъективным. Другой автор, разумеется, избрал бы иной

дизайн, иначе расставил многие акценты и представил читателю свою композицию. Однако в этом море субъективности есть и твердая почва – библиография, занимающая треть книги. Обратившись к ней, читатель сможет составить и свое собственное (тоже субъективное) представление о современном состоянии американской исторической русистики.

И тем не менее, при всех ограничениях субъективизма, попробуем хотя бы пунктирно наметить некоторые общие тенденции, свойственные современной американской историографии России. Во-первых, можно уверенно зафиксировать тематические и дисциплинарные изменения, учитывая, однако же, их неразрывную связь с изменениями в системе координат, в которой работают русисты. Иными словами, нельзя сказать, что раньше американские социальные историки изучали крестьянское движение, а теперь с тем же энтузиазмом обратились к исследованиям движений религиозных. В таком случае корректнее было бы говорить, например, о том, что вместо изучения экономического положения крестьянства, столь популярного в 1970-е годы, американские русисты основное внимание стали уделять культурным практикам, прежде всего религиозным, и этике, активно используя в своих исследованиях методы этнологии и антропологии (2001, 410; 2003, 472; 2009, 841). Или же, отметив, что в ставших уже традиционными исследованиях сталинских репрессий все больший вес приобретают субъективное измерение ГУЛАГа и гендерная проблематика, следует указать на новое, гораздо более сложное понимание человеческой природы, которое лежит в основе таких изменений в историографии.

Безусловно – и это было показано в книге, – в американской русистике присутствует тенденция исследовать старые темы при помощи новых подходов, что дает в некоторых случаях совершенно ошеломляющие с точки зрения советской историографии результаты. Но чаще всего американцы избирают новые темы и объекты исследований, которые, как правило, не берутся с потолка. По большей части это те проблемы, которые находятся в центре внимания коллег – специалистов по истории США и Западной Европы. Такие актуальные для американской новистики темы, как, например, история консюмеризма, индустрии моды и спорта, и применяемые для их анализа подходы прилагаются к российскому материалу. В этом нет ничего плохого; это лишь свидетельствует о способности русистики отзываться на запросы времени, равно как и о постепенном выходе ее из историографической изоляции (ведь и кон-

цепция советской модерности Стивена Коткина создавалась на волне интереса к социальному государству – welfare state). Кроме того, таким образом достигается пресловутая «релевантность» русистики – т.е. подтверждается ее значение для изучения мировой истории в целом.

В то же время, даже используя подходы, принятые в других дисциплинах, американская русистика сохраняет некоторую специфику. Так, гендерные исследования истории России в существенно меньшей степени концентрируются на угнетении, подчинении и контроле, чем мировая историография. Точно так же американские работы по истории империи в большинстве своем отличаются от классических постколониальных исследований довольно-таки позитивным подходом. А более традиционно ориентированные историки в своем стремлении обнаружить «секреты успеха, а не провала» императорской России иногда теряют чувство меры и впадают в идиллию. В какой-то степени можно объяснить это реакцией на долгое вынужденное противостояние двух историографий в годы холодной войны; можно предложить и другие объяснения. Сами американцы констатируют, что в начале XXI в., на новом этапе постпостмодерна, революционные настроения 1990-х сменились тягой к консенсусу. Речь идет не столько о взаимоотношениях внутри академического сообщества, сколько о тех научных подходах и парадигмах, которые используются русистами. Возникающая в исследованиях, например, Московской Руси, картина оказывается «в опасной близости» к тому гармоническому единству царя и народа, которое в свое время описывали славянофилы (2009, 833, с. 11–12).

Действительно, как было показано в книге, в центре внимания американских исследователей все чаще оказываются диалог, сотрудничество, взаимовлияние, что в конечном итоге ведет к изменению общей тональности исследований и исчезновению из них обличительных нот. Постепенно исчезают (или отодвигаются на обочину) и привычные, хотя давно уже критиковавшиеся противопоставления «государство / общество», «власть / оппозиция», «традиционное / современное (европеизированное)», а вместе с ними и так называемый «конфронтационный подход». Однако «опасность» приближения к славянофильским интерпретациям не стоит преувеличивать, поскольку идеи о «гармонии власти и общества» ассоциируются с верноподданническими чувствами только в определенной системе координат, осями в которой являются отношения господства и подчинения, т.е. в рамках иерархического дис-

курса, присущего модерну. А тот «консенсус», который устанавливается в настоящее время в американской русистике, имеет в своей основе иную картину мира. Постпостмодерная «картина бытия» подразумевает не только отказ от использования бинарных оппозиций в качестве основ логического рассуждения об истории, но и изменения в восприятии России, что неизбежно ведет к формированию ее нового исторического образа.

Можно констатировать, что независимо от идеологических и методологических пристрастий исследователей в американской историографии России идет процесс так называемой «нормализации» и «позитивизации» ее истории. Понимать эти термины следует в узкопрофессиональном смысле. «Нормализация» означает лишь признание того, что Россия никогда не являлась каким-то отклонением от европейской нормы, а «позитивизация» вовсе не подразумевает, что в ее истории все было замечательно. Характерно, что считать Россию европейской страной и искать секреты ее успехов, а не «исторических провалов» стало хорошим тоном в американской русистике, что в конечном итоге приводит к качественным изменениям в историографии в целом, независимо от профессионального уровня той или иной работы.

Безусловно, далеко не все интерпретации истории России в американской историографии выглядят на сегодняшний день бесспорными; можно не соглашаться с ними, можно критиковать. Можно искать и находить фактические ошибки (которые, впрочем, имеются и в работах отечественных исследователей). Можно, конечно, и высмеивать «развесистую клюкву» в исследованиях, которые сильно напоминают зарубежные экранизации русской классики. Наименее продуктивным было бы выискивать в американских работах признаки злонамеренности или же высокомерного «колониального» отношения к нашей родной истории. Точно так же неправильно оценивать происходящую «позитивизацию» исторического образа России как признак дружественного отношения к нашей стране. Неверно и разводить по разным полюсам «нормализацию» и «демонизацию» российской истории, между которыми якобы колеблются американцы. Но то, что их работы будят мысль и открывают новые перспективы в изучении российской истории, трудно отрицать.

Американская русистика прошла большой путь за те двадцать лет, когда в результате революционных потрясений рубежа 1980–1990-х годов исследователи региона оказались втянутыми в самую гущу исторических событий мирового масштаба, которые

отразились на профессиональной и личной судьбе фактически каждого специалиста по изучению стран «бывшего социализма». Падение Берлинской стены запустило процесс исчезновения барьера между «Востоком» и «Западом», прежде всего идеологического, и знаменовало наступление новой эры открытости. Для американской русистики преодоление границ между Россией и Западом стало категорическим императивом, олицетворяя акт освобождения от оков холодной войны. Как считают сами русисты, деидеологизация дисциплины в условиях, когда марксизм утратил свою парадигмальную ценность, способствовала довольно быстрой ее переориентации.

Для мировой историографии окончание холодной войны и исчезновение Советского Союза оказались далеко не столь впечатляющими событиями, как для специалистов по региону. Во всяком случае, они не фигурируют в размышлениях о «тектонических сдвигах», которые произошли в историографии на рубеже 1980–1990-х годов. Уильям Сьюэлл, например, вполне в духе экономического детерминизма усматривает прямую связь с формами и динамикой глобального капитализма, когда само понятие национальной экономики стало утрачивать свой смысл. Сосредоточиваясь на макросоциальных сдвигах, он, однако же, вводит в свои размышления и интеллектуальное измерение и указывает на то, что утратило свое влияние «политическое воображение» эпохи фордистского капитализма с его верой в государственное управление экономикой и достоинства государства всеобщего благоденствия. На смену ему приходит «неолиберализм» с его опорой на личную предприимчивость и глобальными притязаниями. «Гибкость» – фирменный знак нового экономического порядка, который и привел к эпистемологической революции, обозначив отход от исследования структур к изучению культуры и субъективности¹.

Несомненно, экономическое измерение составляет существенную часть теоретизирований о переходе к новой культурно-исторической эпохе постмодерна и затем – как склонны считать многие – постпостмодерна. Однако нас интересует прежде всего интеллектуальное измерение, и здесь акцент на «ментальности холодной войны», который постоянно делают американские русисты, размышляя о своей дисциплине, имеет первостепенное значение. Многие из них склонны связывать тип мышления, свойственный эпохе модерна, с тем либерально-универсалистским дискурсом,

¹ Sewell W. Crooked lines // American historical review. – Wash., 2008. – Vol., N 2. – P. 401.

который «правил бал» в их дисциплине на протяжении нескольких десятилетий. В сущности, противоборствующие между собой коммунистическая идеология и американский либерализм росли из одного корня – идеологии Просвещения, и активно формировались в начале XX в. С этой точки зрения, окончание холодной войны представляло собой не столько победу одной из сторон, сколько «исчезновение двух взаимопереплетенных политических воображений», пишет американская славистка Дж. Баклер¹. Соглашаясь с ней, можно пойти несколько дальше и говорить о холодной войне как о «состоянии ума», обозначившем закат эпохи модерна.

В этот период те черты, которые были свойственны мышлению, ведущему свое начало из века Просвещения: универсализм, дихотомичность, утилитаризм, нормативность, вера в силу «научного» знания и законов, управляющих природой и обществом, достигли высшей степени кристаллизации. Одновременно происходит упрощение и вульгаризация основных категорий социальных наук. Значительно сузилась система понятий об обществе, основанная исключительно на политических критериях. К политике сводили и идеологию. Прогресс стал ассоциироваться либо с либерализмом и западной демократией, либо с коммунизмом, и противостояние двух систем – двух образов жизни приняло крайние формы, что получило название «биполярного мира». Неслучайно в 1950–1990-е годы и в социальных науках (к которым в то время принадлежала история), и в философских размышлениях об обществе политика и власть являлись, по существу, главными темами.

Революция 1980–1990-х годов вела, помимо прочего, к гуманизации науки (ведь и у нас во времена «социализма с человеческим лицом» была предпринята попытка выдвинуть на первый план науки о человеке). И только с переходом к новой системе координат, в которой точкой отсчета является человек, возникла возможность выйти за пределы тех концепций, которые определяли наши представления об обществе в XX в.

Когда речь идет о таких глобальных вещах, как смена культурно-исторических эпох, не стоит ожидать мгновенных перемен, особенно если в качестве центрального избран фактор человеческого сознания. Модерная и постмодерная картины мира соседствуют, пусть и не совсем благополучно, и демонстрируют множество переходных форм. Как мы увидели на примере американской ру-

¹ Bukler J. What comes after «Post-Soviet» in Russian studies? // PMLA. – N.Y., 2009. – Vol. 124, N 1. – P. 251–263.

систики, постмодерные интерпретации истории России приносят свои плоды. Однако новые концепты и идеи, которыми постепенно пополняется историография, имеют естественную тенденцию превращаться в общие места, что неизбежно ведет к снижению их креативного потенциала.

Возможно, американскую русистику ожидает тот же откат к «доктринальному реализму», по выражению Хейдена Уайта, который все чаще с тревогой фиксируется в мировой историографии. Для таких опасений имеются серьезные основания, прежде всего из-за утверждения в американской русистике благостного консенсуса, что, как мы привыкли считать, чревато утратой творческих импульсов. Можно указать и на еще один фактор, который способен значительно изменить лицо американской русистики, и, как подсказывает нам невеселый постсоветский опыт, не в лучшую сторону. Это все усиливающаяся интеграция с европейской и отечественной историографией, что может привести к нивелированию и, значит, к общему снижению уровня. Как в данном случае обойти свойственное нашей эпохе внутреннее противоречие между глобальным и локальным, пока непонятно. Однако это дело будущего, когда, возможно, наши представления об обществе изменятся настолько кардинально, что из них возникнет совершенно иная картина прошлого России.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИИ (1992–2012): УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Настоящий указатель литературы охватывает североамериканские научные издания, посвященные истории России и СССР, и соответственно включает в себя и исследования бывших советских республик. Указатель носит целевой характер и уже в силу этого не претендует на полноту, что заставляет подробно остановиться на принципах его составления. В задачу составителя входило показать динамику развития американской историографии России после окончания холодной войны до настоящего времени, что обусловило хронологический охват (1992–2012). Главным критерием при отборе являлся предмет изучения – история, а не дисциплинарная принадлежность.

Особое внимание к научному характеру выборки обусловило источниковую базу: указатель составлен по материалам ведущих американских журналов по русистике «Slavic review» и «Russian review», после 2000 г. к ним добавился журнал «Kritika». Таким образом, в список вошли референтные научные монографии, написанные североамериканскими русистами, и сборники, в которых они принимали активное участие. Многочисленные публикации источников, осуществленные за последние двадцать лет, издания учебного и обзорного характера, а также переводные работы остались за рамками настоящей библиографии. За редким исключением в нее не вошли книги, публиковавшиеся в таких издательствах, как «Basic books», «Penguin books», «I.B. Tauris». При отборе авторов основным критерием являлось получение образования в США, хотя в отношении историков русского происхождения это правило соблюдалось не всегда.

Указатель составлен по хронологическому принципу и разделен по годам выхода изданий. Для удобства записи пронумерованы последовательно и расположены в алфавитном порядке внутри каждого года. Разделение большого массива данных на ряд блоков облегчает с ним работу и позволяет уловить динамику развития историографии. Под динамикой составитель понимает прежде всего изменение тематических предпочтений в русистике, а не количественные показатели.

В то же время благодаря разделению массива данных по годам можно легко обнаружить увеличение количества публикаций в 2000-е годы. Оно связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, с изменением рецензионной политики журналов (и добавлением еще одного источника – журнала «Критика»); во-вторых, с внутренними изменениями в науке. К этому времени к изучению истории России подключились литературоведы, так что их работы внесли свой немалый вклад в расширение списка. Таким образом, делать выводы о степени активизации издательской политики в США в начале нового тысячелетия на основании данной библиографии невозможно, хотя можно проследить активизацию тех или иных издательств и присоединение к ним новых.

К сожалению, невозможно судить по этой библиографии о состоянии современной зарубежной русистики в целом. До недавнего времени США являлись локомотивом исторических исследований России за рубежом, но в последние годы значительно активизировалась немецкая, британская и французская русистика¹. В историографии, опубликованной на английском языке, продукция британской русистики составляет приблизительно 10%, еще 5% – европейская. Искусственность и условность выделения отдельной североамериканской историографии в наш век глобализации ощущались в процессе подготовки указателя особенно остро.

Безусловно, представленный здесь указатель далек от совершенства, и я приношу свои глубокие извинения тем авторам, чьи работы случайно или в силу принятых критериев отбора оказались за его пределами.

¹ Некоторые важные работы были упомянуты в тексте книги, однако остались и серьезные упущения, например: Kelly C. *Children's world: Growing up in Russia, 1890–1991*. – New Haven; L.: Yale univ. press, 2007. – XXII, 714 p.; Lovell St. *Summerfolk: A history of the dacha, 1710–2000*. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – XV, 260 p.; Widdis E. *Visions of a new land: Soviet film from the Revolution to the Second World War*. – New Haven: Yale univ. press, 2003. – XI, 258 p.

1. *Altstadt A.L.* The Azerbaijani Turks: Power and identity under Russian rule. – Stanford: Hoover Institution press, Stanford univ., 1992. – XXIV, 331 p.
2. *Bushkovitch P.* Religion and society in Russia: The sixteenth and seventeenth centuries. – N.Y.: Oxford univ. press, 1992. – VI, 278 p.
3. Cultural mythologies of Russian modernism: From the golden age to the silver age / Ed. by Gasparov B., Hughes R.P., Paperno I. – Berkeley: Univ. of California press, 1992. – 494 p.
4. *Coopersmith J.* The electrification of Russia, 1880–1926. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – XII, 274 p.
5. Economy and society in Russia and the Soviet Union, 1860–1930: Essays for Olga Crisp / Ed. by Edmondson L., Waldron P. – N.Y.: St. Martin's press, 1992. – XVII, 287 p.
6. *Elwood R.C.* Inessa Armand: Revolutionary and feminist. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XI, 304 p.
7. *Engelstein L.* The keys to happiness: Sex and the search for modernity in fin-de-siècle Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – XIII, 461 p.
8. *Fitzpatrick Sh.* The cultural front: Power and culture in revolutionary Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – XX, 264 p.
9. *Fuller W.C., jr.* Strategy and power in Russia, 1600–1914. – N.Y.: Free press, 1992. – XX, 557 p.
10. *Hamburg G.M.* Boris Chicherin and early Russian liberalism, 1828–1866. – Stanford: Stanford univ. press, 1992. – IX, 443 p.
11. *Judge E.H.* Easter in Kishinev: Anatomy of a pogrom. – N.Y.: New York univ. press, 1992. – X, 186 p.
12. *Kamiński A.S.* Republic vs. autocracy: Poland-Lithuania and Russia, 1686–1697. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1993. – 312 p.
13. *Kenez P.* Cinema and Soviet society, 1917–1953. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – IX, 281 p.
14. *Khodarkovsky M.* Where two worlds met: The Russian state and Kalmyk nomads, 1600–1771. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – XIV, 278 p.
15. *Knight A.W.* Beria, Stalin's first lieutenant. – Princeton: Princeton univ. press, 1993. – XVI, 312 p.
16. *Kornblatt J.D.* The Cossack hero in Russian literature: A study in cultural mythology. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 1992. – XIII, 229 p.
17. Major problems in early modern Russian history / Ed. by Kollmann N. Sh. – N.Y.: Garland pub., 1992. – XVI, 451 p.
18. *Marples D.R.* Stalinism in Ukraine in the 1940s. – N.Y.: St. Martin's press, 1992. – XIX, 228 p.

19. *McDonald D.M.* United government and foreign policy in Russia, 1900–1914. – Cambridge: Harvard univ. press, 1992. – 276 p.
20. *McGrew R.E.* Paul I of Russia, 1754–1801. – Oxford: Clarendon press; N.Y.: Oxford univ. press, 1992. – XI, 405 p.
21. *Menning B.* Bayonets before bullets: The Imperial Russian Army, 1861–1914. – Bloomington: Indiana univ. press, 1992. – X, 334 p.
22. Modernization and revolution: Dilemmas of progress in late Imperial Russia: Essays in honor of Arthur P. Mendel / Ed. by Judge E.H., Simms J.Y., jr.; with a foreword by Rosenberg W.G. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 1992. – XVIII, 206 p.
23. *Nation C.R.* Black earth, red star: A history of Soviet security policy, 1917–1991. – Ithaca: Cornell univ. press, 1992. – 341 p.
24. New directions in Soviet history / Ed. by White S. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XVI, 209 p.
25. *O'Connor T.E.* The engineer of revolution: L.B. Krasin and the Bolsheviks, 1870–1926. – Boulder: Westview press, 1992. – XIX, 322 p.
26. *Oleksa M.* Orthodox Alaska: A theology of mission. – Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary press, 1992. – 252 p.
27. *Phillips H.D.* Between the revolution and the West: A political biography of Maxim M. Litvinov. – Boulder: Westview press, 1992. – XII, 244 p.
28. Pogroms: Anti-Jewish violence in modern Russian history / Ed. by Klier J.D., Lambroza Sh. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XX, 393 p.
29. Religious and secular forces in late Tsarist Russia: Essays in honor of Donald W. Treadgold / Ed. by Timberlake Ch. E. – Seattle: Univ. of Washington press, 1992. – X, 366 p.
30. Revolution in Russia: Reassessments of 1917 / Ed. by Frankel E.R., Frankel J., Knei-Paz B. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XX, 434 p.
31. *Riasanovsky N.V.* The emergence of romanticism. – N.Y.: Oxford univ. press, 1992. – VIII, 117 p.
32. Russian peasant women / Ed. by Farnsworth B., Viola L. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1992. – 304 p.
33. Russian traditional culture: Religion, gender, and customary law / Ed. by Balzer M.M. – Armonk: M.E. Sharpe, 1992. – XXII, 310 p.
34. *Siegelbaum L.H.* Soviet state and society between revolutions, 1918–1929. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XIII, 284 p.
35. Social and economic history of prerevolutionary Russia / Ed. with an introduction by Orlovsky D. – N.Y.: Garland, 1992. – XIX, 673 p.
36. Stalinism: Its nature and aftermath: Essays in honour of Moshe Lewin / Ed. by Lampert N., Rittersporn G.T. – Armonk: M.E. Sharpe, 1992. – XV, 291 p.
37. *Steinberg M.D.* Moral communities: The culture of class relations in the Russian printing industry, 1867–1907. – Berkeley: Univ. of California press, 1992. – X, 289 p.

38. *Stites R.* Russian popular culture: Entertainment and society since 1900. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XVII, 269 p.
39. *Strikes, social conflict, and the First World War: An international perspective /* Ed. by Haimson L., Sapelli G. – Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1992. – IX, 609 p.
40. *Walicki A.* Legal philosophies of Russian liberalism. – Notre Dame: Univ. of Notre Dame press, 1992. – IX, 477 p.
41. *Wandering stars: Russian emigré theatre, 1905–1940 /* Ed. by Senelick L. – Iowa City: Univ. of Iowa press, 1992. – XX, 241 p.
42. *White C.A.* British and American commercial relations with Soviet Russia, 1918–1924. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1992. – X, 345 p.
43. *Women and society in Russia and the Soviet Union /* Ed. by Edmondson L. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – IX, 233 p.
44. *Wynn Ch.* Workers, strikes, and pogroms: The Donbass-Dnepr Bend in late imperial Russia, 1870–1905. – Princeton: Princeton univ. press, 1992. – 289 p.
45. *Youngblood D.J.* Movies for the masses: Popular cinema and Soviet society in the 1920s. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – XIX, 259 p.

1993

46. *Art of the Soviets: Painting, sculpture, and architecture in a one-party state, 1917–1992 /* Ed. by Bown M.C., Taylor B. – Manchester; N.Y.: Manchester univ. press; N.Y.: Distributed exclusively in the USA and Canada by St. Martin's press, 1993. – VIII, 231 p.
47. *Between heaven and hell: The myth of Siberia in Russian culture /* Ed. by Diment G., Slezkine Yu. – N.Y.: St. Martin's press, 1993. – X, 278 p.
48. *Brumfield W.C.* A history of Russian architecture. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1993. – 644 p.
49. *Carlson M.* «No religion higher than truth»: A history of the Theosophical movement in Russia, 1875–1922. – Princeton: Princeton univ. press, 1993. – VI, 298 p.
50. *Edelman R.* Serious fun: A history of spectator sports in the USSR. – N.Y.: Oxford univ. press, 1993. – XVI, 286 p.
51. *Graham L.R.* The ghost of the executed engineer: Technology and the fall of the Soviet Union. – Cambridge: Harvard univ. press, 1993. – XIV, 128 p.
52. *Graham L.R.* Science in Russia and the Soviet Union: A short history. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1993. – X, 321 p.
53. *Frierson C.A.* Peasant icons: Representations of rural people in late nineteenth century Russia. – N.Y.: Oxford univ. press, 1993. – X, 248 p.
54. *Geifman A.* Thou shalt kill: Revolutionary terrorism in Russia, 1894–1917. – Princeton: Princeton univ. press, 1993. – XII, 376 p.
55. *Glickman R.L.* Daughters of feminists. – N.Y.: St. Martin's press, 1993. – XVI, 192 p.

56. *Goldman W.Z.* Women, the state and revolution: Soviet family policy and social life, 1917–1936. – Cambridge, 1993. – XI, 351 p.
57. *Hamm M.F.* Kiev: A portrait, 1800–1917. – Princeton: Princeton univ. press, 1993. – XVII, 304 p.
58. *Hardwick S.W.* Russian refuge: Religion, migration, and settlement on the North American Pacific rim. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1993. – XIII, 237 p.
59. *Hogan H.* Forging revolution: Metalworkers, managers, and the state in St. Petersburg, 1890–1914. – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – XIV, 319 p.
60. The Holocaust in the Soviet Union: Studies and sources on the destruction of the Jews in the Nazi-occupied territories of the USSR, 1941–1945 / Ed. by Dobroszycki L., Gurock J.S.; with a foreword by R. Pipes. – Armonk: M.E. Sharpe, 1993. – XII, 260 p.
61. *Jakobson M.* Origins of the GULAG: the Soviet prison camp system, 1917–1934. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 1993. – 176 p.
62. Labyrinth of nationalism, complexities of diplomacy: Essays in honor of Charles and Barbara Jelavich / Ed. by Frucht R. – Columbus: Slavica publishers, 1992. – 377 p.
63. *Leonard C.S.* Reform and regicide: The reign of Peter III of Russia. – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – 232 p.
64. *Mandelker A.* Framing Anna Karenina: Tolstoy, the woman question, and the Victorian novel. – Columbus: Ohio State univ. press, 1993. – XV, 241 p.
65. *McFadden D.W.* Alternative paths: Soviets and Americans, 1917–1920. – N.Y.: Oxford univ. press, 1993. – X, 448 p.
66. *Meehan B.* Holy women of Russia: The lives of five Orthodox women offer spiritual guidance for today. – San Francisco: Harper San Francisco, 1993. – X, 182 p.
67. *Morris M.A.* Saints and revolutionaries: The ascetic hero in Russian literature. – Albany: State univ. of New York press, 1993. – X, 256 p.
68. *Neuberger J.* Hooliganism: Crime, culture, and power in St. Petersburg, 1900–1914. – Berkeley: Univ. of Calif. press, 1993. – XIV, 324 p.
69. *Pipes R.* Russia under the Bolshevik regime. – N.Y.: A.A. Knopf, 1993. – XVIII, 587 p.
70. Puškin today / Ed. by Bethea D.M. – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – VI, 258 p.
71. *Rice J.L.* Freud's Russia: National identity in the evolution of psychoanalysis. – New Brunswick: Transaction publishers, 1993. – X, 288 p.
72. Russian housing in the modern age: Design and social history / Ed. by Brumfield W.C., Ruble B.A. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press; Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1993. – XIV, 322 p.
73. Sexuality and the body in Russian culture / Ed. by Costlow J.T., Sandler S., Vowles J. – Stanford: Stanford univ. press, 1993. – X, 357 p.

74. Social dimensions of Soviet industrialization / Ed. by Rosenberg W.G., Siegelbaum L.H. – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – XIX, 296 p.
75. The Stalin phenomenon / Ed. by Nove A. – N.Y.: St. Martin's press, 1993. – VI, 216 p.
76. Stalinism and Soviet cinema / Ed. by Taylor R., Spring D. – L.; N.Y.: Routledge, 1993. – XVII, 277 p.
77. Stalinist terror: New perspectives / Ed. by Getty J.A., Manning R.T. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1993. – VIII, 294 p.
78. *Taruskin R.* Opera and drama in Russia as preached and practiced in the 1860 s. – Rochester: Univ. of Rochester press, 1993. – XX, 560 p.
79. *Velychenko S.* Shaping identity in Eastern Europe and Russia: Soviet-Russian and Polish accounts of Ukrainian history, 1914–1991. – N.Y.: St. Martin's press, 1993. – 266 p.
80. *Von Geldern J.* Bolshevik festivals, 1917–1920. – Berkeley: Univ. of California press, 1993. – XIV, 316 p.
81. *Weinberg R.* The revolution of 1905 in Odessa: Blood on the steps. – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – XVI, 302 p.

1994

82. Allies at war: the Soviet, American, and British experience, 1939–1945 / Ed. by Reynolds D., Kimball W.F., Chubarian A.O. – N.Y.: St. Martin's press, 1994. – XXIV, 456 p.
83. *Bacon E.* The Gulag at war: Stalin's forced labour system in the light of the archives. – N.Y.: New York univ. press, 1994. – XII, 190 p.
84. *Ball A.M.* And now my soul is hardened: Abandoned children in Soviet Russia, 1918–1930. – Berkeley: Univ. of California press, 1994. – XXI, 335 p.
85. *Bernard-Donals M.F.* Mikhail Bakhtin: Between phenomenology and Marxism. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – XVII, 187 p.
86. *Blank S.* The sorcerer as apprentice: Stalin as commissar of nationalities, 1917–1924. – Westport: Greenwood press, 1994. – 295 p.
87. *Boym S.* Common places: Mythologies of everyday life in Russia. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 1994. – XII, 356 p.
88. Bukharin in retrospect / Ed. by Bergmann Th., Schaefer G., Selden M. – Armonk: M.E. Sharpe, 1994. – XXV, 251 p.
89. *Byrnes R.F.* A history of Russian and East European studies in the United States: Selected essays. – Lanham: Univ. press of America, 1994. – XV, 271 p.
90. *Clements B.E.* Daughters of revolution: A history of women in the U.S.S.R. – Arlington Heights, Ill.: Harlan Davidson, Inc., 1994. – XVI, 171 p.
91. *Conroy M. Sch.* In health and in sickness: Pharmacy, pharmacists, and the pharmaceutical industry in late imperial, early Soviet Russia. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 1994. – VIII, 703 p.

92. Creating life: The aesthetic utopia of Russian modernism / Ed. by Paperno I., Grossman J.D. – Stanford: Stanford univ. press, 1994. – X, 288 p.
93. Cultures in flux: Lower-class values, practices, and resistance in late Imperial Russia / Ed. by Frank S.P., Steinberg M.D. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. –VI, 214 p.
94. *Dimnik M.* The dynasty of Chernigov, 1146–1246. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – XXXIV, 485 p.
95. The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945 / Ed. by Davies R.W., Harrison M., Wheatcroft S.G. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – XXV, 381 p.
96. *Engel B.A.* Between the fields and the city: Women, work, and family in Russia, 1861–1914. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – 254 p.
97. *Fishman D.E.* Russia's first modern Jews: The Jews of Shklov. – N.Y.: New York univ. press, 1995. – XIII, 195 p.
98. *Fitzpatrick Sh.* Stalin's peasants: Resistance and survival in the Russian village after collectivization. – N.Y.: Oxford univ. press, 1994. – XX, 386 p.
99. *Goldfrank D.M.* The origins of the Crimean War. – L.; N.Y.: Longman, 1994. – XIV, 344 p.
100. *Golub S.* The recurrence of fate: Theatre and memory in twentieth-century Russia. – Iowa City: Univ. of Iowa press, 1994. – XIII, 277 p.
101. *Gregory P.R.* Before command: An economic history of Russia from emancipation to the first five-year plan. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – VIII, 188 p.
102. *Hardeman H.* Coming to terms with the Soviet regime: The «changing signposts» movement among Russian emigrés in the early 1920s. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1994. – X, 319 p.
103. *Hoffmann D.L.* Peasant metropolis: Social identities in Moscow, 1929–1941. – Ithaca: Cornell univ. press, 1994. – XIII, 282 p.
104. *Holloway D.* Stalin and the bomb: The Soviet Union and atomic energy, 1939–1956. – New Haven: Yale univ. press, 1994. – XVI, 464 p.
105. *Hudson H.D.* Blueprints and blood: The Stalinization of Soviet architecture, 1917–1937. – Princeton: Princeton univ. press, 1994. – XVIII, 260 p.
106. *Laqueur W.* The dream that failed: Reflections on the Soviet Union. – N.Y.: Oxford univ. press, 1994. – IX, 231 p.
107. *Layton S.* Russian literature and empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – XI, 354 p.
108. The legacy of history in Russia and the new states of Eurasia / Ed. by Starr S.F. – Armonk: M.E. Sharpe, 1994. – XIII, 313 p.
109. *Leighton L.G.* The esoteric tradition in Russian romantic literature: Decembrism and Freemasonry. – University Park: Pennsylvania State univ. press, 1994. – VIII, 224 p.
110. *Lincoln W.B.* The conquest of a continent: Siberia and the Russians. – N.Y.: Random House, 1994. – XXII, 500 p.

111. Making workers Soviet: Power, class, and identity / Ed. by Siegelbaum L.H., Suny R.G. – Ithaca: Cornell univ. press, 1994. – XIII, 399 p.
112. *Malia M.E.* The Soviet tragedy: A history of socialism in Russia, 1917–1991. – N.Y.: Maxwell Macmillan International, 1994. – X, 575 p.
113. Major problems in the history of imperial Russia / Ed. by Cracraft J. – Lexington: D.C. Heath, 1994. – XIV, 661 p.
114. Medieval Russian culture / Ed. by Flier M., Rowland D. – Vol. 2. – Berkeley: California univ. press, 1994. – XIX, 254 p.
115. *Morris M.W.* Stalin's famine and Roosevelt's recognition of Russia. – Lanham: Univ. press of America, 1994. – IX, 224 p.
116. Nietzsche and Soviet culture: Ally and adversary / Ed. by Rosenthal B.G. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1994. – XVI, 421 p.
117. *Noggle A.* A dance with death: Soviet airwomen in World War II. – College Station: Texas A&M univ. press, 1994. – XIV, 318 p.
118. *Philbin T.R.* The lure of Neptune: German-Soviet naval collaboration and ambitions, 1919–1941. – Columbia: Univ. of South Carolina press, 1994. – XXI, 192 p.
119. *Prousis Th.C.* Russian society and the Greek revolution. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1994. – XI, 259 p.
120. *Raeff M.* Political ideas and institutions in imperial Russia. – Boulder: Westview Press, 1994. – XIII, 389 p.
121. *Ruane C.* Gender, class, and the professionalization of Russian city teachers, 1860–1914. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1994. – X, 258 p.
122. Russia's great reforms, 1855–1881 / Ed. by Eklof B., Bushnell J., Zakharova L. – Bloomington: Indiana univ. press, 1994. – XVII, 297 p.
123. Russian culture in modern times / Ed. by Hughes R.P., Paperno I. – Berkeley: Univ. of California press, 1994. – VIII, 334 p.
124. Russian narrative and visual art: Varieties of seeing / Ed. by Anderson R., Debrezeny P. – Gainesville: Univ. press of Florida, 1994. – VIII, 211 p.
125. *Slezkine Yu.* Arctic mirrors: Russia and the small peoples of the North. – Ithaca: Cornell univ. press, 1994. – XIV, 456 p.
126. The Soviet empire reconsidered: Essays in honor of Adam B. Ulam / Ed. by Lieberman S.R. et al. – Boulder: Westview press, 1994. – XII, 262 p.
127. *Steinberg M.D., Khrustal'ev V.M.* The fall of the Romanovs: Political dreams and personal struggles in a time of revolution. – New Haven: Yale univ. press, 1995. – XVIII, 444 p.
128. *Stephan J.J.* The Russian Far East: A history. – Stanford: Stanford univ. press, 1994. – XXIII, 481 p.
129. *Straus N.P.* Dostoevsky and the woman question: Rereadings at the end of a century. – N.Y.: St. Martin's press, 1994. – 191 p.
130. *Tumarkin N.* The living & the dead: The rise and fall of the cult of World War II in Russia. – N.Y.: Basic books, 1994. – X, 242 p.

131. *Wachtel A.* An obsession with history: Russian writers confront the past. – Stanford: Stanford univ. press, 1994. – VIII, 276 p.
132. *Wirtschafter E.K.* Structures of society: Imperial Russia's «people of various ranks». – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1994. – XVII, 215 p.
133. *Wolff L.* Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the enlightenment. – Stanford: Stanford univ. press, 1994. – XIV, 419 p.
134. Women writers in Russian literature / Ed. by Clyman T.W., Greene D. – Westport, Conn.: Greenwood press, 1994. – XVII, 273 p.

1995

135. *Bagby L.* Alexander Bestuzhev-Marlinsky and Russian Byronism. – University Park: Pennsylvania State univ. press, 1995. – X, 372 p.
136. *Baron S.H.* Plekhanov in Russian history and Soviet historiography. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1995. – XXII, 274 p.
137. Beyond Soviet studies / Ed. by Orlovsky D. – Washington, D.C.: The Woodrow Wilson Center press, 1995. – XI, 349 p.
138. *Byrnes R.F.* V.O. Kliuchevskii, historian of Russia. – Bloomington: Indiana univ. press, 1995. – XXI, 301 p.
139. *Clark K.* Petersburg, crucible of cultural revolution. – Cambridge: Harvard univ. press, 1995. – XII, 377 p.
140. Culture and entertainment in wartime Russia / Ed. by Stites R. – Bloomington: Indiana univ. press, 1995. – VI, 215 p.
141. *Dunn W.S.* The Soviet economy and the Red Army, 1930–1945. – Westport: Praeger, 1995. – X, 256 p.
142. *Foglesong D.S.* America's secret war against Bolshevism: U.S. intervention in the Russian Civil War, 1917–1920. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1995. – X, 386 p.
143. Freedom and responsibility in Russian literature: Essays in honor of Robert Louis Jackson / Ed. by Allen E. Ch., Morson G.S. – Evanston: Northwestern univ. press; New Haven: Yale Center for international and area studies, 1995. – IX, 306 p.
144. *Gleason A.* Totalitarianism: The inner history of the Cold War. – N.Y.: Oxford univ. press, 1995. – 307 p.
145. *Grant B.* In the Soviet house of culture: A century of perestroikas. – Princeton: Princeton univ. press, 1995. – XVII, 225 p.
146. A hidden fire: Russian and Japanese cultural encounters, 1868–1926 / Ed. by Rimer J.T. – Stanford: Stanford univ. press; Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press, 1995. – XIX, 289 p.
147. *Klier J.* Imperial Russia's Jewish question, 1855–1881. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1995. – XX, 534 p.

148. *Kotkin S.* Magnetic mountain: Stalinism as a civilization. – Berkeley: Univ. of California press, 1995. – XXV, 639 p.
149. *Leibovich A.F.* The Russian concept of work: Suffering, drama, and tradition in pre- and post-revolutionary Russia. – Westport: Praeger, 1995. – XIV, 166 p.
150. Mass culture in Soviet Russia: Tales, poems, songs, movies, plays, and folklore, 1917–1953 / Ed. by von Geldern J., Stites R. – Bloomington: Indiana univ. press, 1995. – XXIX, 492 p.
151. *Morrell G.W.* Britain confronts the Stalin revolution: Anglo-Soviet relations and the Metro-Vickers crisis. – Waterloo, Canada: Wilfrid Laurier univ. press, 1995. – 204 p.
152. *Naimark N.M.* The Russians in Germany: A history of the Soviet Zone of occupation, 1945–1949. – Cambridge, Mass.: Belknap press of Harvard univ. press, 1995. – XV, 586 p.
153. *Neilson K.* Britain and the last tsar: British policy and Russia, 1894–1917. – Oxford: Clarendon Press; N.Y.: Oxford univ. press, 1995. – XV, 408 p.
154. *Nelson K.L.* The making of détente: Soviet-American relations in the shadow of Vietnam. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1995. – XVIII, 217 p.
155. *Owen T.C.* Russian corporate capitalism from Peter the Great to perestroika. – N.Y.: Oxford univ. press, 1995. – XII, 259 p.
156. *Patterson D.* Exile: The sense of alienation in modern Russian letters. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 1995. – XII, 204 p.
157. *Phillips E.J.* The founding of Russia's navy: Peter the Great and the Azov fleet, 1688–1714. – Westport: Greenwood press, 1995. – IX, 214 p.
158. *Pipes R.* A concise history of the Russian Revolution. – N.Y.: Knopf, 1995. – XVII, 431 p.
159. *Pipes R.* Russia under the old regime / With a new foreword to the second edition by the author. – 2nd ed. – N.Y.: Penguin books, 1995. – XXII, 361 p.
160. *Raack R.C.* Stalin's drive to the West, 1938–1945: The origins of the Cold War. – Stanford: Stanford univ. press, 1995. – VIII, 265 p.
161. *Rawson D.C.* Russian rightists and the revolution of 1905. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1995. – XV, 286 p.
162. Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian Far East / Ed. by Kotkin S., Wolff D. – Armonk: M.E. Sharpe, 1995. – XXIII, 356 p.
163. Reform in modern Russian history: Progress or cycle? / Ed. and transl. by Taranowski T. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press; N.Y.: Cambridge univ. press, 1995. – XIII, 436 p.
164. *Robson R.R.* Old Believers in modern Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1995. – XIII, 188 p.
165. *Roosevelt P.R.* Life on the Russian country estate: A social and cultural history. – New Haven: Yale univ. press, 1995. – XVI, 361 p.
166. *Schild G.* Between ideology and realpolitik: Woodrow Wilson and the Russian Revolution, 1917–1921. – Westport: Greenwood press, 1995. – 173 p.

167. *Smart C.* The imagery of Soviet foreign policy and the collapse of the Russian empire. – Westport: Praeger, 1995. – 180 p.
168. *Stevens C.B.* Soldiers on the steppe: Army reform and social change in early modern Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1995. – XII, 240 p.
169. *Walicki A.* Marxism and the leap to the kingdom of freedom: The rise and fall of the Communist utopia. – Stanford: Stanford univ. press, 1995. – XII, 641 p.
170. *Worobec C.* Peasant Russia: Family and community in the post-emancipation period. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1995. – XIV, 257 p.
171. *Wortman R.* Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy. – Princeton: Princeton univ. press, 1995. – Vol. 1: From Peter the Great to the Death of Nicholas I. – XIII, 432 p.
172. *Zelnik R.E.* Law and disorder on the Narova River: The Kreenholm strike of 1872. – Berkeley: Univ. of California press, 1995. – XIII, 308 p.

1996

173. *Adams B.F.* The politics of punishment: Prison reform in Russia, 1863–1917. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996. – VIII, 237 p.
174. *Bociurkiw B.R.* The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet state, 1939–1950. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian studies press, 1996. – XVI, 310 p.
175. Chekhov then and now: The reception of Chekhov in world culture / Ed. by Clayton J.D. – N.Y.: Peter Lang, 1996. – 330 p.
176. Gender and Russian literature: New perspectives / Ed. by Marsh R. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – XVI, 353 p.
177. *Harrison M.* Accounting for war: Soviet production, employment, and the defence burden, 1940–1945. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – XXXIV, 338 p.
178. *Horowitz B.* The myth of A.S. Pushkin in Russia's Silver Age: M.O. Gershenzon, pushkinist. – Evanston: Northwestern univ. press, 1996. – X, 129 p.
179. *Kivelson V.A.* Autocracy in the provinces: The Muscovite gentry and political culture in the seventeenth century. – Stanford: Stanford univ. press, 1996. – XX, 372 p.
180. Laboratory of dreams: The Russian avant-garde and cultural experiment / Ed. by Bowlt J.E., Matich O. – Stanford: Stanford univ. press, 1996. – XVII, 359 p.
181. *Lindenmeyr A.* Poverty is not a vice: Charity, society, and the state in imperial Russia. – Princeton: Princeton univ. press, 1996. – XIV, 335 p.
182. *Mastny V.* The Cold War and Soviet insecurity: The Stalin years. – N.Y.: Oxford univ. press, 1996. – XI, 285 p.
183. *McCaffray S.P.* The politics of industrialization in tsarist Russia: The Association of Southern Coal and Steel Producers, 1874–1914. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996. – XXII, 299 p.

184. *Paine S.C.M.* Imperial rivals: China, Russia, and their disputed frontier. – Armonk: M.E. Sharpe, 1996. – XXI, 417 p.
185. *Parrish M.* The lesser terror: Soviet state security, 1939–1953. – Westport: Praeger, 1996. – XXII, 424 p.
186. *Ragsdale H.* The Russian tragedy: The burden of history. – Armonk: M.E. Sharpe, 1996. – XIX, 306 p.
187. *Reese R.R.* Stalin's reluctant soldiers: A social history of the Red Army, 1925–1941. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 1996. – XII, 267 p.
188. Reexamining the Soviet experience: Essays in honor of Alexander Dallin / Ed. by Holloway D., Naimark N. – Boulder: Westview press, 1996. – 279 p.
189. Russia – women – culture / Ed. by Goscilo H., Holmgren B. – Bloomington: Indiana univ. press, 1996. – XIV, 386 p.
190. Russian religious thought / Ed. by Kornblatt J.D., Gustafson R.F. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 1996. – X, 266 p.
191. *Schuler C.* Women in Russian theatre: The actress in the silver age. – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – XI, 260 p.
192. *Shearer D.R.* Industry, state, and society in Stalin's Russia, 1926–1934. – Ithaca: Cornell univ. press, 1996. – XIV, 263 p.
193. *Siegel K.A.* S. Loans and legitimacy: The evolution of Soviet-American relations, 1919–1933. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 1996. – X, 211 p.
194. *Solomon P.H.* Soviet criminal justice under Stalin. – Cambridge, U.K.; N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – XVII, 494 p.
195. *Stockdale M.K.* Paul Miliukov and the quest for a liberal Russia, 1880–1918. – Ithaca: Cornell univ. press, 1996. – XIX, 379 p.
196. *Thurston R.W.* Life and terror in Stalin's Russia, 1934–1941. – New Haven: Yale univ. press, 1996. – XXI, 296 p.
197. *Viola L.* Peasant rebels under Stalin: Collectivization and the culture of peasant resistance. – N.Y.: Oxford univ. press, 1996. – XII, 312 p.
198. *Weeks T.* Nation and state in late imperial Russia: Nationalism and russification on the Western frontier, 1863–1914. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1996. – XIII, 297 p.
199. Women in Russia and Ukraine / Ed. and transl. by Marsh R. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1996. – 350 p.
200. *Zuckerman F.S.* The Tsarist secret police in Russian society, 1880–1917. – N.Y.: New York univ. press, 1996. – XVII, 345 p.

1997

201. Accusatory practices: Denunciation in modern European history, 1789–1989 / Ed. by Fitzpatrick Sh., Gellately R. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997. – 231 p.

202. After empire: Multiethnic societies and nation-building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires / Ed. by Barkey K., von Hagen M. – Boulder: Westview press, 1997. – 200 p.
203. *Austin P.M.* The exotic prisoner in Russian romanticism. – N.Y.: Peter Lang, 1997. – XII, 214 p.
204. Bitter legacy: Confronting the Holocaust in the USSR / Ed. by Gitelman Z. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – VIII, 332 p.
205. *Bonnell V.E.* Iconography of power: Soviet political posters under Lenin and Stalin. – Berkeley: Univ. of California press, 1997. – XXII, 363 p.
206. *Clements B.E.* Bolshevik women. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 1997. – XIV, 338 p.
207. *Cracraft J.* The Petrine revolution in Russian imagery. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1997. – XXIV, 375 p.
208. Critical companion to the Russian Revolution, 1914–1921 / Ed. by Acton E., Cherniaev V. Yu., Rosenberg W.G. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – XVI, 782 p.
209. Culture and identity in Muscovy: 1359–1584 / Ed. by Kleimola A.M., Lenhoff G.D. – Moscow: «ITZ-Garant», 1997. – 606 p.
210. *David-Fox M.* Revolution of the mind: Higher learning among the Bolsheviks, 1918–1929. – Ithaca: Cornell univ. press, 1997. – XVII, 298 p.
211. *Debreczeny P.* Social functions of literature: Alexander Pushkin and Russian culture. – Stanford: Stanford univ. press, 1997. – XVI, 282 p.
212. Decision-making in the Stalinist command economy, 1932–37 / Ed. by Rees E.A. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan; N.Y.: St. Martin's press, 1997. – XV, 331 p.
213. *de Sherbinin J.W.* Chekhov and Russian religious culture: The poetics of the Marian paradigm. – Evanston: Northwestern univ. press, 1997. – XIII, 189 p.
214. *Elleman B.A.* Diplomacy and deception: The secret history of Sino-Soviet diplomatic relations, 1917–1927. – Armonk: M.E. Sharpe, 1997. – XVIII, 322 p.
215. *Emerson C.* The first hundred years of Mikhail Bakhtin. – Princeton: Princeton univ. press, 1997. – XVI, 293 p.
216. *Emmons T.* Alleged sex and threatened violence: Doctor Russel, Bishop Vladimir, and the Russians in San Francisco, 1887–1892. – Stanford: Stanford univ. press, 1997. – VI, 251 p.
217. *Evtuhov C.* The cross & the sickle: Sergei Bulgakov and the fate of Russian religious philosophy. – Ithaca: Cornell univ. press, 1997. – X, 278 p.
218. Food in Russian history and culture / Ed. by Glants M., Toomre J. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – XXVII, 250 p.
219. *Hanson S.E.* Time and revolution: Marxism and the design of Soviet institutions. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1997. – XV, 258 p.

220. *Kostalevsky M.* Dostoevsky and Soloviev: The art of integral vision. – New Haven: Yale univ. press, 1997. – XII, 224 p.
221. *Krementsov N.* Stalinist science. – Princeton: Princeton univ. press, 1997. – XVIII, 371 p.
222. *Lahusen Th.* How life writes the book: Real socialism and socialist realism in Stalin's Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1997. – XII, 247 p.
223. *LeDonne J.P.* The Russian empire and the world, 1700–1917: The geopolitics of expansion and containment. – N.Y., 1997. – XIX, 394 p.
224. Literary journals in imperial Russia / Ed. by Martinsen D.A. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1997. – XIV, 265 p.
225. *Martin A.M.* Romantics, reformers, reactionaries: Russian conservative thought and politics in the reign of Alexander I. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1997. – X, 294 p.
226. *Mihailovic A.* Corporeal words: Mikhail Bakhtin's theology of discourse. – Evanston: Northwestern univ. press, 1997. – X, 291 p.
227. *Naiman E.* Sex in public: The incarnation of early Soviet ideology. – Princeton: Princeton univ. press, 1997. – X, 307 p.
228. The occult in Russian and Soviet culture / Ed. by Rosenthal B.G. – Ithaca: Cornell univ. press, 1997. – VII, 468 p.
229. *Paperno I.* Suicide as a cultural institution in Dostoevsky's Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1997. – IX, 319 p.
230. *Pipes R.* The formation of the Soviet Union: Communism and nationalism, 1917–1923: with a new preface. – Rev. ed. – Cambridge: Harvard univ. press, 1997. – XVI, 365 p.
231. *Platt K.M.F.* History in a grotesque key: Russian literature and the idea of revolution. – Stanford: Stanford univ. press, 1997. – X, 293 p.
232. Reforming justice in Russia, 1864–1996: Power, culture, and the limits of legal order / Ed. by Solomon P.H., jr. – Armonk: M.E. Sharpe, 1997. – X, 406 p.
233. Religion and culture in early modern Russia and Ukraine / Ed. by Baron S.H., Kollmann N. Sh. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1997. – VIII, 213 p.
234. *Roosa R.A.* Russian industrialists in an era of revolution: The Association of Industry and Trade, 1906–1917 / Ed. by Owen T.C. – Armonk: M.E. Sharpe, 1997. – XII, 274 p.
235. Russia's Orient: Imperial borderlands and peoples, 1700–1917 / Ed. by Brower D.R., Lazzerini E.J. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – XX, 339 p.
236. Shamanic worlds: Rituals and lore of Siberia and Central Asia / Ed. by Balzer M.M. – Armonk: North Castle books, 1997. – XXXII, 260 p.
237. *Singleton A.C.* No place like home: The literary artist and Russia's search for cultural identity. – Albany: State univ. of New York press, 1997. – X, 193 p.
238. *Straus K.M.* Factory and community in Stalin's Russia: The making of an industrial working class. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1997. – XIV, 355 p.

239. *Taruskin R.* Defining Russia musically: Historical and hermeneutical essays. – Princeton: Princeton univ. press, 1997. – XXXII, 561 p.
240. *Wirtschafter E.K.* Social identity in imperial Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1997. – XI, 260 p.
241. *Wood E.A.* The baba and the comrade: Gender and politics in revolutionary Russia. – Bloomington: Indiana univ. press, 1997. – VII, 318 p.
242. *Young G.* Power and the sacred in revolutionary Russia: Religious activists in the village. – University Park: Pennsylvania State univ. press, 1997. – XIV, 307 p.

1998

243. Alexander Bogdanov and the origins of systems thinking in Russia / Ed. by Biggart J., Dudley P., King F. – Aldershot, Brookfield, USA: Ashgate, 1998. – XI, 362 p.
244. *Birnbaum H.* Sketches of Slavic scholars. – Bloomington: Slavica publishers, 1998. – 248 p.
245. *Brudny Y.M.* Reinventing Russia: Russian nationalism and the Soviet state, 1953–1991. – Cambridge: Harvard univ. press, 1998. – X, 352 p.
246. *Burds J.* Peasant dreams and market politics: Labor migration and the Russian village, 1861–1905. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1998. – XIV, 314 p.
247. *Cockfield J.H.* With snow on their boots: The tragic odyssey of the Russian Expeditionary Force in France during World War I. – N.Y.: St. Martin's press, 1998. – XI, 396 p.
248. *Daly J.W.* Autocracy under siege: Security police and opposition in Russia, 1866–1905. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1998. – XI, 260 p.
249. *Dunn D.J.* Caught between Roosevelt & Stalin: America's ambassadors to Moscow. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 1998. – XII, 349 p.
250. Emerging democracy in late Imperial Russia: Case studies on local self-government (the Zemstvos), State Duma elections, the tsarist government, and the State Council before and during World War I / Ed. by Conroy M. – Niwot: Univ. press of Colorado, 1998. – IX, 316 p.
251. Entertaining tsarist Russia: Tales, songs, plays, movies, jokes, ads, and images from Russian urban life, 1779–1917 / Ed. by von Geldern J., McReynolds L. – Bloomington: Indiana univ. press, 1998. – XXVII, 394 p.
252. *Graham L.R.* What have we learned about science and technology from the Russian experience? – Stanford: Stanford univ. press, 1998. – XIII, 177 p.
253. *Haywood R.M.* Russia enters the railway age, 1842–1855. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 1998. – XXVI, 635 p.
254. *Heuman S.E.* Kistiakovsky: The struggle for national and constitutional rights in the last years of Tsarism. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian research institute, 1998. – XIV, 218 p.

255. *Holmgren B.* Rewriting capitalism: Literature and the market in late tsarist Russia and the Kingdom of Poland. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1998. – XVIII, 240 p.
256. Imperial Russia: New histories for the empire / Ed. by Burbank J., Ransel D.L. – Bloomington: Indiana univ. press, 1998. – XXIII, 359 p.
257. Intersections and transpositions: Russian music, literature, and society / Ed. by Wachtel A. – Evanston: Northwestern univ. press, 1998. – XVI, 301 p.
258. *Kelly A.K.* Toward another shore: Russian thinkers between necessity and chance. – New Haven: Yale univ. press, 1998. – 400 p.
259. *Khalid A.* The politics of Muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: Univ. of California press, 1998. – XX, 335 p.
260. *Kuromiya H.* Freedom and terror in the Donbass: A Ukrainian-Russian borderland, 1870s – 1990s. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. – XIV, 357 p.
261. *McCannon J.* Red Arctic: Polar exploration and the myth of the north in the Soviet Union, 1932–1939. – N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – XII, 234 p.
262. Merchant Moscow: Images of Russia's vanished bourgeoisie / Ed. by West J.L., Petrov Yu.A. – Princeton: Princeton univ. press, 1998. – IX, 189 p.
263. *Miller M.A.* Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in imperial Russia and the Soviet Union. – New Haven: Yale univ. press, 1998. – XVII, 237 p.
264. *Morrissey S.K.* Heralds of revolution: Russian students and the mythologies of radicalism. – N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – VIII, 288 p.
265. *Murav H.* Russia's legal fictions. Law, meaning, and society. – Ann Arbor: The univ. of Michigan press, 1998. – 263 p.
266. *Ostrowski D.G.* Muscovy and the Mongols: Cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304–1589. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. – XVI, 329 p.
267. *Peris D.* Storming the heavens: The Soviet League of the Militant Godless. – Ithaca: Cornell univ. press, 1998. – XII, 237 p.
268. Petrushka: Sources and contexts / Ed. by Wachtel A. – Evanston: Northwestern univ. press, 1998. – IX, 169 p.
269. *Pritsak O.* The origins of the Old Rus' weights and monetary systems: Two studies in Western Eurasian metrology and numismatics in the seventh to eleventh centuries. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian research institute, 1998. – XII, 172 p.
270. *Rancour-Laferriere D.* Tolstoy on the couch: Misogyny, masochism, and the absent mother. – N.Y.: New York univ. press, 1998. – VIII, 270 p.
271. *Rich D.A.* The Tsar's colonels: Professionalism, strategy, and subversion in late imperial Russia. – Cambridge: Harvard univ. press, 1998. – XIV, 293 p.
272. *Ruder C.A.* Making history for Stalin: The story of the Belomor Canal. – Gainesville: Univ. press of Florida, 1998. – XVI, 248 p.
273. Russian subjects: Empire, nation, and the culture of the Golden Age / Ed. by Greenleaf M., Moeller-Sally S. – Evanston: Northwestern univ. press, 1998. – XIII, 449 p.

274. *Smith M.G.* Language and power in the creation of the USSR, 1917–1953. – Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1998. – VI, 294 p.
275. *Stoecker S.W.* Forging Stalin's Army: Marshal Tukhachevsky and the politics of military innovation / Foreword by Glantz D. – Boulder: Westview press, 1998. – XIV, 207 p.
276. *Suny R.G.* The Soviet experiment: Russia, the USSR, and the successor states. – N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – XVII, 540 p.
277. *Thurston G.* The popular theatre movement in Russia, 1862–1919. – Evanston: Northwestern univ. press, 1998. – XII, 374 p.
278. *Weinberg R.* Stalin's forgotten Zion: Birobidzhan and the making of a Soviet Jewish homeland: An illustrated history, 1928–1996. – Berkeley: Univ. of California press: Judah L. Magnes museum, 1998. – IX, 105 p.
279. Women and Russian culture: Projections and self-perceptions / Ed. by Marsh R. – N.Y., 1998. – XIX, 295 p.

1999

280. *Abramson H.* A prayer for the government: Ukrainians and Jews in revolutionary times, 1917–1920. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian research institute and Center for Jewish studies, Harvard univ., 1999. – XIX, 255 p.
281. *Balzer M.M.* The tenacity of ethnicity: A Siberian saga in global perspective. – Princeton: Princeton univ. press, 1999. – XIV, 326 p.
282. *Barrett T.M.* At the edge of empire: The Terek Cossacks and the North Caucasus frontier, 1700–1860. – Boulder: Westview press, 1999. – XV, 243 p.
283. *Bassin M.* Imperial visions: Nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865. – N.Y.; Cambridge, Eng.: Cambridge univ. press, 1999. – XVI, 329 p.
284. *Boterbloem K.* Life and death under Stalin: Kalinin Province, 1945–1953. – Montreal; Ithaca: McGill-Queen's univ. press, 1999. – XXV, 435 p.
285. *Brook K.A.* The Jews of Khazaria. – Northvale, N.J.: Jason Aronson, 1999. – XV, 352 p.
286. Critical essays on Mikhail Bakhtin / Ed. by Emerson C. – N.Y.: G.K. Hall, 1999. – XIII, 418 p.
287. *Fink H.L.* Bergson and Russian modernism, 1900–1930. – Evanston: Northwestern univ. press, 1999. – XVIII, 169 p.
288. *Fitzpatrick Sh.* Everyday Stalinism: Ordinary life in extraordinary times: Soviet Russia in the 1930s. – N.Y.: Oxford univ. press, 1999. – X, 288 p.
289. *Frank St.* Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia, 1856–1914. – Berkeley: Univ. of California press, 1999. – XXII, 352 p.
290. *Engelstein L.* Castration and the heavenly kingdom: A Russian folktale. – Ithaca: Cornell univ. press, 1999. – XVIII, 283 p.

291. *Glantz D.M.* Zhukov's greatest defeat: The Red Army's epic disaster in Operation Mars, 1942. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 1999. – X, 421 p.
292. *Golovnev A., Osherenko G.* Siberian survival: The Nenets and their story. – Ithaca: Cornell univ. press, 1999. – XIII, 176 p.
293. *Gorodetsky G.* Grand delusion: Stalin and the German invasion of Russia. – New Haven: Yale univ. press, 1999. – XVI, 408 p.
294. *Grant J.A.* Big business in Russia: The Putilov Company in late imperial Russia, 1868–1917. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1999. – VIII, 203 p.
295. *Harris J.R.* The Great Urals: Regionalism and the evolution of the Soviet system. – Ithaca: Cornell univ. press, 1999. – VIII, 235 p.
296. *Hellie R.* The economy and material culture of Russia, 1600–1725. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1999. – XI, 671 p.
297. *Historiography of imperial Russia: The profession and writing of history in a multinational state / Ed. by Sanders T.* – Armonk: M.E. Sharpe, 1999. – XIV, 521 p.
298. *Holmes L.E.* Stalin's school: Moscow's model School No. 25, 1931–1937. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 1999. – X, 228 p.
299. *Kagan F.W.* The military reforms of Nicholas I: The origins of the modern Russian army. – N.Y.: St. Martin's press, 1999. – XII, 337 p.
300. *Kan S.* Memory eternal: Tlingit culture and Russian Orthodox Christianity through two centuries. – Seattle: Univ. of Washington press, 1999. – XXXI, 665 p.
301. *Kelly A.K.* Views from the other shore: Essays on Herzen, Chekhov, and Bakhtin. – New Haven: Yale univ. press, 1999. – 260 p.
302. *Kharkhordin O.* The collective and the individual in Russia: A study of practices. – Berkeley: Univ. of California press, 1999. – XII, 406 p.
303. *Kingston-Mann E.* In search of the true West: Culture, economics, and the problem of Russian development. – Princeton: Princeton univ. press, 1999. – XIII, 301 p.
304. *Knight A.W.* Who killed Kirov?: The Kremlin's greatest mystery. – N.Y.: Hill and Wang, 1999. – XIV, 331 p.
305. *Kollmann N. Sh.* By honor bound: State and society in early modern Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 1999. – XIII, 296 p.
306. *Konecny P.* Builders and deserters: Students, state, and community in Leningrad, 1917–1941. – Montreal; Ithaca: McGill-Queen's univ. press, 1999. – XIII, 358 p.
307. *Kotsonis Y.* Making peasants backward: Agrarian cooperatives and the agrarian question in Russia, 1861–1914. – N.Y.: St. Martin's press, 1999. – X, 245 p.
308. *Malia M.E.* Russia under Western eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. – Cambridge: The Belnap press of Harvard univ. press, 1999. – XII, 514 p.
309. *Meyer K.E., Brysac Sh.B.* Tournament of shadows: The Great game and race for empire in Central Asia. – Washington, D.C.: Counterpoint, 1999. – XXV, 646 p.
310. *Michels G.B.* At war with the church: Religious dissent in seventeenth-century Russia. – Stanford: Stanford univ. press, 1999. – X, 354 p.

311. *Pipes R.* Property and freedom. – N.Y.: Alfred A. Knopf, 1999. – XVI, 328 p.
312. *Pohl J.O.* Ethnic cleansing in the USSR, 1937–1949. – Westport: Greenwood press, 1999. – XVII, 179 p.
313. *Reyffman I.* Ritualized violence Russian style: The duel in Russian culture and literature. – Stanford: Stanford univ. press, 1999. – XI, 364 p.
314. Russia under the last tsar: Opposition and subversion, 1894–1917 / Ed. by Geifman A. – Malden: Blackwell publishers, 1999. – VIII, 310 p.
315. *Ryan W.F.* The bathhouse at midnight: An Historical survey of magic and divination in Russia. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 1999. – VI, 504 p.
316. *Smith D.* Working the rough stone: Freemasonry and society in eighteenth-century Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 1999. – X, 257 p.
317. Tchaikovsky and his contemporaries: A centennial symposium / Ed. by Mihailovic A. – Westport: Greenwood press, 1999. – XIV, 418 p.
318. *Thaden E.C.* The rise of historicism in Russia. – N.Y.: Peter Lang, 1999. – VIII, 374 p.
319. *Tolczyk D.* See no evil: Literary cover-ups and discoveries of the Soviet camp experience. – New Haven: Yale univ. press, 1999. – XXI, 361 p.
320. *Weiner D.R.* A little corner of freedom: Russian nature protection from Stalin to Gorbachëv. – Berkeley: Univ. of California press, 1999. – XIV, 556 p.
321. *Whelan H.W.* Adapting to modernity: Family, caste and capitalism among the Baltic German nobility. – Cologne, 1999. – XIV, 387 p.
322. *Wolff D.* To the Harbin station: The liberal alternative in Russian Manchuria, 1898–1914. – Stanford: Stanford univ. press, 1999. – XIV, 255 p.
323. Workers and intelligentsia in late imperial Russia: Realities, representations, reflections / Ed. by Zelnik R.E. – Berkeley: International and area studies, Univ. of California at Berkeley, 1999. – XI, 349 p.
324. *Yedlin T.* Maxim Gorky: A political biography. – Westport: Praeger, 1999. – XIV, 260 p.
325. *Youngblood D.J.* The magic mirror: Moviemaking in Russia, 1908–1918. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 1999. – XVII, 197 p.
326. *Zipperstein S.J.* Imagining Russian Jewry: Memory, history, identity. – Seattle: Univ. of Washington press, 1999. – XII, 139 p.

2000

327. Academia in upheaval: Origins, transfers, and transformations of the communist academic regime in Russia and East Central Europe / Ed. by David-Fox M., Péteri G. – Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 2000. – XI, 334 p.
328. *Brintlinger A.* Writing a usable past: Russian literary culture, 1917–1937. – Evanston: Northwestern univ. press, 2000. – X, 253 p.
329. *Brooks J.* Thank you, comrade Stalin! Soviet public culture from Revolution to Cold War. – Princeton: Princeton univ. press, 2000. – XX, 319 p.

330. *Buckler J.A.* The literary lorgnette: Attending opera in imperial Russia. – Stanford: Stanford univ. press, 2000. – XII, 294 p.
331. *Cassiday J.A.* The enemy on trial: Early Soviet courts on stage and screen. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2000. – X, 260 p.
332. *Clark Ch.E.* Uprooting otherness: The literacy campaign in NEP-era Russia. – Selinsgrove: Susquehanna univ. press, 2000. – 235 p.
333. *Dean M.* Collaboration in the Holocaust: Crimes of the local police in Belorussia and Ukraine, 1941–44. – N.Y.: St. Martin's press, 2000. – XX, 241 p.
334. *Easter G.M.* Reconstructing the state: Personal networks and elite identity in Soviet Russia. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2000. – XIII, 221 p.
335. *Engel B.A.* Mothers and daughters: Women of the intelligentsia in nineteenth-century Russia. – Evanston: Northwestern univ. press, 2000. – X, 230 p.
336. *Geifman A.* Entangled in terror: The Azef affair and the Russian Revolution. – Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 2000. – X, 247 p.
337. *Gorsuch A.E.* Youth in revolutionary Russia: Enthusiasts, bohemians, delinquents. – Bloomington: Indiana univ. press, 2000. – X, 274 p.
338. *Halfin I.* From darkness to light: class, consciousness, and salvation in revolutionary Russia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2000. – XII, 474 p.
339. The human tradition in modern Russia / Ed. by Husband W.B. – Wilmington: SR books, 2000. – XVIII, 205 p.
340. *Husband W.* «Godless communists»: Atheism and society in Soviet Russia, 1917–1932. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2000. – XVII, 241 p.
341. *Josephson P.R.* Red atom: Russia's nuclear power program from Stalin to today. – N.Y.: W.H. Freeman, 2000. – X, 352 p.
342. *Kirschenbaum L.* Small comrades: revolutionizing childhood in Soviet Russia, 1917–1932. – N.Y.: RoutledgeFalmer, 2000. – 232 p.
343. *Kizenko N.* A prodigal saint: Father John of Kronstadt and the Russian people. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2000. – XIII, 376 p.
344. *Leonard R.W.* Secret soldiers of the revolution: Soviet military intelligence, 1918–1933. – Westport: Greenwood press, 2000. – XVIII, 227 p.
345. *Mally L.* Revolutionary acts: Amateur theater and the Soviet state, 1917–1938. – Ithaca: Cornell univ. press, 2000. – X, 250 p.
346. The People's War: Responses to World War II in the Soviet Union / Ed. by Thurston R.W., Bonwetsch B. – Urbana: Univ. of Illinois press, 2000. – X, 275 p.
347. *Petrone K.* Life has become more joyous, comrades: Celebrations in the time of Stalin. – Bloomington: Indiana univ. press, 2000. – X, 266 p.
348. *Phillips L.L.* Bolsheviks and the bottle: Drink and worker culture in St. Petersburg, 1900–1929. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2000. – VIII, 212 p.
349. *Puddington A.* Broadcasting freedom: The Cold War triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. – Lexington: Univ. press of Kentucky, 2000. – XIX, 382 p.

350. *Ransel D.L.* Village mothers: Three generations of change in Russia and Tataria. – Bloomington: Indiana univ. press, 2000. – VIII, 314 p.
351. *Reese R.R.* The Soviet military experience: A history of the Soviet Army, 1917–1991. – L.; N.Y.: Routledge, 2000. – XI, 207 p.
352. Russian modernity: Politics, knowledge, practices / Ed. by Hoffmann D.L., Kotsonis Y. – Basingstoke; L.: Macmillan press; N.Y.: St. Martin's press, 2000. – VIII, 279 p.
353. *Ryder J.* Interpreting America: Russian and Soviet studies of the history of American thought. – Nashville: Vanderbilt univ. press, 1999. – XXXIII, 326 p.
354. *Schönle A.* Authenticity and fiction in the Russian literary journey, 1790–1840. – Cambridge: Harvard univ. press, 2000. – VI, 296 p.
355. Self and story in Russian history / Ed. by Engelstein L., Sandler S. – Ithaca: Cornell univ. press, 2000. – XII, 363 p.
356. *Siddiqi A.A.* Challenge to Apollo: The Soviet Union and the space race, 1945–1974. – Washington, D.C.: National Aeronautics and Space administration, NASA History Div., Office of policy and plans, 2000. – XVI, 1011 p.
357. Stalinism: New directions / Ed. by Fitzpatrick Sh. – L.; N.Y.: Routledge, 2000. – XVIII, 377 p.
358. *Stone D.R.* Hammer and rifle: The militarization of the Soviet Union, 1926–1933. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2000. – VII, 287 p.
359. *Thompson E.M.* Imperial knowledge: Russian literature and colonialism. – Westport: Greenwood press, 2000. – VIII, 239 p.
360. *Valliere P.* Modern Russian theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox theology in a new key. – Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2000. – X, 443 p.
361. *Veidlinger J.* The Moscow State Yiddish theater: Jewish culture on the Soviet stage. – Bloomington: Indiana univ. press, 2000. – 356 p.
362. *Wade R.A.* The Russian Revolution, 1917. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2000. – XVII, 337 p.
363. *Wortman R.S.* Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy. – Princeton: Princeton univ. press, 2000. – Vol. 2: From Alexander II to the abdication of Nicholas II. – XVIII, 593 p.

2001

364. *Ascher A. P.A.* Stolypin: The search for stability in late Imperial Russia. – Stanford: Stanford univ. press, 2001. – XII, 468 p.
365. *Baron S.H.* Bloody Saturday in the Soviet Union: Novochoerkassk, 1962. – Stanford: Stanford univ. press, 2001. – XVI, 241 p.
366. Behind the façade of Stalin's command economy: Evidence from the Soviet state and party archives / Ed. by Gregory P. – Stanford: Hoover Institution press, 2001. – XI, 202 p.

367. *Brackman R.* The secret file of Joseph Stalin: A hidden life. – L.; Portland, OR: Frank Cass, 2001. – XX, 466 p.
368. *Bushkovitch P.* Peter the Great. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2001. – XII, 187 p.
369. *Bushkovitch P.* Peter the Great: The struggle for power, 1671–1725. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2001. – XII, 485 p.
370. *Chase W.J.* Enemies within the gates?: The Comintern and the Stalinist repression, 1934–1939. – New Haven: Yale univ. press, 2001. – XXI, 514 p.
371. *Dowler W.* Classroom and empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860–1917. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2001. – XIV, 296 p.
372. *Dunning C.S.L.* Russia's first civil war: The Time of Troubles and the founding of the Romanov dynasty. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2001. – XIII, 657 p.
373. *Duskin J.E.* Stalinist reconstruction and the confirmation of a new elite, 1945–1953. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave, 2001. – VIII, 195 p.
374. *Frank A.J.* Muslim religious institutions in imperial Russia: The Islamic world of Novouzensk district and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910. – Leiden; Boston: Brill, 2001. – X, 341 p.
375. Gender and sexuality in Russian civilization / Ed. by Barta P. – L.; N.Y.: Routledge, 2001. – XII, 350 p.
376. Gender in Russian history and culture / Ed. by Edmondson L. – L.; N.Y.: Palgrave, 2001. – XVIII, 223 p.
377. *Geraci R.P.* Window on the East: National and imperial identities in late tsarist Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – XIV, 389 p.
378. *Grenier S.* Representing the marginal woman in nineteenth-century Russian literature: personalism, feminism, and polyphony. – Westport: Greenwood press, 2001. – X, 175 p.
379. *Harrison R.W.* The Russian way of war: Operational art, 1904–1940. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2001. – XI, 351 p.
380. *Healey D.* Homosexual desire in revolutionary Russia: The regulation of sexual and gender dissent. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2001. – XVI, 392 p.
381. *Helfant I.M.* The high stakes of identity: Gambling in the life and literature of nineteenth-century Russia. – Evanston: Northwestern univ. press, 2001. – XXV, 211 p.
382. *Herman D.* Poverty of the imagination: Nineteenth-century Russian literature about the poor. – Evanston: Northwestern univ. press, 2001. – XX, 282 p.
383. *Hutton M.J.* Russian and West European women, 1860–1939: Dreams, struggles, and nightmares. – Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2001. – XII, 468 p.
384. An improper profession: Women, gender, and journalism in late imperial Russia / Ed. by Norton B.T., Gheith J.M. – Durham: Duke univ. press, 2001. – XII, 321 p.
385. *Keller Sh.* To Moscow, not Mecca: The Soviet campaign against Islam in Central Asia, 1917–1941. – Westport: Praeger, 2001. – XIX, 277 p.

386. *Kerans D.* Mind and labor on the farm in Black-Earth Russia, 1861–1914. – Budapest: Central European univ. press, 2001. – 491 p.
387. *Kotkin S.* Armageddon averted: The Soviet collapse, 1970–2000. – N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – XVII, 245 p.
388. *MacFadyen D.* Red stars: Personality and the Soviet popular song, 1955–1991. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2001. – XI, 319 p.
389. *Martin T.* The affirmative action empire: Nations and nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – XVII, 496 p.
390. *Martin V.* Law and custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian colonialism in the nineteenth century. – Richmond: Curzon, 2001. – XVIII, 244 p.
391. Newlin Th. The voice in the garden: Andrei Bolotov and the anxieties of Russian pastoral, 1738–1833. – Evanston: Northwestern univ. press, 2001. – XIII, 273 p.
392. Of religion and empire: Missions, conversion, and tolerance in tsarist Russia / Ed. by Geraci R.P., Khodarkovsky M. – Ithaca: Cornell univ. press, 2001. – VI, 356 p.
393. *Payne M.J.* Stalin's railroad: Turksib and the building of socialism. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2001. – X, 384 p.
394. *Pennington R.* Wings, women, and war: Soviet airwomen in World War II combat. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2001. – XVI, 304 p.
395. *Plokhly S.* The Cossacks and religion in early modern Ukraine. – N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – X, 401 p.
396. Provincial landscapes: Local dimensions of Soviet power, 1917–1953 / Ed. by Raleigh D.J. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2001. – XI, 407 p.
397. *Rethmann P.* Tundra passages: History and gender in the Russian Far East. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2001. – XXIV, 219 p.
398. *Ruble B.A.* Second metropolis: Pragmatic pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press; Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2001. – XVII, 464 p.
399. *Saul N.E.* Friends or foes?: The United States and Soviet Russia, 1921–1941. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2001. – XX, 434 p.
400. *Saul N.E.* War and revolution: The United States and Russia, 1914–1921. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2001. – XX, 483 p.
401. *Schimmelpenninck van der Oye D.* Toward the rising sun. Russian ideologies of empire and the path to war with Japan. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2001. – XIII, 329 p.
402. Spain betrayed: The Soviet Union in the Spanish Civil War / Ed. by Radosh R., Habeck M.R., Sevostianov G. – New Haven: Yale univ. press, 2001. – XXXIV, 537 p.
403. A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Ed. by Suny R.G., Martin T. – Oxford: Oxford univ. press, 2001. – XII, 307 p.
404. *Thyr  t I.* Between God and tsar: Religious symbolism and the royal women of Muscovite Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2001. – XVI, 275 p.

405. *Vucinich A.* Einstein and Soviet ideology. – Stanford: Stanford univ. press, 2001. – VIII, 291 p.
406. *Wade R.A.* The Bolshevik revolution and Russian Civil War. – Westport: Greenwood press, 2001. – XXIII, 220 p.
407. *Weiner A.* Making sense of war: The Second World War and the fate of the Bolshevik Revolution. – Princeton: Princeton univ. press, 2001. – XV, 416 p.
408. *Whisenhunt W.B.* In search of legality: Mikhail M. Speranskii and the codification of Russian law. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 2001. – 154 p.
409. Women in the Stalin era / Ed. by Ilić M. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave, 2001. – XIII, 256 p.
410. *Worobec C.* Possessed: Women, witches, and demons in imperial Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2001. – XV, 288 p.

2002

411. *Barran T.* Russia reads Rousseau, 1762–1825. – Evanston: Northwestern univ. press, 2002. – XXV, 404 p.
412. *Beshoner J.B.* Ivan Sergeevich Gagarin: The search for Orthodox and Catholic union. – Notre Dame: Univ. of Notre Dame press, 2002. – XI, 321 p.
413. *Brandenberger D.* National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931–1956. – Cambridge: Harvard univ. press, 2002. – XV, 378 p.
414. *Butler F.* Enlightener of Rus': The image of Vladimir Sviatoslavich across the centuries. – Bloomington: Slavica, 2002. – VI, 204 p.
415. Centre-local relations in the Stalinist state, 1928–1941 / Ed. by Rees E.A. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave, 2002. – XIV, 229 p.
416. Challenging traditional views of Russian history / Ed. by Wheatcroft S.G. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2002. – XXI, 242 p.
417. *Chatterjee Ch.* Celebrating women: Gender, festival culture, and Bolshevik ideology, 1910–1939. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2002. – X, 223 p.
418. *Cockfield J.H.* White crow: The life and times of the Grand Duke Nicholas Mikhailovich Romanov, 1859–1919. – Westport: Praeger publishers, 2002. – XII, 309 p.
419. Contending with Stalinism: Soviet power and popular resistance in the 1930s / Ed. by Viola L. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – IX, 235 p.
420. *Ely C.* This meager nature: Landscape and the national identity in imperial Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – XI, 278 p.
421. Enemies of the people: The destruction of Soviet literary, theater, and film arts in the 1930s / Ed. and with an introduction by Eaton K.B. – Evanston: Northwestern univ. press, 2002. – XXXII, 230 p.

422. *Ewing E.T.* The teachers of Stalinism: Policy, practice, and power in Soviet schools of the 1930s. – N.Y.: P. Lang, 2002. – XIV, 333 p.
423. *Frank J.* Dostoevsky. The mantle of the prophet, 1871–1881. – Princeton: Princeton univ. press, 2002. – XV, 784 p.
424. *Freeze ChaeRan Y.* Jewish marriage and divorce in imperial Russia. – Hanover: Univ. press of New England [for] Brandeis univ. press, 2002. – XV, 399 p.
425. *Frierson C.A.* All Russia is burning!: A cultural history of fire and arson in late imperial Russia. – Seattle: Univ. of Washington press, 2002. – X, 318 p.
426. *Gerovitch S.* From newspeak to cyberspeak: A history of Soviet cybernetics. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. – XIV, 369 p.
427. *Glantz D.M.* The battle for Leningrad, 1941–1944. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2002. – XXIII, 660 p.
428. *Goldman W.Z.* Women at the gates: Gender and industry in Stalin's Russia. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2002. – XVI, 294 p.
429. *Herlihy P.* The alcoholic empire: Vodka and politics in late imperial Russia. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2002. – VI, 244 p.
430. A history of women's writing in Russia / Ed. by Barker A.M., Gheith J.M. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2002. – XVIII, 391 p.
431. *Holquist P.* Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921. – Cambridge: Harvard univ. press, 2002. – IX, 359 p.
432. Imitations of life: Two centuries of melodrama in Russia / Ed. by McReynolds L., Neuberger J. – Durham: Duke univ. press, 2002. – X, 338 p.
433. *Jersild A.* Orientalism and empire: North Caucasus mountain peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917. – Montreal: McGill univ. press, 2002. – XI, 253 p.
434. *Khodarkovsky M.* Russia's steppe frontier: The making of a colonial empire, 1500–1800. – Bloomington: Indiana univ. press, 2002. – XII, 290 p.
435. *Korros A.Sh.* A reluctant parliament: Stolypin, nationalism, and the politics of the Russian Imperial State Council, 1906–1911. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2002. – XI, 247 p.
436. Language and Revolution: Making modern political identities / Ed. by Halfin I. – Portland: Frank Cass., 2002. – IX, 403 p.
437. *MacFadyen D.* Songs for fat people: Affect, emotion, and celebrity in the Russian popular song, 1900–1955. – Montreal; Ithaca: McGill-Queen's univ. press, 2002. – VII, 354 p.
438. *Marrese M.L.* A woman's kingdom: Noblewomen and the control of property in Russia, 1700–1861. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – XVI, 276 p.
439. The military and society in Russia: 1450–1917 / Ed. by Lohr E., Poe M. – Leiden; Boston: Brill, 2002. – XIV, 550 p.
440. The military history of tsarist Russia / Ed. by Kagan F.W., Higham R. – N.Y.: Palgrave, 2002. – VI, 266 p.

441. The military history of the Soviet Union / Ed. by Higham R., Kagan F.W. – N.Y.: Palgrave, 2002. – VII, 328 p.
442. *Moeller-Sally S.* Gogol's afterlife: The evolution of a classic in imperial and Soviet Russia. – Evanston: Northwestern univ. press, 2002. – XVI, 214 p.
443. *Morrison S.A.* Russian opera and the symbolist movement. – Berkeley: Univ. of California press, 2002. – XII, 362 p.
444. *Nathans B.* Beyond the Pale: The Jewish encounter with late imperial Russia. – Berkeley: Univ. of California press, 2002. – XVII, 424 p.
445. New labor history: Worker identity and experience in Russia, 1840–1918 / Ed. by Melançon M., Pate A.K. – Bloomington: Slavica publishers, 2002. – V, 248 p.
446. *Newnham R.E.* Deutsche mark diplomacy: Positive economic sanctions in German-Russian relations. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2002. – VIII, 352 p.
447. *Patenaude B.M.* The big show in Bololand: The American relief expedition to Soviet Russia in the famine of 1921. – Stanford: Stanford univ. press, 2002. – VIII, 817 p.
448. *Plokhly S.* Tsars and Cossacks: A study in iconography. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian research institute, 2002. – 102 p.
449. *Poe M.* «A people born to slavery»: Russia in early modern European ethnography, 1476–1748. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – XII, 293 p.
450. *Raleigh D.J.* Experiencing Russia's Civil war: Politics, society, and revolutionary culture in Saratov, 1917–1922. – Princeton: Princeton univ. press, 2002. – XVII, 438 p.
451. *Redlich Sh.* Together and apart in Brzezany: Poles, Jews, and Ukrainians, 1919–1945. – Bloomington: Indiana univ. press, 2002. – XI, 202 p.
452. *Rielage D.C.* Russian supply efforts in America during the First World War. – Jefferson, N.C.: McFarland, 2002. – VIII, 164 p.
453. *Rosenthal B.G.* New myth, new world: From Nietzsche to Stalinism. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2002. – XV, 464 p.
454. *Roslof E.E.* Red priests: Renovatism, Russian Orthodoxy, and revolution, 1905–1946. – Bloomington: Indiana univ. press, 2002. – XVII, 259 p.
455. Russian masculinities in history and culture / Ed. by Clements B.E. et al. – Basingstoke; N.Y.: Palgrave, 2002. – IX, 242 p.
456. *Schrader A.M.* Languages of the lash: Corporal punishment and identity in imperial Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2002. – XII, 258 p.
457. *Siegel J.L.* Endgame: Britain, Russia, and the final struggle for Central Asia. – L.; N.Y.: I.B. Tauris; N.Y.: Distributed in the U.S. by St. Martin's press, 2002. – XVIII, 273 p.
458. Socialist spaces: Sites of everyday life in the Eastern Bloc / Ed. by Reid S.E., Crowley D. – Oxford; N.Y.: Berg publishers, 2002. – VIII, 261 p.

459. *Steinberg M.D.* Proletarian imagination: Self, modernity, and the sacred in Russia, 1910–1925. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – XIII, 335 p.
460. *Swift E.A.* Popular theater and society in tsarist Russia. – Berkeley: Univ. of California press, 2002. – XV, 346 p.
461. *Todes D.P.* Pavlov's physiology factory: Experiment, interpretation, laboratory enterprise. – Baltimore: The Johns Hopkins univ. press, 2002. – XIX, 488 p.
462. *Weeks A.L.* Stalin's other war: Soviet grand strategy, 1939–1941. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2002. – XI, 203 p.
463. *Werth P.W.* At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827–1905. – Ithaca: Cornell univ. press, 2002. – X, 275 p.

2003

464. Adventures in Russian historical research: Reminiscences of American scholars from the Cold War to the present / Ed. by Baron S.H., Frierson C.A. – Armonk: M.E. Sharpe, 2003. – XXII, 272 p.
465. *Alexopoulos G.* Stalin's outcasts: Aliens, citizens, and the Soviet state, 1926–1936. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – XI, 243 p.
466. *Andrews J.T.* Science for the masses: The Bolshevik state, public science, and the popular imagination in Soviet Russia, 1917–1934. – College Station: Texas A&M univ. press, 2003. – XII, 234 p.
467. Architectures of Russian identity: 1500 to the present / Ed. by Cracraft J., Rowland D. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – VII, 253 p.
468. *Ball A.M.* Imagining America: Influence and images in twentieth-century Russia. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. – XIV, 308 p.
469. *Borrero M.* Hungry Moscow: Scarcity and urban society in the Russian Civil War, 1917–1921. – N.Y.: Peter Lang, 2003. – X, 228 p.
470. *Brooks J.* When Russia learned to read: Literacy and popular literature, 1861–1917. – 2nd ed. – Evanston: Northwestern univ. press, 2003. – XXXII, 450 p.
471. *Brower D.* Turkestan and the fate of the Russian empire. – N.Y.: Routledge Curzon, 2003. – XXIV, 213 p.
472. *Chulos C.J.* Converging worlds: Religion and community in peasant Russia, 1861–1917. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – XIV, 201 p.
473. *Cracraft J.* The Revolution of Peter the Great. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – IX, 192 p.
474. Crimean Chersonesos: City, chora, museum, and environs / Ed. by Carter J.C., Mack G.R. – Austin: Institute of Classical Archaeology, The univ. of Texas at Austin, 2003. – XIX, 231 p.
475. The cultural gradient: the transmission of ideas in Europe, 1789–1991 / Ed. by Evtuhov C., Kotkin St. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. – VI, 324 p.

476. Culture, nation, and identity: the Ukrainian-Russian encounter, 1600–1945 / Ed. by Kappeler A., Kohut Z.E., Sysyn F.E., von Hagen M. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian studies press, 2003. – XIV, 381 p.
477. The economics of forced labor: The Soviet Gulag / Ed. by Gregory P.R., Lazarev V.; Foreword by Robert Conquest. – Stanford: Hoover Institution press, 2003. – XVII, 212 p.
478. *Engerman D.C.* Modernization from the other shore: American intellectuals and the romance of Russian development. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – 399 p.
479. Extending the borders of Russian history: Essays in honor of Alfred J. Rieber / Ed. by Siefert M. – Budapest: Central European univ. press, 2003. – XII, 553 p.
480. *Golden P.B.* Nomads and their neighbours in the Russian steppe: Turks, Khazars and Qipchaqs. – Aldershot, Hampshire; Burlington, VT: Ashgate/Variorum, 2003. – 360 p.
481. *Gorham M.S.* Speaking in Soviet tongues: Language culture and the politics of voice in revolutionary Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – 266 p.
482. *Habeck M.R.* Storm of steel: The development of armor doctrine in Germany and the Soviet Union, 1919–1939. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – XVII, 309 p.
483. *Halfin I.* Terror in my soul: Communist autobiographies on trial. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – XI, 344 p.
484. *Harrison H.M.* Driving the Soviets up the Wall: Soviet-East German relations, 1953–1961. – Princeton: Princeton univ. press, 2003. – XX, 345 p.
485. *Hoffmann D.L.* Stalinist values: The cultural norms of Soviet modernity, 1917–1941. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – XIII, 247 p.
486. Isaiah Berlin's counter-Enlightenment / Ed. by Mali J., Wokler R. – Philadelphia: American philosophical society, 2003. – XI, 196 p.
487. *Jordan P.B.* Material culture and sacred landscape: The anthropology of the Siberian Khanty. – Walnut Creek: AltaMira Press, 2003. – XXIII, 309 p.
488. *Keenan E.L.* Josef Dobrovsky and the origins of the Igor' Tale. – Cambridge: Harvard Ukrainian research institute and the Davis Center for Russian and Eurasian studies, 2003. – XXIII, 541 p.
489. The landscape of Stalinism: The art and ideology of Soviet space / Ed. by Dobrenko E., Naiman E. – Seattle: Univ. of Washington press, 2003. – 315 p.
490. Landscaping the human garden: Twentieth-century population management in a comparative framework / Ed. by Weiner A. – Stanford: Stanford univ. press, 2003. – XI, 344 p.
491. *Lincoln W.B.* In war's dark shadow: The Russians before the Great War. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – XVI, 557 p.
492. *Lohr E.* Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – XI, 237 p.
493. *Marks S.G.* How Russia shaped the modern world: From art to anti-semitism, ballet to bolshevism. – Princeton: Princeton univ. press, 2003. – XII, 393 p.

494. *McReynolds L.* Russia at play: Leisure activities at the end of the tsarist era. – Ithaca: Cornell univ. press, 2003. – X, 309 p.
495. *Michaels P.A.* Curative powers: Medicine and empire in Stalin's Central Asia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2003. – XVII, 239 p.
496. *Miner S.M.* Stalin's holy war: Religion, nationalism, and alliance politics, 1941–1945. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 2003. – XIX, 407 p.
497. *Murav H.* Identity theft: The Jew in imperial Russia and the case of Avraam Uri Kovner. – Stanford: Stanford univ. press, 2003. – XIII, 243 p.
498. *Nesbet A.* Savage junctures: Sergei Eisenstein and the shape of thinking. – L.; N.Y.: I.B. Tauris, 2003. – IX, 260 p.
499. *Neuberger J.* Ivan the Terrible. – L.; N.Y.: I.B. Tauris, 2003. – X, 145 p.
500. *Nice D.* Prokofiev: From Russia to the West, 1891–1935. – New Haven: Yale univ. press, 2003. – XVI, 390 p.
501. Orthodox Russia: Belief and practice under the Tsars / Ed. by Kivelson V.A., Greene R.H. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2003. – XII, 291 p.
502. *Pipes R.* The Degaev affair: Terror and treason in Tsarist Russia. – New Haven: Yale univ. press, 2003. – XI, 153 p.
503. *Plokhly S., Sysyn F.* Religion and nation in modern Ukraine. – Edmonton: Canadian institute of Ukrainian studies press, 2003. – XVI, 216 p.
504. *Poe M.* The Russian moment in world history. – Princeton: Princeton univ. press, 2003. – XV, 116 p.
505. *Pozefsky P.C.* The Nihilist imagination: Dmitrii Pisarev and the cultural origins of Russian radicalism, 1860–1868. – N.Y.: Peter Lang, 2003. – XI, 272 p.
506. *Ram H.* The imperial sublime: A Russian poetics of empire. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2003. – X, 307 p.
507. Redefining Stalinism / Ed. by Shukman H. – L.; Portland, Or.: Frank Cass, 2003. – 178 p.
508. The resistance debate in Russian and Soviet history / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Poe M. – Bloomington: Slavica publishers, 2003. – 238 p.
509. *Richmond Y.* Cultural exchange & the Cold War: Raising the iron curtain. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2003. – XIV, 249 p.
510. *Ruffley D.L.* Children of victory: Young specialists and the evolution of Soviet society. – Westport; L.: Praeger, 2003. – 205 p.
511. Russia and Western civilization: Cultural and historical encounters / Ed. by Bova R. – Armonk; L.: Sharpe, 2003. – XIV, 378 p.
512. Russia engages the world, 1453–1825 / Ed. by Whittaker C.H., Kasinec E., Davis R.H., jr. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – XVI, 208 p.
513. The Russian memoir: History and literature / Ed. and with an introduction by Holmgren B. – Evanston: Northwestern univ. press, 2003. – 221 p.
514. *Sabol S.* Russian colonization and the genesis of Kazakh national consciousness. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. – IX, 233 p.

515. *Sanborn J.A.* Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905–1925. – De Kalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – X, 278 p.
516. *Schenker A.M.* The Bronze Horseman: Falconet's monument to Peter the Great. – New Haven: Yale univ. press, 2003. – XV, 398 p.
517. *Snyder T.* The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. – New Haven: Yale university press, 2003. – XV, 367 p.
518. *Ssorin-Chaikov N.V.* The social life of the state in subarctic Siberia. – Stanford: Stanford univ. press, 2003. – XII, 261 p.
519. St.Petersburg, 1703–1825 / Ed. by Cross A. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. – XIV, 197 p.
520. *Taylor B.D.* Politics and the Russian army: Civil-military relations, 1689–2000. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2003. – XVI, 355 p.
521. *Whittaker C.H.* Russian monarchy: Eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – XII, 308 p.
522. *Wirtschafter E.K.* The play of ideas in Russian Enlightenment theater. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – XV, 296 p.
523. Women and gender in 18th-century Russia / Ed. by Rosslyn W. – Burlington: Ashgate, 2003. – X, 283 p.
524. The years of hunger: Soviet agriculture, 1931–1933 / Ed. by Davies R.W., Wheatcroft S.G. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003. – XVII, 555 p.

2004

525. After the fall: essays in Russian and Soviet historiography / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Poe M. – Bloomington: Slavica publishers, 2004. – 261 p.
526. *Ascher A.* The revolution of 1905: A short history. – Stanford: Stanford univ. press, 2004. – XIV, 229 p.
527. The Bakhtin circle: In the master's absence / Ed. by Brandist C., Shepherd D., Tihanov G. – Manchester; N.Y.: Manchester univ. press; N.Y.: Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2004. – 286 p.
528. *Black L.T.* Russians in Alaska, 1732–1867. – Fairbanks: Univ. of Alaska Fairbanks, 2004. – XV, 328 p.
529. *Boterbloem K.* The life and times of Andrei Zhdanov, 1896–1948. – Montréal; Ithaca: McGill-Queen's univ. press, 2004. – XXIV, 593 p.
530. *Brown K.* A biography of no place: From ethnic borderland to Soviet heartland. – Cambridge: Harvard univ. press, 2004. – XII, 308 p.
531. *Burbank J.* Russian peasants go to court: Legal culture in the countryside, 1905–1917. – Bloomington: Indiana univ. press 2004. – XXI, 374 p.
532. *Clowes E.W.* Fiction's overcoat: Russian literary culture and the question of philosophy. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XVII, 296 p.

533. *Corney F.C.* Telling October: Memory and the making of the Bolshevik revolution. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XVIII, 301 p.
534. *Cracraft J.* The Petrine revolution in Russian culture. – Cambridge: The Belknap press of Harvard univ. press, 2004. – XII, 560 p.
535. *Daly J.W.* The watchful state: Security police and opposition in Russia, 1906–1917. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2004. – XIV, 320 p.
536. *Davies B.L.* State power and community in early modern Russia: The case of Kozlov, 1635–1649. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004. – X, 308 p.
537. *Edgar A.L.* Tribal nation: The making of Soviet Turkmenistan. – Princeton: Princeton univ. press, 2004. – XVI, 296 p.
538. *Engel B.A.* Women in Russia, 1700–2000. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – XXIV, 275 p.
539. *Farrow L.A.* Between clan and crown: The struggle to define noble property rights in imperial Russia. – Newark: Univ. of Delaware press, 2004. – 255 p.
540. *Gheith J.M.* Finding the middle ground: Krestovskii, Tur, and the power of ambivalence in nineteenth-century Russian women's prose. – Evanston: Northwestern univ. press, 2004. – XX, 302 p.
541. *Gordin M.D.* A well-ordered Thing: Dmitrii Mendeleev and the shadow of the Periodic table. – N.Y.: Basic Books, 2004. – XX, 364 p.
542. *Granville J.* The first domino: International decision making during the Hungarian crisis of 1956. – College Station: Texas A&M univ. press, 2004. – XX, 323 p.
543. *Greene D.* Reinventing romantic poetry: Russian women poets of the mid-nineteenth century. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2004. – IX, 306 p.
544. *Gregory P.R.* The political economy of Stalinism: Evidence from the Soviet secret archives. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – XI, 308 p.
545. *Harcave S.* Count Sergei Witte and the twilight of imperial Russia: A biography. – Armonk: M.E. Sharpe, 2004. – VII, 323 p.
546. *Heinzen J.W.* Inventing a Soviet countryside: State power and the transformation of rural Russia, 1917–1929. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2004. – X, 297 p.
547. *Hessler J.* A social history of Soviet trade: Trade policy, retail practices, and consumption, 1917–1953. – Princeton: Princeton univ. press, 2004. – XVI, 366 p.
548. *Imperial rule* / Ed. by Miller A., Rieber A.J. – Budapest; N.Y.: Central European univ. press, 2004. – 212 p.
549. *Johns A.* Baba Yaga: The ambiguous mother and witch of the Russian folktale. – N.Y.: Peter Lang, 2004. – VI, 356 p.
550. *Kalinowska I.* Between East and West: Polish and Russian nineteenth-century travel to the Orient. – Rochester, N.Y.: Univ. of Rochester press, 2004. – 200 p.
551. *King Ch.* The Black Sea: A history. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2004. – XX, 276 p.

552. *Kornblatt J.D.* Doubly chosen: Jewish identity, the Soviet intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2004. – XII, 203 p.
553. *Kozhevnikov A.B.* Stalin's great science: The times and adventures of Soviet physicists. – L.: Imperial college press; River Edge: Distributed by World Scientific, 2004. – XXIII, 360 p.
554. *LeDonne J.P.* The Grand strategy of the Russian empire, 1650–1831. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2004. – XV, 261 p.
555. *Lenoe M.* Closer to the masses: Stalinist culture, social revolution, and Soviet newspapers. – Cambridge: Harvard univ. press, 2004. – 315 p.
556. *Levent N.S.* Healthy spirit in a healthy body: Representations of the sports body in Soviet art of the 1920s and 1930s. – N.Y.: Peter Lang, 2004. – 192 p.
557. *Livers K.A.* Constructing the Stalinist body: Fictional representations of corporeality in the Stalinist 1930s. – Lanham: Lexington books, 2004. – VII, 267 p.
558. *Makolkin A.* A history of Odessa: The last Italian Black Sea colony. – Lewiston: E. Mellen press, 2004. – VI, 270 p.
559. *Mazis J.A.* The Greeks of Odessa: Diaspora leadership in late imperial Russia. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 2004. – XI, 180 p.
560. Modernizing Muscovy: Reform and social change in seventeenth-century Russia / Ed. by Kotilaine J., Poe M. – L., N.Y.: RoutledgeCurzon, 2004. – VI, 489 p.
561. National identity in Russian culture: An introduction / Ed. by Franklin S., Widdis E. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – XIII, 240 p.
562. *Nelson A.* Music for the revolution: Musicians and power in early Soviet Russia. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2004. – XVI, 330 p.
563. *Northrop D.* Veiled empire: Gender and power in Stalinist Central Asia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XVIII, 392 p.
564. *Rabinowitch A.* The Bolsheviks come to power: the revolution of 1917 in Petrograd. – Chicago: Haymarket books, 2004. – XXXIII, 393 p.
565. *Ragsdale H.* The Soviets, the Munich Crisis, and the coming of World War II. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – XXII, 212 p.
566. Reflective laughter: Aspects of humour in Russian culture / Ed. by Milne L. – L.: Anthem press, 2004. – XI, 222 p.
567. Reforming the Tsar's army: Military innovation in imperial Russia from Peter the Great to the revolution / Ed. by Schimmelpenninck van der Oye D., Menning B.W. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – XI, 361 p.
568. Revolutionary Russia: New approaches / Ed. by Wade R.A. – N.Y.: Routledge, 2004. – XXII, 275 p.
569. *Robson R.* Solovki: The story of Russia told through its most remarkable islands. – New Haven: Yale univ. press, 2004. – XVI, 302 p.

570. *Roll-Hansen N.* The Lysenko effect: The politics of science. – Amherst, NY: Humanity books, 2004. – 353 p.
571. *Sandler S.* Commemorating Pushkin: Russia's myth of a national poet. – Stanford: Stanford univ. press, 2004. – XII, 416 p.
572. *Shevzov V.* Russian Orthodoxy on the eve of the revolution. – Oxford: Oxford univ. press, 2004. – XIV, 358 p.
573. *Shneer D.* Yiddish and the creation of Soviet Jewish culture 1918–1930. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – IX, 300 p.
574. *Skirda A.* Nestor Makhno – anarchy's cossack: The struggle for free Soviets in the Ukraine, 1917–1921. – Oakland, CA: AK press, 2004. – XI, 415 p.
575. *Slezkine Yu.* The Jewish century. – Princeton: Princeton univ. press, 2004. – X, 438 p.
576. Soviet music and society under Lenin and Stalin: The baton and sickle / Ed. by Edmunds N. – N.Y.: RoutledgeCurzon, 2004. – XI, 240 p.
577. *Stephan R.W.* Stalin's secret war: Soviet counterintelligence against the Nazis, 1941–1945. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2004. – XIV, 349 p.
578. *Sunderland W.* Taming the wild field: Colonization and empire on the Russian steppe. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XV, 239 p.
579. *Van Deusen K.* Singing story, healing drum: Shamans and storytellers of Turkic Siberia. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2004. – XXV, 205 p.
580. *Weeks A.L.* Russia's life-saver: Lend-lease aid to the U.S.S.R. in World War II. – Lanham: Lexington books, 2004. – X, 175 p.
581. Women in the Khrushchev era / Ed. by Ilič M., Reid S.E., Attwood L. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004. – XIV, 254 p.
582. *Wynot J.J.* Keeping the faith: Russian Orthodox monasticism in the Soviet Union, 1917–1939. – College Station: Texas A&M univ. press, 2004. – 235 p.
583. *Yekelchik S.* Stalin's empire of memory: Russian-Ukrainian relations in the Soviet historical imagination. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2004. – XI, 231 p.
584. *Zhuk S.I.* Russia's lost Reformation: Peasants, millennialism, and radical sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917. – Wash.: Woodrow Wilson center press, 2004. – XX, 457 p.
585. *Zitser E.A.* The transfigured kingdom: Sacred parody and charismatic authority at the court of Peter the Great. – Ithaca: Cornell univ. press, 2004. – XII, 221 p.

2005

586. *Basil J.D.* Church and state in late imperial Russia: Critics of the Synodal system of church government, 1861–1914. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 2005. – XII, 216 p.
587. *Bonhomme B.* Forests, peasants, and revolutionaries: Forest conservation and organization in Soviet Russia, 1917–1929. – Boulder: East European monographs; N.Y.: Distributed by Columbia univ. press, 2005. – 252 p.

588. *Breyfogle N.B.* Heretics and colonizers: Forging Russia's empire in the south Caucasus. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – XVII, 347 p.
589. *Buckler J.A.* Mapping St. Petersburg: Imperial text and cityshape. – Princeton: Princeton univ. press, 2005. – 364 p.
590. *Carleton G.* Sexual revolution in Bolshevik Russia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2005. – X, 272 p.
591. *Coleman H.J.* Russian Baptists and spiritual revolution, 1905–1929. – Bloomington: Indiana univ. press, 2005. – XI, 304 p.
592. *Dekel-Chen J.L.* Farming the red land: Jewish agricultural colonization and local Soviet power, 1924–1941. – New Haven: Yale univ. press, 2005. – XVII, 366 p.
593. *Fitzpatrick Sh.* Tear off the masks! Identity and imposture in twentieth-century Russia. – Princeton: Princeton univ. press, 2005. – XII, 332 p.
594. *Friedman R.* Masculinity, autocracy and the Russian university, 1804–1863. – Houndmills, Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – X, 195 p.
595. *Glantz D.M.* Colossus reborn: The Red Army at war, 1941–1943. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2005. – XIX, 807 p.
596. *Gough M.* The artist as producer: Russian constructivism in revolution. – Berkeley: Univ. of California press, 2005. – 257 p.
597. *Haimson L.H.* Russia's revolutionary experience, 1905–1917: Two essays. – N.Y.: Columbia univ. press, 2005. – XXXII, 265 p.
598. *Hasegawa Ts.* Racing the enemy: Stalin, Truman, and the surrender of Japan. – Cambridge, Mass.: Belknap press of Harvard univ. press, 2005. – IX, 382 p.
599. *Hirsch F.* Empire of nations: Ethnographic knowledge and the making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – XVIII, 367 p.
600. *Jenks A.L.* Russia in a box: Art and identity in an Age of Revolution. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2005. – 264 p.
601. *Kellogg M.* The Russian roots of Nazism: White émigrés and the making of National Socialism, 1917–1945. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2005. – XIII, 327 p.
602. *Kiaer C.* Imagine no possessions: The socialist objects of Russian constructivism. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. – XVII, 326 p.
603. *Koenker D.P.* Republic of labor: Russian printers and Soviet socialism, 1918–1930. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – XII, 343 p.
604. *Kuromiya H.* Stalin. – Harlow, England; N.Y.: Pearson/Longman, 2005. – XVII, 227 p.
605. *Lewin M.* The Soviet century / Ed. by Elliott G. – L.; N.Y.: Verso, 2005. – IX, 416 p.
606. *Litvin A., Keep J.* Stalinism: Russian and Western views at the turn of the millennium. – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – XIV, 248 p.
607. *Lower W.* Nazi empire-building and the Holocaust in Ukraine. – Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 2005. – 307 p.

608. *MacFadyen D.* Yellow crocodiles and blue oranges: Russian animated film since World War Two. – Montreal; Ithaca: McGill-Queen's univ. press, 2005. – XX, 256 p.
609. *Matich O.* Erotic utopia: The decadent imagination in Russia's fin-de-siècle. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2005. – XIII, 340 p.
610. *Montgomery R.W.* Late tsarist and early Soviet nationality and cultural policy: The Buryats and their language. – Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen press, 2005. – IX, 347 p.
611. *Murphy D.E.* What Stalin knew: The enigma of Barbarossa. – New Haven: Yale univ. press, 2005. – XXII, 310 p.
612. *Murphy K.* Revolution and counterrevolution: Class struggle in a Moscow metal factory. – N.Y.: Berghahn books, 2005. – XI, 234 p.
613. *Owen Th.C.* Dilemmas of Russian capitalism: Fedor Chizhov and corporate enterprise in the railroad age. – Cambridge: Harvard univ. press, 2005. – XIV, 275 p.
614. *Pipes R.* Russian conservatism and its critics: A study in political culture. – New Haven: Yale univ. press, 2005. – XV, 216 p.
615. *Plokhly S.* Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2005. – XII, 614 p.
616. Polish encounters, Russian identity / Ed. by Ransel D.L., Shallcross B. – Bloomington: Indiana univ. press, 2005. – VII, 218 p.
617. *Powelstock D.* Becoming Mikhail Lermontov: The ironies of romantic individualism in Nicholas I's Russia. – Evanston: Northwestern univ. press, 2005. – XII, 582 p.
618. *Prusin A.V.* Nationalizing a borderland: War, ethnicity, and anti-Jewish violence in east Galicia, 1914–1920. – Tuscaloosa: Univ. of Alabama press, 2005. – XIII, 181 p.
619. *Reese R.R.* Red commanders: A social history of the Soviet Army officer corps, 1918–1991. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2005. – XIII, 315 p.
620. *Riasanovsky N.V.* Russian identities: A historical survey. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2005. – 278 p.
621. *Rosenshield G.* Western law, Russian justice: Dostoevsky, the jury trial, and the law. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2005. – IX, 309 p.
622. *Rossmann J.F.* Worker resistance under Stalin: Class and revolution on the shop floor. – Cambridge: Harvard univ. press, 2005. – 314 p.
623. Russia in the European context, 1789–1914: A member of the family / Ed. by McCaffray S.P., Melançon M. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – X, 238 p.
624. Russian and Soviet film adaptations of literature, 1900–2001: Screening the word / Ed. by Hutchings S., Vernitski A. – L.; N.Y.: RoutledgeCurzon, 2005. – 228 p.
625. *Snyder T.* Sketches from a secret war: A Polish artist's mission to liberate Soviet Ukraine. – New Haven: Yale univ. press, 2005. – XXIII, 347 p.
626. Stalin: A new history / Ed. by Davies S., Harris J. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2005. – XIII, 295 p.
627. *Stites R.* Serfdom, society, and the arts in imperial Russia: The pleasure and the power. – New Haven: Yale univ. press, 2005. – XIII, 586 p.

628. *Sylvester R.P.* Tales of old Odessa: Crime and civility in a city of thieves. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2005. – X, 244 p.
629. Synopsis: A collection of essays in honour of Zenon E. Kohut / Ed. by Plokhly S., Sysyn F.E. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian studies press, 2005. – XVIII, 481 p.
630. The Trinity Saint Sergius Lavra in Russian history and culture / Ed. by Tsurikov V. – Jordanville: Holy Trinity seminary press, 2005. – 356 p.
631. *Walker B.* Maximilian Voloshin and the Russian literary circle: Culture and survival in revolutionary times. – Bloomington: Indiana univ. press, 2005. – XIV, 235 p.
632. *Wanke P.* Russian/Soviet military psychiatry, 1904–1945. – L.; N.Y.: Frank Cass, 2005. – X, 145 p.
633. *Winks R.W., Neuberger J.* Europe and the making of modernity, 1815–1914. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2005. – XVII, 396 p.
634. *Wolfe T.C.* Governing Soviet journalism: The press and the socialist person after Stalin. – Bloomington: Indiana univ. press, 2005. – XXI, 240 p.
635. *Wood E.A.* Performing justice: Agitation trials in early Soviet Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2005. – 301 p.
636. Word, music, history: A festschrift for Caryl Emerson / Ed. by Fleishman L., Safran G., Wachtel A. – Stanford: Dept. of Slavic Languages and Literatures, Stanford univ., 2005. – 2 vol. 777 p.
637. *Zelnik R.* Perils of Pankratova: Some stories from the annals of Soviet historiography. – Seattle: Univ. of Washington, 2005. – XIV, 137 p.

2006

638. Borders of socialism: Private spheres of Soviet Russia / Ed. by Siegelbaum L.H. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. – X, 291 p.
639. *Bucher G.* Women, the bureaucracy and daily life in postwar Moscow, 1945–1953. – Boulder: East European monographs, 2006. – X, 217 p.
640. *Conroy M.S.* The Soviet pharmaceutical business during the first two decades, (1917–1937). – N.Y.: Peter Lang, 2006. – VIII, 377 p.
641. *Crews R.D.* For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia. – Cambridge: Harvard univ. press, 2006. – 463 p.
642. *Dickinson S.* Breaking ground: Travel and national culture in Russia from Peter I to the era of Pushkin. – Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2006. – 291 p.
643. The dilemmas of de-Stalinization: Negotiating cultural and social change in the Khrushchev era / Ed. by Jones P. – L.; N.Y.: Routledge, 2006. – XIV, 279 p.
644. Doing medicine together: Germany and Russia between the wars / Ed. by Solomon S.G. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2006. – XVII, 533 p.
645. Epic revisionism: Russian history and literature as Stalinist propaganda / Ed. by Platt K., Brandenberger D. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2006. – XVI, 355 p.

646. Everyday life in early Soviet Russia: Taking the Revolution inside / Ed. by Kiaer Ch., Naiman E. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – 310 p.
647. *Frame M.* School for citizens: Theatre and civil society in imperial Russia. – New Haven: Yale univ. press, 2006. – VIII, 262 p.
648. *Fuller W.C., jr.* The foe within: Fantasies of treason and the end of imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – XIII, 286 p.
649. *Gati Ch.* Failed illusions: Moscow, Washington, Budapest, and the 1956 Hungarian revolt. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; Stanford: Stanford univ. press, 2006. – XV, 264 p.
650. Gender and national identity in the twentieth-century Russian culture / Ed. by Goscilo H., Lanoux A. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2006. – X, 257 p.
651. *Graham L.R.* Moscow stories. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – XI, 305 p.
652. *Hellbeck J.* Revolution on my mind: Writing a diary under Stalin. – Cambridge: Harvard univ. press, 2006. – XI, 436 p.
653. *Johnson E.D.* How St. Petersburg learned to study itself: The Russian idea of Kraevedenie. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2006. – XIII, 303 p.
654. *Kamp M.* The new woman in Uzbekistan: Islam, modernity, and unveiling under communism. – Seattle: Univ. of Washington press, 2006. – XIII, 332 p.
655. *Kirschenbaum L.A.* The legacy of the siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, memories, and monuments. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – 326 p.
656. *Kivelson V.* Cartographies of tsardom: The land and its meanings in seventeenth-century Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – XIV, 263 p.
657. Late Stalinist Russia: Society between reconstruction and reinvention / Ed. by Fürst J. – Abingdon, Oxon; N.Y.: Routledge, 2006. – XIV, 287 p.
658. *Lee S.J.* Russia and the USSR, 1855–1991. – L.; N.Y.: Routledge, 2006. – XXIII, 216 p.
659. Letters from heaven: popular religion in Russia and Ukraine / Ed. by Himka J.-P., Zayarnyuk A. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2006. – VIII, 277 p.
660. *Lih L.T.* Lenin rediscovered: What is to be done? in context. – Leiden; Boston: Brill, 2006. – XIX, 867 p.
661. *Litvak O.* Conscription and the search for modern Russian Jewry. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – XV, 273 p.
662. Lotman and cultural studies: Encounters and extensions / Ed. by Schönle A. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2006. – IX, 383 p.
663. *Lukacs J.* June 1941: Hitler and Stalin. – New Haven: Yale univ. press, 2006. – X, 169 p.
664. *Malia M.E.* History's locomotives: Revolutions and the making of the modern world / Ed. and with a foreword by Emmons T. – New Haven: Yale univ. press, 2006. – X, 360 p.
665. *Melançon M.* The Lena Goldfields massacre and the crisis of the late tsarist state. – College Station: Texas A&M univ. press, 2006. – 238 p.

666. *Morrissey S.K.* Suicide and the body politic in imperial Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2006. – XV, 384 p.
667. *Neilson K.* Britain, Soviet Russia and the collapse of the Versailles order, 1919–1939. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2006. – X, 379 p.
668. *Norris S.M.* A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812–1945. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2006. – XIII, 277 p.
669. *O'Malley L.D.* The dramatic works of Catherine the Great: Theatre and politics in eighteenth-century Russia. – Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2006. – VIII, 227 p.
670. *Orientalism and Empire in Russia* / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin M. – Bloomington: Slavica publishers, 2006. – 363 p.
671. *Palmer S.W.* Dictatorship of the air: Aviation culture and the fate of modern Russia. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2006. – XX, 307 p.
672. *Patenaude B.* A wealth of ideas: Revelations from the Hoover Institution Archives. – Stanford: Stanford general books, 2006. – XII, 303 p.
673. *Plokhly S.* The origins of the Slavic nations: Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2006. – XIX, 379 p.
674. *Pollock E.* Stalin and the Soviet science wars. – Princeton: Princeton univ. press, 2006. – 288 p.
675. *Pre-modern Russia and its world: Essays in honor of Thomas S. Noonan* / Ed. by Reyersen K.L., Stavrou T.G., Tracy J.D. – Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. – 179 p.
676. *Russia's sputnik generation: Soviet baby boomers talk about their lives* / Transl. and ed. by Raleigh D.J. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – XIII, 299 p.
677. *The Russian imperial army, 1796–1917* / Ed. by Reese R. – Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate, 2006. – XXVI, 431 p.
678. *Sharp J.* Russian modernism between East and West: Natal'ia Goncharova and the Moscow avant-garde. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2006. – XV, 344 p.
679. *Shternshis A.* Soviet and kosher: Jewish popular culture in the Soviet Union, 1923–1939. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – XXI, 252 p.
680. *Slepyan K.* Stalin's guerrillas: Soviet partisans in World War II. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006. – XI, 409 p.
681. *Stoff L.* They fought for the motherland: Russia's women soldiers in World War I and the revolution, (1914–1920). – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006. – X, 294 p.
682. *Stone D.R.* A military history of Russia: From Ivan the Terrible to the war in Chechnya. – Westport: Praeger Security International, 2006. – XIV, 259 p.
683. *Tomoff K.* Creative union: The professional organization of Soviet composers, 1939–1953. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – XIV, 321 p.
684. *Transchel K.* Under the influence: Working-class drinking, temperance, and cultural revolution in Russia, 1895–1932. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2006. – X, 209 p.

685. Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism / Ed. by Gorsuch A.E., Koenker D.P. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – IX, 313 p.
686. *Williams S.F.* Liberal reform in an illiberal regime: The creation of private property in Russia, 1906–1915. – Stanford: Hoover Inst. press, 2006. – XII, 320 p.
687. *Wortman R.* Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy from Peter the Great to the abdication of Nicholas II. – New abridged 1-v. pbk. ed. – Princeton: Princeton univ. press, 2006. – VIII, 491 p.

2007

688. *Allen E. Ch.* A fallen idol is still a god: Lermontov and the quandaries of cultural transition. – Stanford: Stanford univ. press, 2007. – XII, 286 p.
689. *Bernstein F.L.* The dictatorship of sex: Lifestyle advice for the Soviet masses. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2007. – XVII, 246 p.
690. *Bojanowska E.M.* Nikolai Gogol: Between Ukrainian and Russian nationalism. – Cambridge: Harvard univ. press, 2007. – 448 p.
691. *Cavender M.W.* Nests of the gentry: Family, estate, and local loyalties in provincial Russia. – Newark: Univ. of Delaware press, 2007. – 251 p.
692. *Daniels R.V.* The rise and fall of communism in Russia. – New Haven: Yale univ. press, 2007. – XI, 481 p.
693. *Davies B.L.* Warfare, state and society on the Black Sea Steppe, 1500–1700. – L.; N.Y.: Routledge, 2007. – X, 256 p.
694. Everyday life in Central Asia: Past and present / Ed. by Sahadeo J., Zanca R. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – IX, 401 p.
695. *Field D.A.* Private life and communist morality in Khrushchev's Russia. – N.Y.: Peter Lang, 2007. – X, 147 p.
696. *Finkel S.* On the ideological front: The Russian intelligentsia and the making of the Soviet public sphere. – New Haven: Yale univ. press, 2007. – VIII, 338 p.
697. *Foglesong D.S.* The American mission and the «Evil Empire»: The crusade for a «Free Russia» since 1881. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2007. – X, 352 p.
698. *Frolova-Walker M.* Russian music and nationalism: From Glinka to Stalin. – New Haven: Yale univ. press, 2007. – XIV, 402 p.
699. *Gaudin C.* Ruling peasants: Village and state in late imperial Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2007. – X, 271 p.
700. *Glantz D.M.* Red storm over the Balkans: The failed Soviet invasion of Romania, spring 1944. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2007. – XIV, 448 p.
701. *Goldman W.Z.* Terror and democracy in the age of Stalin: The social dynamics of repression. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2007. – X, 274 p.
702. *Grant J.A.* Rulers, guns, and money: The global arms trade in the age of imperialism. – Cambridge: Harvard univ. press, 2007. – 288 p.

703. *Halperin Ch.J.* Russia and the Mongols: Slavs and the steppe in medieval and early modern Russia / Ed. by Spinei V., Bilavski G. – București: Editura Academiei Române, 2007. – 327 p.
704. *Herrlinger P.* Working souls: Russian Orthodoxy and factory labor in St. Petersburg, 1881–1917. – Bloomington: Slavica publishers, 2007. – XII, 290 p.
705. *Kuromiya H.* The voices of the dead: Stalin's great terror in the 1930 s. – New Haven; L.: Yale univ. press, 2007. – VIII, 295 p.
706. Madness and the mad in Russian culture / Ed. by Brintlinger A., Vinitzky I. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2007. – X, 331 p.
707. *Makolkin A.* The nineteenth century in Odessa: One hundred years of Italian culture on the shores of the Black Sea, 1794–1894. – Lewiston: Edwin Mellen press, 2007. – VIII, 230 p.
708. *Marker G.* Imperial saint: The cult of St. Catherine and the dawn of female rule in Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2007. – XVII, 307 p.
709. *Orwin D.T.* Consequences of consciousness: Turgenev, Dostoevsky, and Tolstoy. – Stanford: Stanford univ. press, 2007. – XII, 238 p.
710. Peopling the Russian periphery: Borderland colonization in Eurasian history / Ed. by Breyfogle N., Schrader A., Sunderland W. – N.Y.: Routledge, 2007. – XVI, 288 p.
711. *Plokhly S.* Ukraine and Russia: Representations of the past. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2007. – XIX, 391 p.
712. *Rabinowitch A.* The Bolsheviks in power: The first year of Soviet rule in Petrograd. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – XV, 494 p.
713. *Randolph J.* The house in the garden: The Bakunin family and the romance of Russian idealism. – Ithaca: Cornell univ. press, 2007. – XVI, 287 p.
714. *Robinson H.* Russians in Hollywood, Hollywood's Russians: Biography of an image. – Boston: Northeastern univ. press; Hanover, NH: Published by univ. press of New England, 2007. – X, 314 p.
715. Russian art and the West: A century of dialogue in painting, architecture, and the decorative arts / Ed. by Blakesley R.P., Reid S.E. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2007. – VIII, 246 p.
716. Russian empire: Space, people, power, 1700–1930 / Ed. by Burbank J., von Hagen M., Remnev A. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – XII, 538 p.
717. *Rylkova G.* The archaeology of anxiety: The Russian Silver Age and its legacy. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2007. – IX, 270 p.
718. Sacred stories: Religion and spirituality in modern Russia / Ed. by Steinberg M.D., Coleman H.J. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – VII, 420 p.
719. *Sahadeo J.* Russian colonial society in Tashkent, 1865–1923. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – X, 316 p.
720. *Sherlock T.D.* Historical narratives in the Soviet Union and post-Soviet Russia: Destroying the settled past, creating an uncertain future. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. – VIII, 271 p.

721. *Schönle A.* The ruler in the garden: Politics and landscape design in imperial Russia. – Bern; N.Y.: Peter Lang, 2007. – 395 p.
722. *Slater W.* The many deaths of Tsar Nicholas II: Relics, remains and the Romanovs. – L.; N.Y.: Routledge, 2007. – IX, 194 p.
723. *Stevens C.B.* Russia's wars of emergence: 1460–1730. – N.Y.: Pearson Longman, 2007. – XVI, 352 p.
724. *Taylor Ph.* Anton Rubinstein: A life in music. – Bloomington: Indiana univ. press, 2007. – XXV, 340 p.
725. Times of trouble: Violence in Russian literature and culture / Ed. by Levitt M.C., Novikov T. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2007. – X, 324 p.
726. *Ungurianu D.* Plotting history: The Russian historical novel in the Imperial Age. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2007. – XII, 335 p.
727. *Viola L.* The unknown Gulag: The lost world of Stalin's special settlements. – Oxford; N. Y.: Oxford univ. press, 2007. – XXVI, 278 p.
728. *von Hagen M.* War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. – Seattle: Herbert J. Ellison Center for Russian, East European, and Central Asian studies, Univ. of Washington, 2007. – XI, 122 p.
729. Women in Russian culture and society, 1700–1825 / Ed. by Tosi A., Rosslyn W. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. – XIII, 264 p.
730. *Yekelchik S.* Ukraine: Birth of a modern nation. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2007. – XVI, 280 p.
731. *Youngblood D.J.* Russian war films: On the cinema front, 1914–2005. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2007. – XVI, 319 p.

2008

732. *Bailey H.* Orthodoxy, modernity, and authenticity: The reception of Ernest Renan's *Life of Jesus* in Russia. – Newcastle: Cambridge scholars pub., 2008. – XXIII, 342 p.
733. *Barrett M.B.* Operation Albion: The German conquest of the Baltic Islands. – Bloomington: Indiana univ. press, 2008. – X, 298 p.
734. *Bittner S.V.* The many lives of Khrushchev's thaw: Experience and memory in Moscow's Arbat. – Ithaca: Cornell univ. press, 2008. – XI, 235 p.
735. *Bowl J.E.* Moscow & St. Petersburg, 1900–1920: Art, life, and culture of the Russian Silver Age. – N.Y.: Vendome press, 2008. – 395 p.
736. *Cohen A.J.* Imagining the unimaginable: World war, modern art, and the politics of public culture in Russia, 1914–1917. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2008. – XII, 232 p.
737. *Conroy M.S.* Medicines for the soviet masses during World War II. – Lanham: Univ. press of America, 2008. – XIV, 256 p.

738. *Dowling T.C.* The Brusilov offensive. – Bloomington: Indiana univ. press, 2008. – XXV, 208 p.
739. A dream deferred: New studies in Russian and Soviet labour history / Ed. by Filtzer D. et al. – Bern [Switzerland]; N.Y.: Peter Lang, 2008. – 508 p.
740. *Edele M.* Soviet veterans of the Second World War: A popular movement in an authoritarian society, 1941–1991. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 334 p.
741. *Friesen L.G.* Rural revolutions in southern Ukraine: Peasants, nobles, and colonists, 1774–1905. – Cambridge: Distributed by Harvard univ. press for the Harvard Ukrainian research institute, 2008. – VIII, 325 p.
742. *Froese P.* The plot to kill God: Findings from the Soviet experiment in secularization. – Berkeley: Univ. of California press, 2008. – XIII, 248 p.
743. *Getty A.J., Naumov O.V.* Yezhov: The rise of Stalin's «iron fist». – New Haven: Yale univ. press, 2008. – XXV, 283 p.
744. *Gregory P.R.* Lenin's brain and other tales from the secret Soviet archives. – Stanford: Hoover Institution press, 2008. – XIII, 162 p.
745. Guns and rubles: The defense industry in the Stalinist state / Ed. by Harrison M. – New Haven: Yale univ. press, 2008. – XXVI, 272 p.
746. *Harris J.* The split in Stalin's Secretariat, 1939–1948. – Lanham: Lexington Books, 2008. – VIII, 183 p.
747. *Hedda J.* His kingdom come: Orthodox pastorship and social activism in revolutionary Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2008. – IX, 297 p.
748. *Heretz L.* Russia on the eve of modernity: Popular religion and traditional culture under the last tsars. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2008. – IX, 268 p.
749. *Hokanson K.* Writing at Russia's border. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2008. – X, 301 p.
750. *Intelligentsia science: The Russian century, 1860–1960* / Ed. by Gordin M.D., Hall K., Kojevnikov A. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2008. – III, 294 p.
751. *Jones J.W.* Everyday life and the «reconstruction» of Soviet Russia during and after the Great Patriotic War, 1943–1948. – Bloomington: Slavica publishers, 2008. – XIV, 309 p.
752. *Kaganovsky L.* How the Soviet man was unmade: Cultural fantasy and male subjectivity under Stalin. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2008. – XI, 226 p.
753. *Kalb J.E.* Russia's Rome: Imperial visions, messianic dreams, 1890–1940. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2008. – XIV, 299 p.
754. *Katz E.M.* Neither with them, nor without them: The Russian writer and the Jew in the age of realism. – Syracuse: Syracuse univ. press, 2008. – XIV, 366 p.
755. *King Ch.* The ghost of freedom: A history of the Caucasus. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2008. – XVIII, 291 p.
756. *Landis E.C.* Bandits and partisans: The Antonov movement in the Russian Civil war. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2008. – XVIII, 381 p.

757. *Lazarski C.* The lost opportunity: Attempts at unification of the anti-Bolsheviks, 1917–1919: Moscow, Kiev, Jassy, Odessa. – Lanham: Univ. press of America, 2008. – VIII, 181 p.
758. *Loewen D.* The most dangerous art: Poetry, politics and autobiography after the Russian revolution. – Lanham: Lexington books, 2008. – XII, 225 p.
759. The lost Politburo transcripts: From collective rule to Stalin's dictatorship / Ed. by Gregory P.R., Naimark N. – New Haven: Yale univ. press, 2008. – VIII, 271 p.
760. *Luehrmann S.* Alutiiq villages under Russian and U.S. rule. – Fairbanks: Univ. of Alaska press, 2008. – XX, 204 p.
761. *Luthi L.* The Sino-Soviet split: Cold War in the communist world. – Princeton: Princeton univ. press, 2008. – XVII, 375 p.
762. *Manchester L.* Holy fathers, secular sons: Clergy, intelligentsia, and the modern self in revolutionary Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2008. – XIV, 288 p.
763. Mapping the feminine: Russian women and cultural difference / Ed. by Hoogenboom H., Nepomnyashchy C., Reyfman I. – Bloomington: Slavica publishers, 2008. – III, 357 p.
764. *McReynolds S.* Redemption and the merchant God: Dostoevsky's economy of salvation and antisemitism. – Evanston: Northwestern univ. press, 2008. – XIV, 241 p.
765. *Meyer P.* How the Russians read the French: Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2008. – XIV, 277 p.
766. *Munro G.E.* The most intentional city: St. Petersburg in the reign of Catherine the Great. – Madison: Fairleigh Dickinson univ. press, 2008. – 372 p.
767. Picturing Russia: Explorations in visual culture / Ed. by A. Kivelson V.A., Neuberger J. – New Haven: Yale univ. press, 2008. – XV, 284 p.
768. Preserving Petersburg: History, memory, nostalgia / Ed. by Goscilo H., Norris S.M. – Bloomington: Indiana univ. press, 2008. – XXI, 234 p.
769. *Rajagopalan S.* Indian films in Soviet cinemas: The culture of movie-going after Stalin. – Bloomington: Indiana univ. press, 2008. – XVI, 241 p.
770. *Randall A.* The Soviet dream world of retail and consumption in the 1930s. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. – XIII, 252 p.
771. *Retish A.* Russia's peasants in revolution and civil war: Citizenship, identity, and the creation of the Soviet state, 1914–1922. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2008. – XIV, 294 p.
772. The Revolution of 1905 and Russia's Jews / Ed. by Hoffman S., Mendelsohn E. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania press, 2008. – IX, 320 p.
773. *Rosenshield G.* The ridiculous Jew: The exploitation and transformation of a stereotype in Gogol, Turgenev, and Dostoevsky. – Stanford: Stanford univ. press, 2008. – IX, 254 p.
774. Russian and Soviet history: From the Time of Troubles to the collapse of the Soviet Union / Ed. by Usitalo S.A., Whisenhunt W.B. – Lanham: Rowan & Littlefield, 2008. – XIII, 292 p.

775. Sergey Prokofiev and his world / Ed. by Morrison S. – Princeton: Princeton univ. press, 2008. – XII, 580 p.
776. The Shoah in Ukraine: History, testimony, memorialization / Ed. by Brandon R., Lower W. – Bloomington: Indiana univ. press: In association with the United States Holocaust memorial museum, 2008. – IX, 378 p.
777. *Shulman E.* Stalinism on the frontier of empire: Women and the state formation in the Soviet Far East. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2008. – XIV, 260 p.
778. *Siegelbaum L.* Cars for comrades: The life of the Soviet automobile. – Ithaca: Cornell univ. press, 2008. – XIV, 309 p.
779. *Siljak A.* Angel of vengeance: The «Girl Assassin» the governor of St. Petersburg, and Russia's revolutionary world. – N.Y.: St. Martin's press, 2008. – XI, 370 p.
780. *Smith A.K.* Recipes for Russia: Food and nationhood under the tsars. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2008. – X, 259 p.
781. *Smith D.* The Pearl: A true tale of forbidden love in Catherine the Great's Russia. – New Haven: Yale univ. press, 2008. – XIV, 328 p.
782. *Smith T.A.* The Volokolamsk paterikon: A window on a Muscovite monastery. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval studies, 2008. – 240 p.
783. *Srebrnik H.F.* Jerusalem on the Amur: Birobidzhan and the Canadian Jewish communist movement, 1924–1951. – Montreal: McGill-Queen's univ. press, 2008. – XXI, 338 p.
784. *Starks T.* The body Soviet: Propaganda, hygiene, and the revolutionary state. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2008. – XIII, 313 p.
785. *Wirtschaftler E.K.* Russia's age of serfdom 1649–1861. – Malden: Blackwell, 2008. – XIV, 287 p.
786. *Woronzoff-Dashkoff A.* Dashkova: A life of influence and exile. – Philadelphia: American Philosophical society, 2008. – XXXI, 331 p.

2009

787. *Andrews J.T.* Red cosmos: K.E. Tsiolkovskii, grandfather of Soviet rocketry. – College Station: Texas A & M univ. press, 2009. – XVIII, 147 p.
788. Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared / Ed. by Geyer M., Fitzpatrick Sh. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – IX, 536 p.
789. *Boeck B.* Imperial boundaries: Cossack communities and empire-building in the age of Peter the Great. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – XI, 255 p.
790. *Bradley J.* Voluntary associations in Tsarist Russia: Science, patriotism, and civil society. – Cambridge: Harvard univ. press, 2009. – XIV, 366 p.
791. *Cavanagh C.* Lyric poetry and modern politics: Russia, Poland, and the West. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XI, 332 p.
792. *Cheng Y.* Creating the 'new man': From Enlightenment ideals to socialist realities. – Honolulu: Univ. of Hawai'i press, 2009. – X, 265 p.

793. *Cohen S.F.* Soviet fates and lost alternatives: From Stalinism to the new Cold War. – N.Y.: Columbia univ. press, 2009. – 308 p.
794. *Davis D.E., Trani E.P.* Distorted mirrors: Americans and their relations with Russia and China in the twentieth century. – Columbia: Univ. of Missouri press, 2009. – XXIX, 460 p.
795. *Du Quenoy P.* Stage fright: Politics and the performing arts in late imperial Russia. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2009. – XIII, 290 p.
796. *Easley R.* The emancipation of the serfs in Russia: Peace arbitrators and the development of civil society. – L.; N.Y.: Routledge, 2009. – XII, 226 p.
797. *Edelman R.* Spartak Moscow: A history of the people's team in the workers' state. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XIII, 346 p.
798. *Engelstein L.* Slavophile empire: Imperial Russia's illiberal path. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XII, 239 p.
799. *Engerman D.C.* Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – X, 459 p.
800. *Ganson N.* The Soviet famine of 1946–1947 in global and historical perspective. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2009. – XIX, 218 p.
801. *Glantz D.M., House J.M.* Armageddon in Stalingrad: September–November 1942. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2009. – XXII, 896 p.
802. *Glantz D.M., House J.M.* To the gates of Stalingrad: Soviet–German combat operations, April–August 1942. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2009. – XIX, 655 p.
803. *Gorshkov B.B.* Russia's factory children: State, society, and law, 1800–1917. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2009. – IX, 216 p.
804. *Graham S.* Resonant dissonance: The Russian joke in cultural context. – Evanston: Northwestern univ. press, 2009. – X, 221 p.
805. *Graham L.R., Kantor J.-M.* Naming infinity: A true story of religious mysticism and mathematical creativity. – Cambridge: Belknap press of Harvard univ. press, 2009. – X, 239 p.
806. *Grant B.* The captive and the gift: Cultural histories of sovereignty in Russia and the Caucasus. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XXI, 188 p.
807. *Gregory P.R.* Terror by quota: State security from Lenin to Stalin: An archival study. – Stanford; New Haven; L.: Yale univ. press, 2009. – VIII, 346 p.
808. *Gustav Shpet's contribution to philosophy and cultural theory / Ed. by Tihanov G.* – West Lafayette, Ind.: Purdue univ. press, 2009. – VII, 322 p.
809. *Hagenloh P.* Stalin's police: Public order and mass repression in the USSR, 1926–1941. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2009. – XIX, 460 p.
810. *Halfin I.* Stalinist confessions: Messianism and terror at the Leningrad Communist University. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2009. – VII, 485 p.
811. *Halperin Ch.J.* The Tatar yoke: The image of the Mongols in medieval Russia. – Corrected ed. – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – VIII, 239 p.

812. *Hammond V.E.* State service in sixteenth century Novgorod. – Lanham: Univ. press of America, 2009. – 346 p.
813. *Harte T.* Fast forward: The aesthetics and ideology of speed in Russian avant-garde culture, 1910–1930. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2009. – XII, 318 p.
814. *Healey D.* Bolshevik sexual forensics: Diagnosing disorder in the clinic and courtroom, 1917–1939. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – X, 252 p.
815. *Hickey M.W.* The writer in Petrograd and the House of Arts. – Evanston: Northwestern univ. press, 2009. – XXIX, 596 p.
816. *Himka J.-P.* Last Judgment iconography in the Carpathians. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2009. – XXII, 301 p.
817. *Holmes L.E.* Kirov's school No. 9: Power, privilege, and excellence in the provinces, 1933–1945. – Kirov: Loban, 2009. – 125 p.
818. *Holmes L.E.* Grand theater: Regional governance in Stalin's Russia, 1931–1941. – Lanham: Lexington books, 2009. – XXI, 257 p.
819. *Horowitz B.* Empire Jews: Jewish nationalism and acculturation in 19th- and early 20th-century Russia. – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – 305 p.
820. *Horowitz B.* Jewish philanthropy and enlightenment in late tsarist Russia. – Seattle: Univ. of Washington press, 2009. – IX, 342 p.
821. The human tradition in imperial Russia / Ed. by Worobec C.D. – Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 2009. – XVII, 179 p.
822. *Jensen C.R.* Musical cultures in seventeenth-century Russia. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009. – XII, 359 p.
823. *Kan S.* Lev Shternberg: Anthropologist, Russian socialist, Jewish activist. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2009. – XX, 550 p.
824. *Khachaturian L.* Cultivating nationhood in imperial Russia: The periodical press and the formation of a modern Armenian identity. – New Brunswick: Transaction publishers, 2009. – IX, 241 p.
825. *Kotlerman B.B.* In search of milk and honey: The theater of Soviet Jewish statehood, (1934–49). – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – XIV, 302 p.
826. *Kowalsky Sh.A.* Deviant women: Female crime and criminology in revolutionary Russia, 1880–1930. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – XII, 314 p.
827. The making of Russian history: Society, culture, and the politics of modern Russia: Essays in honor of Allan K. Wildman / Ed. by Steinberg J.W., Wade R.A. – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – X, 209 p.
828. *Manley R.* To the Tashkent station: Evacuation and survival in the Soviet Union at war. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XVI, 282 p.
829. *Masing-Delic I.* Exotic Moscow under Western eyes. – Boston: Academic studies press, 2009. – XVII, 245 p.
830. *McMeekin S.* History's greatest heist: The looting of Russia by the Bolsheviks. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XXII, 302 p.

831. *Mondry H.* Exemplary bodies: Constructing the Jew in Russian culture, since the 1880s. – Brighton, Mass.: Academic studies press, 2009. – 301 p.
832. *Moss K.B.* Jewish renaissance in the Russian revolution. – Cambridge: Harvard univ. press, 2009. – X, 384 p.
833. The new Muscovite cultural history: A collection in honor of Daniel B. Rowland / Ed. by Kivelson V. et al. – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – XI, 337 p.
834. *Papazian E.A.* Manufacturing truth: The documentary moment in early Soviet culture. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – XIII, 282 p.
835. *Paperno I.* Stories of the Soviet experience: Memoirs, diaries, dreams. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XV, 285 p.
836. Petrified utopia: Happiness Soviet style / Ed. by Balina M., Dobrenko E. – L.; N.Y.: Anthem press, 2009. – XXIV, 307 p.
837. *Petrovsky-Shtern Y.* The anti-imperial choice: The making of the Ukrainian Jew. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XV, 344 p.
838. *Petrovsky-Shtern Y.* Jews in the Russian army, 1827–1917: Drafted into modernity. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – XVI, 307 p.
839. *Qualls K.D.* From ruins to reconstruction: Urban identity in Soviet Sevastopol after World War II. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XIV, 214 p.
840. *Ransel D.L.* A Russian merchant's tale: The life and adventures of Ivan Alekseevich Tolchënov, based on his diary. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009. – XXVI, 320 p.
841. *Rogers D.* The old faith and the Russian land: A historical ethnography of ethics in the Urals. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – XVII, 338 p.
842. *Ruane C.* The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700–1917. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XII, 276 p.
843. Rude & barbarous kingdom revisited: Essays in Russian history and culture in honor of Robert O. Crummey / Ed. by Dunning Ch. S.L., Martin R.E., Rowland D. – Bloomington: Slavica publishers, 2009. – 522 p.
844. Russia's dissident Old Believers, 1650–1950 / Ed. by Michels G.B., Nichols R.L. – Minneapolis: Univ. of Minnesota, Modern Greek studies, 2009. – 316 p.
845. *Ryan K.L.* Stalin in Russian satire, 1917–1991. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2009. – 241 p.
846. *Salys R.* The musical comedy films of Grigorii Aleksandrov: Laughing matters. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2009. – 352 p.
847. *Schmelz P.J.* Such freedom, if only musical: Unofficial Soviet music during the Thaw. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – X, 392 p.
848. *Schuler C.* Theatre and identity in imperial Russia. – Iowa City: Univ. of Iowa press, 2009. – X, 326 p.
849. *Shearer D.R.* Policing Stalin's socialism: Repression and social order in the Soviet Union, 1924–1953. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – XIV, 507 p.

850. *Skinner B.* The Western front of the Eastern church: Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2009. – IX, 295 p.
851. Tobacco in Russian history and culture: From the seventeenth century to the present / Ed. by Romaniello M.P., Starks T. – N.Y.: Routledge, 2009. – X, 295 p.
852. Treasures into tractors: the selling of Russia's cultural heritage, 1918–1938 / Ed. by Odom A., Salmond W.R. – Washington, DC: Hillwood Estate, Museum & Gardens; Seattle: Distributed by univ. of Washington press, 2009. – XXIII, 424 p.
853. *Veidlinger J.* Jewish public culture in the late Russian empire. – Bloomington: Indiana univ. press, 2009. – XVIII, 382 p.
854. *Verhoeven C.* The odd man Karakozov: Imperial Russia, modernity, and the birth of terrorism. – Ithaca: Cornell univ. press, 2009. – X, 231 p.
855. *Ward C.J.* Brezhnev's folly: The building of BAM and late Soviet socialism. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2009. – X, 218 p.

2010

856. Alter icons: The Russian icon and modernity / Ed. by Gatrall J.J.A., Greenfield D. – University Park: Pennsylvania state univ. press, 2010. – IX, 276 p.
857. *Alaniz J.* Komiks: Comic art in Russia. – Jackson: Univ. press of Mississippi, 2010. – X, 269 p.
858. *Avrutin E.M.* Jews and the imperial state: Identification politics in tsarist Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2010. – XI, 216 p.
859. *Bartlett D.* FashionEast: The spectre that haunted socialism. – Cambridge, Mass.: MIT press, 2010. – XII, 326 p.
860. *Burbank J., Cooper F.* Empires in world history: power and the politics of difference. – Princeton: Princeton univ. press, 2010. – XIV, 511 p.
861. *Chiasson B.R.* Administering the colonizer: Manchuria's Russians under Chinese rule, 1918–29. – Vancouver: UBC press, 2010. – X, 285 p.
862. Cinepaternity: Fathers and sons in Soviet and post-Soviet film / Ed. by Goscilo H., Hashamova J. – Bloomington: Indiana univ. press, 2010. – X, 331 p.
863. *Cohen S.F.* The victims return: Survivors of the GULAG after Stalin. – Exeter: Pub.Works, 2010. – 224 p.
864. *Cooper D.L.* Creating the nation: Identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – VIII, 347 p.
865. *Dowler W.* Russia in 1913. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – IX, 351 p.
866. *Draitser E.* Stalin's Romeo spy: The remarkable rise and fall of the KGB's most daring operative: The true life of Dmitri Bystrolyotov. – Evanston: Northwestern univ. press, 2010. – XXII, 420 p.
867. *Duhamel L.* The KGB campaign against corruption in Moscow. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – XVIII, 249 p.

868. *Everyday life in Russian history: Quotidian studies in honor of Daniel Kaiser* / Ed. by Marker G. et al. – Bloomington: Slavica publishers, 2010. – VII, 397 p.
869. *Ewing E.T.* Separate schools: Gender, policy, and practice in postwar Soviet education. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – XII, 300 p.
870. *Ewington A.* A Voltaire for Russia: A.P. Sumarokov's journey from poet-critic to Russian philosophe. – Evanston: Northwestern univ. press, 2010. – XIII, 258 p.
871. *Frank J.* Between religion and rationality: Essays in Russian literature and culture. – Princeton: Princeton univ. press, 2010. – VI, 299 p.
872. *Frierson C.A., Vilensky S.S.* Children of the Gulag. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – XXVIII, 450 p.
873. *Geffert B.* Eastern Orthodox and Anglicans: Diplomacy, theology, and the politics of interwar ecumenism. – Notre Dame: Univ. of Notre Dame press, 2010. – IX, 501 p.
874. *Geifman A.* Death orders: The vanguard of modern terrorism in revolutionary Russia. – Santa Barbara: Praeger Security International, 2010. – X, 229 p.
875. *Glants M.* Where is my home?: The art and life of the Russian Jewish sculptor Mark Antokolsky, 1843–1902. – Lanham, Md.: Lexington books, a division of Rowman & Littlefield publishers, 2010. – XXVII, 399 p.
876. *Golden P.B.* Turks and Khazars: Origins, institutions, and interactions in pre-Mongol Eurasia. – Farnham, England; Burlington, VT: Ashgate/Variorum, 2010. – 380 p.
877. *Greene R.H.* Bodies like bright stars: Saints and relics in Orthodox Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – XII, 299 p.
878. *Haldey O.* Mamontov's Private Opera: The search for modernism in Russian theater. – Bloomington: Indiana univ. press, 2010. – XIV, 354 p.
879. *Harrison R.W.* Architect of Soviet victory in World War II: The life and theories of G.S. Isserson. – Jefferson: McFarland & Co., 2010. – VIII, 403 p.
880. *A history of Russian philosophy 1830–1930: Faith, reason, and the defense of human dignity* / Ed. by Hamburg G.M., Poole R.A. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – XV, 423 p.
881. *A history of Russian thought* / Ed. by Leatherbarrow W., Offord D. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – XIX, 444 p.
882. *Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union* / Ed. by Peteri G. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – 336 p.
883. *In Marx's shadow: Knowledge, power, and intellectuals in Eastern Europe and Russia* / Ed. by Bradatan C., Oushakine S.A. – Lanham: Lexington books, 2010. – VI, 296 p.
884. *Jackson M.J.* The experimental group: Ilya Kabakov, Moscow conceptualism, Soviet avant-gardes. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2010. – 316 p.
885. *Johnson A.R.* Radio free Europe and Radio Liberty: The CIA years and beyond. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center press; Stanford: Stanford univ. press, 2010. – XIII, 270 p.
886. *Josephson P.R.* Would Trotsky wear a Bluetooth?: Technological utopianism under socialism, 1917–1989. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2010. – IX, 342 p.

887. Just assassins: The culture of terrorism in Russia / Ed. and with an introduction by Anemone A. – Evanston: Northwestern univ. press, 2010. – IX, 329 p.
888. *Kenworthy S.M.* The heart of Russia: Trinity-Sergius, monasticism, and society after 1825. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; N.Y.: Oxford univ. press, 2010. – XV, 528 p.
889. *Kozelsky M.* Christianizing Crimea: Shaping sacred space in the Russian empire and beyond. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – XI, 270 p.
890. *Krylova A.* Soviet women in combat: A history of violence on the Eastern front. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – XVI, 336 p.
891. *Lenoe M.* The Kirov murder and Soviet history / Translations by Lenoe M.E.; Documents compiled by Prozumenshchikov M. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – XXIII, 833 p.
892. *Loeffler J.B.* The most musical nation: Jews and culture in the late Russian empire. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – XI, 274 p.
893. *Lukacs J.* The legacy of the Second World War. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – VI, 201 p.
894. *Maïorova O.E.* From the shadow of empire: Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855–1870. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2010. – XV, 277 p.
895. *Meir N.M.* Kiev, Jewish metropolis: A history, 1859–1914. – Bloomington: Indiana univ. press, 2010. – XII, 403 p.
896. *Miller D.B.* Saint Sergius of Radonezh, his Trinity Monastery, and the formation of the Russian identity. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – X, 348 p.
897. *Miller G.A.* Kodiak Kreol: Communities of empire in early Russian America. – Ithaca: Cornell univ. press, 2010. – XXI, 216 p.
898. Modernism in Kiev: Jubilant experimentation / Ed. by Makaryk I.R., Tkacz V. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2010. – XXIV, 626 p.
899. *Naimark N.M.* Stalin's genocides. – Princeton: Princeton univ. press, 2010. – IX, 163 p.
900. *Nicholas M.A.* Writers at work: Russian production novels and the construction of Soviet culture. – Lewisburg: Bucknell univ. press, 2010. – 358 p.
901. *O'Sullivan D.* Dealing with the devil: Anglo-Soviet intelligence cooperation in the Second World War. – N.Y.: Peter Lang, 2010. – VIII, 337 p.
902. Other animals: Beyond the human in Russian culture and history / Ed. by Costlow J., Nelson A. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – XIV, 320 p.
903. Petersburg/Petersburg: Novel and city, 1900–1921 / Ed. by Matich O. – Madison: The univ. of Wisconsin press, 2010. – XI, 352 p.
904. *Petrovsky-Shtern Y.* Lenin's Jewish question. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – XVII, 198 p.
905. *Pinnow K.M.* Lost to the collective: Suicide and the promise of Soviet socialism, 1921–1929. – Ithaca: Cornell univ. press, 2010. – XI, 276 p.

906. Pleasures in socialism: Leisure and luxury in the Eastern Bloc / Ed. by Crowley D., Reid S.E. – Evanston: Northwestern univ. press, 2010. – 360 p.
907. Politics and the theory of language in the USSR, 1917–1938: The birth of sociological linguistics / Ed. by Brandist K., Chown K. – L.; N.Y.: Anthem Press, 2010. – VI, 199 p.
908. *Pomper Ph.* Lenin's brother: The origins of the October revolution. – N.Y.: W.W. Norton, 2010. – XXVI, 276 p.
909. *Prusin A.V.* The lands between: Conflict in the East European borderlands, 1870–1992. – Oxford, N.Y.: Oxford univ. press, 2010. – 324 p.
910. *Rubin D.* Holy Russia, sacred Israel: Jewish-Christian encounters in Russian religious thought. – Brighton, Mass.: Academic studies press, 2010. – 558 p.
911. *Ruthchild R.G.* Equality and revolution: Women's rights in the Russian Empire, 1905–1917. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – XVIII, 356 p.
912. *Rutten E.* Unattainable bride Russia: Gendering nation, state, and intelligentsia in Russian intellectual culture. – Evanston: Northwestern univ. press, 2010. – IX, 328 p.
913. *Schimmelpenninck van der Oye D.* Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the emigration. – New Haven: Yale univ. press, 2010. – XII, 298 p.
914. *Shaw T., Youngblood D.J.* Cinematic Cold War: The American and Soviet struggle for hearts and minds. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2010. – IX, 301 p.
915. *Siddiqi A.A.* The red rockets' glare: Spaceflight and the Soviet imagination, 1857–1957. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – XIII, 402 p.
916. Soviet medicine: Culture, practice, and science / Ed. by Bernstein F.L., Burton C., Healey D. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – X, 294 p.
917. The Soviet Union at war, 1941–1945 / Ed. by Stone D.R. – Barnsley: Pen & Sword Military, 2010. – 250 p.
918. Space, place, and power in modern Russia: Essays in the new spatial history / Ed. by Bassin M., Ely C., Stockdale M.K. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2010. – VIII, 268 p.
919. *Srebrnik H.F.* Dreams of nationhood: American Jewish communists and the Soviet Birobidzhan project, 1924–1951. – Boston: Academic studies press, 2010. – XX, 289 p.
920. *Steinberg J.W.* All the tsar's men: Russia's General Staff and the fate of the empire, 1898–1914. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2010. – XVII, 383 p.
921. *Stronski P.* Tashkent: Forging a Soviet city, 1930–1966. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2010. – XV, 350 p.
922. Tentorium Honorum: Essays presented to Frank Sysyn on his sixtieth birthday / Ed. by Andriewsky O.A. et al. – Toronto: Canadian Institute of Ukrainian studies press, 2010. – XXII, 502 p.

923. Visualizing Russia: Fedor Solntsev and crafting a national past / Ed. by Whitaker C.Y. – Leiden; Boston: Brill, 2010. – XXX, 184 p.
924. War planning: 1914 / Ed. by Hamilton R.F., Herwig H.H. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2010. – IX, 269 p.
925. *Zhuk S.I.* Rock and roll in the rocket city: The West, identity, and ideology in Soviet Dnepropetrovsk, 1960–1985. – Washington, D.C.: Woodrow Wilson center press; Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 2010. – XVII, 440 p.

2011

926. *Adler E.R.* In her hands: The education of Jewish girls in tsarist Russia. – Detroit: Wayne state univ. press, 2011. – XVI, 196 p.
927. *Barnes S.A.* Death and redemption: The Gulag and the shaping of Soviet society. – Princeton: Princeton univ. press, 2011. – X, 352 p.
928. *Becker E.M.* Medicine, law, and the state in imperial Russia. – Budapest; N.Y.: Central European univ. press, 2010. – X, 399 p.
929. *Berest J.* The emergence of Russian liberalism: Alexander Kunitsyn in context, 1783–1840. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – VII, 264 p.
930. The Book of royal degrees and the genesis of Russian historical consciousness = «Степенная книга царского родословия» и генезис русского исторического сознания / Ed. by Lenhoff G., Kleimola A. – Bloomington: Slavica publishers, 2011. – XV, 348 p.
931. *Brain S.* Song of the forest: Russian forestry and Stalinist environmentalism, 1905–1953. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – VIII, 232 p.
932. *Brandenberger D.* Propaganda state in crisis: Soviet ideology, indoctrination, and terror under Stalin, 1927–1941. – New Haven: Yale univ. press, 2011. – XII, 357 p.
933. *Clark K.* Moscow, the fourth Rome: Stalinism, cosmopolitanism, and the evolution of Soviet culture, 1931–1941. – Cambridge: Harvard univ. press, 2011. – VIII, 419 p.
934. Competing voices from the Russian Revolution / Ed. by Hickey M.C. – Santa Barbara: Greenwood, 2011. – XIII, 599 p.
935. Cosmic enthusiasm: The cultural impact of Soviet space exploration since the 1950s / Ed. by Maurer E. et al. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – XV, 323 p.
936. *Crummey R.O.* Old Believers in a changing world. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011. – XIII, 267 p.
937. *Dennison T.K.* The institutional framework of Russian serfdom. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIX, 254 p.
938. *Ellis F.* The damned and the dead: The Eastern Front through the eyes of Soviet and Russian novelists. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2011. – XIII, 376 p.
939. *Elwood R.C.* The non-geometric Lenin: Essays on the development of the Bolshevik Party, 1910–1914. – L.; N.Y.: Anthem press, 2011. – XIX, 228 p.

940. *Engel B.A.* Breaking the ties that bound: The politics of marital strife in late imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – XI, 282 p.
941. Euphoria and exhaustion: Modern sport in Soviet culture and society / Ed. by Katzer N. et al. – Frankfurt: Campus Verlag, 2011. – 320 p.
942. *Evtuhov C.* Portrait of a Russian province: Economy, society, and civilization in nineteenth-century Nizhnii Novgorod. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – XV, 320 p.
943. *Frede V.* Doubt, atheism, and the nineteenth-century Russian intelligentsia. – Madison: The univ. of Wisconsin press, 2011. – XIII, 300 p.
944. *Goldman W.Z.* Inventing the enemy: Denunciation and terror in Stalin's Russia. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – X, 320 p.
945. *Gorsuch A.E.* All this is your world: Soviet tourism at home and abroad after Stalin. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – VIII, 222 p.
946. *Halpin I.* Red autobiographies: Initiating the Bolshevik self. – Seattle: Herbert J. Ellison Center for Russian, East European, and Central Asian studies, Univ. of Washington: Distributed by Univ. of Washington press, 2011. – 197 p.
947. A history of Russian literary theory and criticism: The Soviet age and beyond / Ed. by Dobrenko E., Tihanov G. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – XVI, 406 p.
948. *Hoffmann D.L.* Cultivating the masses: Modern state practices and Soviet socialism, 1914–1939. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – XIV, 327 p.
949. Holy foolishness in Russia: New perspectives / Ed. by Hunt P., Kobets S. – Bloomington: Slavica publishers, 2011. – VIII, 413 p.
950. Interpreting emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by Steinberg M.D., Sobol V. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011. – 303 p.
951. Into the cosmos: Space exploration and Soviet culture / Ed. by Andrews J.T., Siddiqi A.A. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – X, 330 p.
952. *Khodarkovsky M.* Bitter choices: Loyalty and betrayal in the Russian conquest of the North Caucasus. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – XII, 200 p.
953. *Klier J.* Russians, Jews, and the pogroms of 1881–1882. – Cambridge, UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XXIV, 492 p.
954. *Krementsov N.L.* A Martian stranded on Earth: Alexander Bogdanov, blood transfusions, and proletarian science. – Chicago; L.: The univ. of Chicago press, 2011. – XVI, 175 p.
955. *Leckey C.* Patrons of enlightenment: The Free Economic Society in eighteenth-century Russia. – Newark: Univ. of Delaware press; Lanham: Rowman & Littlefield Pub. group, 2011. – X, 213 p.
956. *Leonard C.S.* Agrarian reform in Russia: The road from serfdom. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 402 p.
957. *Levitt M.C.* The visual dominant in eighteenth-century Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011. – XII, 362 p.

958. *Luehrmann S.* Secularism Soviet style: Teaching atheism and religion in a Volga republic. – Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – XIV, 275 p.
959. *Marinova M.D.* Transnational Russian-American travel writing. – N.Y.: Routledge, 2011. – 190 p.
960. *McDonald T.* Face to the village: The Riazan countryside under Soviet rule, 1921–1930. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2011. – XVI, 422 p.
961. *McMeekin S.* The Russian origins of the First World War. – Cambridge, Mass.: Belknap press of Harvard univ. press, 2011. – XII, 324 p.
962. *Petrone K.* The Great War in Russian memory. – Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – XV, 385 p.
963. *Platt K.M.F.* Terror and greatness: Ivan and Peter as Russian myths. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – 294 p.
964. Portraits of old Russia: Imagined lives of ordinary people, 1300–1725 / Ed. by Ostrowski D., Poe M.T. – Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2011. – XXVIII, 323 p.
965. *Proskurina V.* Creating the empress: Politics and poetry in the age of Catherine II. – Brighton, MA: Academic studies press, 2011. – 310 p.
966. Reconstructing the house of culture: Community, self, and the makings of culture in Russia and beyond / Ed. by Donahoe B., Habeck J.O. – N.Y.: Berghahn books, 2011. – XII, 336 p.
967. *Reese R.R.* Why Stalin's soldiers fought: The Red Army's military effectiveness in World War II. – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2011. – XIX, 386 p.
968. Religion and identity in Russia and the Soviet Union: A festschrift for Paul Bushkovitch / Ed. by Chrissidis N. et al. – Bloomington: Slavica publishers, 2011. – VIII, 276 p.
969. *Reynolds M.A.* Shattering empires: The clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 303 p.
970. *Risch W.J.* The Ukrainian West: Culture and the fate of empire in Soviet Lviv. – Cambridge: Harvard univ. press, 2011. – XI, 360 p.
971. *Roth-Ey K.* Moscow prime time: How the Soviet Union built the media empire that lost the cultural Cold War. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – IX, 315 p.
972. *Sarantakes N.E.* Dropping the torch: Jimmy Carter, the Olympic boycott, and the Cold War. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – 340 p.
973. *Sargeant L.M.* Harmony and discord: Music and the transformation of Russian cultural life. – N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – IX, 354 p.
974. *Schönle A.* Architecture of oblivion: Ruins and historical consciousness in modern Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011. – XII, 283 p.
975. *Shneer D.* Through Soviet Jewish eyes: Photography, war, and the Holocaust. – New Brunswick: Rutgers univ. press, 2011. – XIII, 283 p.
976. *Smith S.B.* Captives of revolution: The socialist revolutionaries and the Bolshevik dictatorship, 1918–1923. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2011. – XIX, 380 p.

977. The socialist car: Automobility in the Eastern Bloc / Ed. by Siegelbaum L.H. – Ithaca: Cornell univ. press, 2011. – VII, 242 p.
978. The space of the book: Print culture in the Russian social imagination / Ed. by Remnek M. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2011. – XII, 307 p.
979. *Steinberg M.D.* Petersburg fin de siècle. – New Haven: Yale univ. press, 2011. – XI, 399 p.
980. *Steiner L.* For humanity's sake: The Bildungsroman in Russian culture. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2011. – X, 284 p.
981. *Velychenko St.* State building in revolutionary Ukraine: A comparative study of governments and bureaucrats, 1917–1922. – Toronto: Univ. of Toronto press, 2011. – IX, 434 p.
982. *Vinkovetsky I.* Russian America: An overseas colony of a continental empire, 1804–1867. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – XIII, 258 p.
983. *Wcislo F.W.* Tales of imperial Russia: The life and times of Sergei Witte, 1849–1915. – Oxford: Oxford univ. press, 2011. – X, 314 p.
984. *West S.* I shop in Moscow: Advertising and the creation of consumer culture in late tsarist Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2011. – XII, 292 p.
985. Writing the Stalin era: Sheila Fitzpatrick and Soviet historiography / Ed. by Alexopoulos G., Hessler J., Tomoff K. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. – VIII, 246 p.
986. *Young G.* The communist experience in the twentieth century: A global history through sources. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – XXX, 447 p.

2012

987. *Adler N.* Keeping faith with the Party: Communist believers return from the Gulag. – Bloomington: Indiana univ. press, 2012. – XVI, 237 p.
988. Americans experience Russia: Encountering the enigma, 1917 to the present / Ed. by Chatterjee Ch., Holmgren B. – N.Y.; L.: Routledge, 2012. – XII, 232 p.
989. *Bonhomme B.* Russian exploration, from Siberia to space: A history. – Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc., publishers, 2012. – VII, 223 p.
990. *Clements B.E.* A history of women in Russia: From earliest times to the present. – Bloomington: Indiana univ. press, 2012. – XXVII, 387 p.
991. Communism unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe / Ed. by Bren P., Neuburger M. – N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – XVI, 413 p.
992. A cultural cabaret: Russian and American essays for Richard Stites / Ed. by Goldfrank D., Lyssakov P. – Washington, DC: New Academia publishers, 2012. – 284 p.
993. *David-Fox M.* Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and western visitors to Soviet Union, 1921–1941. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – XII, 396 p.

994. Dubitando: Studies in history and culture in honor of Donald Ostrowski / Ed. by Boeck B.J., Martin R.E., Rowland D. – Bloomington: Slavica publishers, 2012. – X, 504 p.
995. *Ezrahi Chr.* Swans of the Kremlin: Ballet and power in Soviet Russia. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2012. – 323 p.
996. Fascination and enmity: Russia and Germany as entangled histories, 1914–1945 / Ed. by David-Fox M., Holquist P., Martin A.M. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2012. – VI, 309 p.
997. From Petersburg to Bloomington: Essays in honor of Nina Perlina / Ed. by Bartle J., Finke M.C., Liapunov V. – Bloomington: Slavica publishers, 2012. – 383 p.
998. *Hilton M.L.* Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880–1930. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2012. – X, 339 p.
999. *Holmes L.E.* War, evacuation, and the exercise of power: The center, periphery, and Kirov's Pedagogical Institute, 1941–1952. – Lanham: Lexington books, 2012. – 274 p.
1000. *Hudson H.D.* Peasants, political police, and the early Soviet state: Surveillance and accommodation under the new economic policy. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012. – XIII, 177 p.
1001. *Igmen A.F.* Speaking Soviet with an accent: Culture and power in Kyrgyzstan. – Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh press, 2012. – XI, 236 p.
1002. *Jenks A.L.* The cosmonaut who couldn't stop smiling: The life and legend of Yuri Gagarin. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2012. – VIII, 315 p.
1003. Jews in the East European borderlands: Essays in honor of John D. Klier / Ed. by Eugene M. Avrutin E.M., Murav H. – Boston: Academic studies press, 2012. – 285 p.
1004. *Kleespies I.* A nation astray: Nomadism and national identity in Russian literature. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2012. – 265 p.
1005. *Kollmann N. Sh.* Crime and punishment in early modern Russia. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2012. – XVI, 488 p.
1006. *Kuromiya H.* Conscience on trial: The fate of fourteen pacifists in Stalin's Ukraine, 1952–1953. – Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto press, 2012. – X, 212 p.
1007. *LaPierre B.* Hooligans in Khrushchev's Russia: Defining, policing, and producing deviance during the Thaw. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2012. – XIII, 281 p.
1008. *Lohr E.* Russian citizenship: From empire to Soviet Union. – Cambridge: Harvard univ. press, 2012. – 278 p.
1009. *Martin R.* A bride for the Tsar: Bride-shows and marriage politics in early modern Russia. – DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2012. – 394 p.
1010. *Neirick M.* When pigs could fly and bears could dance: A history of the Soviet circus. – Madison: The univ. of Wisconsin press, 2012. – XIX, 287 p.
1011. The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions / Ed. by Menzel B., Hagemester M., Rosenthal B.G. – München: Otto Sagner, 2012. – 448 p.
1012. *Plokhly S.* The Cossack myth: History and nationhood in the age of empires. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2012. – XV, 386 p.

1013. *Pontieri L.* Soviet animation and the Thaw of the 1960 s: Not only for children. – New Barnet: John Libbey & Company, 2012. – 256 p.
1014. *Raffensperger Chr.* Reimagining Europe: Kievan Rus' in the medieval world. – Cambridge: Harvard univ. press, 2012. – 329 p.
1015. *Raleigh D.J.* Soviet baby boomers: An oral history of Russia's Cold War generation. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – XI, 420 p.
1016. *Roman M.L.* Opposing Jim Crow: African Americans and the Soviet indictment of U.S. racism, 1928–1937. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2012. – XIII, 301 p.
1017. *Romaniello M.P.* The elusive empire: Kazan and the creation of Russia, 1552–1671. – Madison: The univ. of Wisconsin press, 2012. – XIII, 297 p.
1018. Russia in motion: Cultures of human mobility since 1850 / Ed. by Randolph J., Avrutin E.M. – Urbana: Univ. of Illinois press, 2012. – 287 p.
1019. Russia's century of revolutions: Parties, people, places: Studies presented in honor of Alexander Rabinowitch / Ed. by Melançon M.S., Raleigh D.J. – Bloomington: Slavica publishers, 2012. – 258 p.
1020. Russia's people of empire: Life stories from Eurasia, 1500 to the present / Ed. by Norris S.M., Sunderland W. – Bloomington: Indiana univ. press, 2012. – XV, 365 p.
1021. *Seegel S.* Mapping Europe's Borderlands: Russian cartography in the age of empire. – Chicago; L.: Univ. of Chicago press, 2012. – XI, 368 p.
1022. *Smith D.* Former people: The final days of the Russian aristocracy. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2012. – XVII, 464 p.
1023. Soviet and post-Soviet identities / Ed. by Bassin M., Kelly C. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2012. – XIV, 371 p.
1024. Tolstoy on war: Narrative art and historical truth in War and Peace / Ed. by McPeak R., Orwin D.T. – Ithaca: Cornell univ. press, 2012. – VI, 246 p.
1025. *Vitarbo G.* Army of the sky: Russian military aviation before the Great War, 1904–1914. – N.Y.: Peter Lang, 2012. – X, 256 p.
1026. Women in nineteenth-century Russia: Culture and lives / Ed. by Rosslyn W., Tosi A. – Cambridge, UK: Open Book publishers, 2012. – XII, 249 p.
1027. *Young G.M.* The Russian cosmists: The esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his followers. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – X, 280 p.

О.В. Большакова

**ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ:
АМЕРИКАНСКАЯ РУСИСТИКА
ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ**

Монография

Оформление обложки И.А. Михеев
Компьютерная верстка О.В. Егорова
Корректор О.В. Шамова

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати 26/X – 2013 г. Формат 60х84/16

Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ. л. 15,0 Уч.-изд. л. 14,5

Тираж 300 экз. Заказ № 121

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

Отдел маркетинга и распространения информационных изданий

Тел/Факс (499) 120-45-14

E-mail: inion@bk.ru

Отпечатано в ИНИОН РАН

Нахимовский проспект, д. 51/21,

Москва, В-418, ГСП-7, 117997

042(02)9

